
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «СОЦИОЛОГИЯ»

Нарбут Н.П. — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *главный редактор*

Пузанова Ж.В. — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *заместитель главного редактора*

Троцук И.В. — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН — *ответственный секретарь редколлегии*

Члены редколлегии

Бакиров В.С. — доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Бронзино Л.Ю. — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Гаспаршвили А.Т. — кандидат философских наук, доцент, заведующий лабораторией Центра социологических исследований МГУ им. В.М. Ломоносова

Голенкова З.Т. — доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Института социологии РАН

Диас Николас Х. — доктор политологии, профессор социологии в Университете Гранады, Университете Малаги и Мадридском университете Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н. — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН

Маркович Д. — доктор философских наук, профессор Белградского университета (Сербия)

Пан Д. — доктор социологических наук, профессор, директор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г. — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г. — доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Сурманидзе Л. — профессор кафедры социологии и социальной работы факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (Грузия)

Татарова Г.Г. — доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Херпфер К. — доктор политических наук, профессор Института политологии Университета Вены; профессор политологии Университета Абердина; президент Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей» (Австрия)

Чамбаликова М. — доктор философии, профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шубрт И. — доктор философии, профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

EDITORIAL BOARD OF THE “SOCIOLOGY” SERIES

Narbut N.P., *Editor in Chief*, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Puzanova Zh.V., *Deputy Chief Editor*, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Trotsuk I.V., *Executive Secretary*, D.Sc. (Sociology), Associate Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Members of the editorial board

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Bronzino L.Yu., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Head of Center for Sociological Studies of Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of Department of Sociology II (Human Ecology and Population) of School of Political Sciences and Sociology of Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences (Russia)

Marković D., D.Sc (Philosophy), Professor of Belgrade State University (Serbia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoiskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research of Belorussian State University (Belorussia)

Surmanidze L., Professor of Sociology and Social Work Division of Faculty of Social and Political Sciences of Tbilisi State University named after I. Javakhishvili (Georgia)

Tatarova G.G., D.Sc (Sociology), Professor, Senior Researcher of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Haerpfer C., D.Sc. (Political Science), Research Professor at the Institute of Political Science at the University of Vienna; Professor Emeritus of Political Science at Aberdeen University; President of the World Values Survey Association (Austria)

Čambáliková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair of Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD in Sociology, Professor, Head of Historical Sociology Chair of Faculty of Humanities of Charles University (Czech Republic)

ВЕСТНИК Российского университета дружбы народов

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Основан в 1993 г.

Серия
СОЦИОЛОГИЯ

Ноябрь 2016, том 16, № 4

Серия издается с 2001 г.

Российский университет дружбы народов

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

- Горшков М.К.** Общественные неравенства в пореформенной России: социологический диагноз 693
- Haerpfer С., Kizilova К.** The world's largest social science infrastructure and academic survey research program: The World Values Survey in the New Independent States 719
- Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г.** Способы обработки данных, полученных методом виньеток в социологических исследованиях 742

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Kumsa А., Šubrť J.** The causes of Islamic fundamentalist violent movements in post-colonial Nigeria 755
- Куропятник М.С.** Коренные народы в контексте культурной непрерывности 769
- Мамедов А.К., Коркия Э.Д., Малашонок С.Г.** Новый взгляд на прежние маркеры социальной стратификации: образование в обществе потребления 777

Kopoteva I.V. The voluntary work based village activism in contemporary Finland	789
Аксенова О.В. Традиционные ценности российских профессионалов в эпоху модернизации	799
МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ	
Gasparishvili A.T., Onosov A.A. Migration policies of Moscow authorities and Muscovites' public opinion	808
Šuvaković, Narbut N.P., Trotsuk I.V. The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems	816
Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Региональная безопасность как объект социологического мониторинга	830
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Тюрина И.О., Неверов А.В., Чурсина А.В. Влияние патентного законодательства России на развитие наукоемких технологий: социологический анализ	844
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ	
Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. «Субъективная» и «объективная» неискренность в социологических опросах: диагностика по невербальным проявлениям	859
РЕЦЕНЗИИ	
Социальные аспекты российской географии: новый виток наблюдений за трансформациями межстоличного пространства: Путешествие из Петербурга в Москву: 222 года спустя. Кн. 1: Два столетия российской истории между Москвой и Санкт-Петербургом. М.: Ленанд, 2015. — 240 с.; Кн. 2: Путешествие из Петербурга в Москву в XXI веке (по итогам экспедиции 2013 года). М.: Ленанд, 2015. — 352 с.	870
НАШИ АВТОРЫ	882

BULLETIN

SCIENTIFIC JOURNAL

of Peoples' Friendship University of Russia

Founded in 1993

Series

SOCIOLOGY

November 2016, Vol. 16, N 3

Series founded in 2001

Peoples' Friendship University of Russia

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

- Gorshkov M.K.** Social inequalities in post-reform Russia: A sociological diagnosis 693
- Херпфер К., Кизилова К.** Крупнейшее мировое социологическое исследование ценностей: организация, методология, результаты и опыт реализации в странах СНГ 719
- Puzanova Zh.V., Tertyshnikova A.G.** Analysis of vignette method data in sociological research 742

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

- Кумса Э., Шубрт И.** Причины появления агрессивных исламских фундаменталистских движений в постколониальной Нигерии 755
- Kurojzatnik M.S.** Indigenous peoples in the context of cultural continuity 769
- Mamedov A.K., Korkiya E.D., Malashonok S.G.** Old markers of social stratification in the consumer society: A new role of education 777

Копотева И.В. Сельский активизм и его добровольческие истоки в современной Финляндии	789
Aksenova O.V. Traditional values of Russian professionals under the modernization	799
SURVEYS, EXPERIMENTS, CASE STUDIES	
Гаспаришвили А.Т., Оносов А.А. Миграционная политика московских властей и ее отражение в общественном мнении столичного региона	808
Шувакович У.В., Нарбут Н.П., Троцук И.В. Молодежь России и Сербии: уровень социального доверия и основные поколенческие проблемы	816
Mozgovaya A.V., Shlykova E.V. Regional safety as an object of sociological monitoring	830
SOCIOLOGY OF MANAGEMENT	
Tyurina I.O., Neverov A.V., Chursina A.V. The impact of Russian patent law on the development of high technologies: Sociological analysis	844
SOCIOLOGICAL LECTURES	
Puzanova Zh.V., Larina T.I. “Subjective” and “objective” insincerity in sociological surveys: Nonverbal manifestations	859
REVIEWS	
Social aspects of Russian geography: A new round of the studies of the space transformations between two Russian capitals: Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu: 222 goda spustja. Kn. 1: Dva stoletija rossijskoj istorii mezhdru Moskvoy i Sankt-Peterburgom [Journey from St. Petersburg to Moscow: 222 Years Later. Book 1: Two Centuries of Russian History between Moscow and Saint-Petersburg]. Moscow: Lenand, 2015; Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu: 222 goda spustja. Kn. 2: Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu v XX veke (po itogam ekspedicii 2013 goda) [Journey from St. Petersburg to Moscow: 222 Years Later. Book 2: Journey from St. Petersburg to Moscow in the 20th Century (Following the Results of 2013 Expedition)]. Moscow: Lenand, 2015	870
AUTHORS	882

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НЕРАВЕНСТВА В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ*

М.К. Горшков**

Институт социологии Российской академии наук, Москва, Россия

Социальное неравенство рассматривается в статье как ключевая характеристика развития современного общества, а также принципиально важная тематика в становлении социальных наук. С одной стороны, социальное неравенство — это объективный и прогрессивный процесс, без которого успешное (и творческое) развитие общества и индивида вряд ли было бы возможным; с другой стороны, любые формы социальной дифференциации способны порождать радикальные разрывы в ткани социальной жизни, провоцировать социальные конфликты и устойчивые формы общественной дестабилизации. В российском научном дискурсе социальные неравенства и их последствия анализируются с помощью двух ключевых понятий: социально-стратификационная структура (многоступенчатое структурированное социальное пространство, в котором социальные группы различаются по критериям обладания и доступа к власти и собственности и, соответственно, по своему статусу); и социальная страта (социально-экономические группы, занимающие неравные позиции в макро-социальной системе). Автор опирается на множество эмпирических (статистических и социологических) данных, чтобы реконструировать социальную модель современного российского общества, фокусируясь на драматическом разрыве самых бедных и самых богатых групп населения по размерам богатства и уровню доходов, который продолжает увеличиваться, достигнув уже сегодня критических значений; помещая российские данные в международный сопоставительный контекст (нынешнего и оптимального соотношения уровня доходов самых богатых и самых бедных групп в разных европейских странах); обозначая статистические и социологические индикаторы разных аспектов социального неравенства; подчеркивая ярко выраженное региональное измерение социальных неравенств в России; и называя возможные механизмы и способы снижения разных типов социального неравенства, обсуждаемые сегодня в научных изданиях и публицистике. Вторая часть статьи представляет результаты общенационального социологического проекта, реализованного сотрудниками Института социологии, который позволил выделить и иные, чем доходы и уровень жизни, измерения социального неравенства, прежде всего в сфере гендерных отношений и доступе к компьютерным и телекоммуникационным технологиям. Автор приходит к выводу, что высокий

* В основе статьи — доклад автора на V Всероссийском социологическом конгрессе «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 19—21 октября 2016 г.). В статье используются данные социологических исследований, выполненных в Институте социологии РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00218).

** © М.К. Горшков, 2016.

уровень социально-экономического и иных типов неравенства в России подтачивает социальный капитал общества и формирует устойчивую «культуру неравенства», порождающую высокий уровень агрессии.

Ключевые слова: социальное неравенство; социологические и статистические данные; массовые опросы; пореформенная Россия; социальная стратификация; региональные различия; социальный капитал; «культура неравенства»

На всех этапах развития социальной науки одной из ключевых проблем, к которым она проявляла пристальное внимание, являлась проблема общественных неравенств. Прежде всего, это объясняется тем, что любой вид неравенства представляет собой специфическую форму общественной дифференциации (1), которая обуславливает различия жизненных условий индивидов и социальных групп, их неодинаковый доступ к экономическим, социальным, политическим, информационным и иным ресурсам, а тем самым — определяет разные возможности удовлетворения ими актуальных и разнообразных по характеру и источникам происхождения потребностей и интересов. А все, что непосредственно связано с реализацией потребностей и интересов людей, всегда представляло особый интерес для исследовательского поля социальной науки и такой ее теоретико-прикладной отрасли как социология.

В современных условиях качественные и количественные различия в реализации жизненных условий и потребностей проявляются, прежде всего, в разных возможностях и степени обладания собственностью, неравенстве получаемого дохода, власти, престижа, уровня образования, социально-профессиональных позиций и видов деятельности. Неудивительно, что последние превращаются, говоря языком современной социологии, в основные категории оценки неравенства. А социальная дифференциация как таковая обретает статус сложного и противоречивого процесса. Ибо, с одной стороны, она являет собой процесс объективный и прогрессивный, вне которого невозможно успешное (творческое) развитие общества и личности, а с другой — способна приводить к резкому социальному расщеплению.

Еще задолго до XIX столетия, когда социология стала приобретать статус самостоятельной отрасли социального знания, такие черты общественных неравенств, «вызревшие» в процессе естественно-исторического развития, как многообразие, неизбежность и привнесенность, допустимость и избыточность, помноженные на их потенциальную способность «провоцировать» рост социальной напряженности, выступать фактором дестабилизации социума, привлекали к исследованию сущности данного феномена внимание представителей различных направлений социогуманитарного знания. В античные времена — это Платон и Аристотель, в последующие эпохи — Макиавелли и Гоббс, Локк и Руссо, Гегель и Дарвин.

Повышенное внимание научного сообщества к проблематике неравенств нашло отражение в социологической литературе. При этом классики «традиционной» (О. Конт, Г. Спенсер), «модернистской» (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс) и постмодернистской социологии (П. Бурдьё и др.) прямо заявляли о фундаментальности и нерушимости принципа социального неравенства и его высокой функциональной значимости для организации социальных общностей. Видоиз-

менения претерпевают конкретные формы неравенства, сам же его принцип проявляется всегда. Питирим Сорокин, связывавший неравенство с иерархическим строением общества, писал об этом: «И если на какой-то миг некоторые формы стратификации разрушаются, то они возникают вновь в старом или модифицированном виде, и часто создаются руками самих уравнивателей» [13. С. 306]. Он же выделял и ряд причин утверждения устойчивых социальных форм неравенства, расслаивающих общество по вертикали, среди которых: рост численности, разнообразие и разнородность объединившихся людей, необходимость поддержания стабильности группы, спонтанная самодифференциация, функциональное распределение деятельности в сообществе.

Обращение к современным российским источникам демонстрирует, что в отечественном общественном сознании проблемы социальных неравенств, равно как и порождаемых ими последствий, обрели статус научных сравнительно недавно. При этом анализ работ российских ученых позволяет выделить два основных понятия, используемых для изучения отношений неравенства, складывающихся сегодня в России: социально-стратификационная структура — многомерное, иерархически организованное социальное пространство, в котором социальные группы различаются между собой степенью обладания властью, собственностью и социальным статусом; социальные слои (страты) — социально-экономические группы, занимающие различные места в структуре макросоциальной системы, между которыми имеется социальное неравенство.

Опираясь на разработанные теоретические подходы, результаты многолетних эмпирических изысканий, российские ученые стремятся получить наиболее полную картину социальной и стратификационной модели современного российского общества. Акцент в исследованиях делается на новые формы социальной дифференциации и интеграции, социального расслоения; проблемы социально-экономической стратификации населения РФ, включая практики избыточного экономического неравенства, наблюдаемые во всех срезях национальной экономики — по территориям и отраслям промышленности, по доходам, потреблению и сбережениям населения, распределению собственности, по располагаемому человеческому и социальному капиталу и т.п. [17; 19].

Несмотря на очевидное различие в подходах к определению сущности и причин, порождающих социальные неравенства, равно как и неоднозначность трактовки их роли в жизни общества, большинство как отечественных, так и зарубежных экспертов признает факт принципиальной неустранимости и широкой социальной распространенности данного явления. Англо-германский социолог, философ, политолог и общественный деятель Р. Дарендорф замечает по этому поводу: «Даже в процветающем обществе неравное положение людей остается важным непреходящим явлением... Конечно, эти различия больше не опираются на прямое насилие и законодательные нормы, на которых держалась система привилегий в кастовом или сословном обществе. Тем не менее, помимо более грубых делений по размеру собственности и доходов, престижа и власти, наше общество характеризуется множеством ранговых различий — столь тонких и в то же время столь глубоко укорененных, что заявления об исчезновении всех форм неравенства в результате уравнивательных процессов можно воспринимать, по меньшей мере, скептически» [20. С. 3].

Таким образом, вопрос, волнующий не одно поколение обществоведов, активно изучающих неравенства в различных структурных и содержательных аспектах, состоит не в том, можно ли полностью освободиться от разного вида неравенств, а в том, насколько оправданы неравенства, представленные в разных типах обществ? Каковы допустимые границы неравенств в тех или иных сферах общественной жизни? И, конечно: что может предпринять государство в целях минимизации общественных неравенств, выравнивания шансов людей на обеспечение достойного, соответствующего их способностям и устремлениям, бытия? Поставленные вопросы имеют особую актуальность и остроту для постсоветской России, в которой формирование рыночных отношений происходило в условиях глубокого экономического кризиса, эскалации безработицы и удорожания жизни, резкого имущественного расслоения и значительного снижения уровня массового потребления.

1990-е гг. — годы масштабных радикальных реформ, как и порожденные ими значительные социально-экономические издержки, затронувшие — в большей или меньшей степени — все без исключения сферы российского общества, коренным образом изменили жизнь россиян, многие из которых оказались не в состоянии справиться с проблемой адаптации к стремительно обновляющейся общественной среде. Привычный патернализм и ситуация относительного благополучия сменились рыхлой в социальном отношении системой государственного управления, стремящейся освободиться от решения социальных задач в прежних объемах и границах. Как следствие, одной из ключевых характеристик российского общества стал высокий уровень социально-экономического неравенства, проявившийся, в частности, в резком росте децильного коэффициента дифференциации доходов (речь идет о разнице в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных), показатели которого увеличились к 1995 г. сравнительно с предыдущим десятилетием в 4,5 раза (с 3 до 13,5 соответственно). Ситуацию усугубило упорное продолжение радикально либеральных реформ, направляемое далеко не лучшими образцами западной экономической мысли. Обвальная ломка отношений собственности и никем не регулируемая, бесконтрольная приватизация государственного имущества и общенациональных природных ресурсов, по сути дела, открыли шлюзы для ничем не ограниченного и неоправданного роста социальных неравенств. В результате всего за 10—15 лет страна получила огромную дифференциацию в социальном положении различных групп российского населения, а социальные неравенства приобрели как никогда ранее резкие формы.

Обращаясь к данным Федеральной службы государственной статистики, специалисты были вынуждены констатировать: «Социальное неравенство в России ставит новые рекорды». Учитывая результаты исследования «Россиянин в зеркале потребления», представленные в сентябре 2010 г., руководство Росстата вынужденно констатировало: несмотря на то, что за последние двадцать лет население России стало немного богаче, а страна превратилась в государство со средними доходами, в ней произошло резкое расслоение по имущественному признаку [4].

И, действительно, наблюдаемое в России с начала 2000-х гг. увеличение реальных доходов населения, прирост «популяции» сверхбогатых россиян не способствовали благоденствию российского общества в целом. Более того, на фоне обозначенных тенденций разрыв в уровне доходов не только не сокращался, но продолжал расти, достигая критических отметок. Фактически, предкризисные годы (до кризиса 2008—2009 гг.) прошли под негласным лозунгом «экономический рост в пользу богатых». Так, по данным Росстата, разница в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян увеличилась в период с 2000 по 2007 гг. с 13,9 до 16,7 раз [6]. В кризисные годы (2008—2010) показатель децильного коэффициента, как это ни парадоксально, стабилизировался на уровне 16,6 раз, а в последующем, на волне очередного кризиса, несколько увеличился и составил по итогам 2014 года 16,8 раза (см. табл. 1) (3) [14]. И то, что в 2015 г. он сократился до 15,6 раз, говорит не столько о некотором «подтягивании» бедных к среднему показателю, сколько о временном снижении высокодоходной группы по причине двойного роста в кризисной ситуации валютного курса.

Для сравнения: в скандинавских странах (Дании, Финляндии, Швеции) данный показатель составляет 3—4 раза, в Германии, Австрии и Франции варьируется в диапазоне от 5 до 7 раз. Результат красноречив и уже опасен — даже не столько социальным взрывом, как было в России в начале XX в., сопровождавшемся чередой революционных событий, когда децильный коэффициент «зашкалил» за 25, сколько социальной апатией, в условиях которой все больше людей ощущают себя аутсайдерами в этой жизни. По мнению экспертов-экономистов, оптимальным (применительно к данному показателю) является соотношение от 5 до 7. Более того, есть основания полагать, что как только децильный коэффициент достигает значения выше 10 раз, в обществе появляются условия для социальной нестабильности. Это правило не действует разве что в США, где коэффициент держится на уровне 12. Однако там это считается нормальным, поскольку, согласно утвердившейся в американском обществе философии, в собственной бедности виноваты лишь сами бедные.

Таблица 1

Динамика показателей децильного коэффициента неравенства доходов (1995—2015 гг., раз)

Год	Децильный коэффициент
1995	13,5
1998	13,8
2001	13,9
2003	14,5
2005	15,2
2006	15,9
2007	16,7
2008—2010	16,6
2011	16,2
2012	16,4
2013	16,3
2014	16,8
2015	15,6

Анализируя уровень общественных неравенств, зарубежные эксперты обращаются и к коэффициенту Джини — количественному статистическому показателю, характеризующему дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного распределения их между жителями страны. По сути, этот коэффициент отражает степень расслоения общества отдельно взятой страны или региона по отношению к тому или иному изучаемому признаку. В России, по информации Росстата, в 2014 г. значение данного коэффициента фиксировалось на уровне 0,416 (при максимальном значении — 1,0 — абсолютное неравенство) [9]. Немаловажно и то, что в отличие от развитых государств Запада, разница в доходах россиян сильно зависит от региона, в котором они проживают. Более того, современная Россия отличается одним из самых высоких уровней регионального неравенства: достаток жителей самого богатого субъекта РФ может в разы превышать аналогичный показатель в беднейшем из них. Нельзя не сказать и о том, что результатом ничем не ограниченной дифференциации доходов, а тем самым — углубления социальных неравенств, становятся фундаментальные потери, среди которых — резкое падение качественного потенциала российского населения, проявляющееся в стабильно отмечаемых с начала 1990-х гг. тенденциях снижения показателей индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). В 2014 г. он составил 0,798 (50-е место в мире) [21]. Для сравнения: ИРЧП в СССР составлял 0,920 (26-е место в мире).

С учетом отмеченных тенденций и фактического положения дел неудивительно, что в нынешних условиях немало дискутируют о том, как должны выглядеть инструменты, механизмы и способы снижения остроты социальных неравенств, какой должна быть наиболее эффективная в нашей стране модель социальной политики — политики, способной удерживать такие масштабы (границы) социальных неравенств, которые бы не превышали неких здравых (социально и научно обоснованных) пределов, выход за которые чреват конфликтами и дезинтеграцией общества. Однако обращает на себя внимание, что подобные дискуссии остаются на периферии публичной сферы. В лучшем случае проблематика неравенств становится предметом дискуссий в экспертной среде, в основном среди экономистов, социологов, политологов. Вот почему среди научных задач, решаемых в ходе реализации программы общероссийских социологических исследований, проводимых на протяжении последнего десятилетия специалистами Института социологии РАН, особым образом выделялся анализ широкого общественного мнения по основным проблемам неравенства в контексте социально-экономической дифференциации, существующей в пореформенном российском обществе. О чем же свидетельствуют полученные результаты?

Прежде всего о том, что мнения населения о неравенствах в российском обществе отражают, пусть и субъективную, но реально существующую в массовом сознании картину — картину явной избыточности социальных неравенств. Достаточно отметить, что лишь 4% россиян считают, что острых и неоправданных неравенств в нашем обществе сегодня нет. Подавляющее же большинство наших

сограждан — причем как бедных, так и небедных — не только фиксирует болезненные неравенства в масштабах общества, но и отмечает, что лично их испытывает.

Какие же социально-экономические неравенства воспринимаются в настоящее время россиянами как наиболее болезненные для общества и лично для них? Социологические данные показывают, что на первом месте с большим отрывом оказывается неравенство доходов, от которого, по мнению наших сограждан, в наибольшей степени страдают сегодня и они сами, и общество в целом (рис. 1).



Рис. 1. Мнение россиян о наиболее болезненных для общества в целом и лично для них неравенствах в современной России (%)

Помимо неравенства по доходам, такое же обостренное восприятие относится и к неравенству жилищных условий, доступа к качественной медицинской помощи, к качественному образованию. Не менее чувствительным оказывается для россиян и еще один тип неравенства, связанный с рынком труда — это неравенство в доступе к хорошим рабочим местам. При общем сопоставительном анализе весьма показательно следующее: реакции бедного и небедного населения на самые острые неравенства в контексте их общественной значимости не демонстрируют существенных отличий. Рейтинг наиболее болезненных для общества неравенств практически совпадает среди бедных слоев населения и россиян в целом. А вот что касается мнения россиян относительно тех неравенств, которые болезненны для них лично, то здесь отличия достаточно заметны: бедные россияне чаще заявляют о том, что живут в условиях и неравенства доходов и неравенства в доступе к качественной медицинской помощи, равно как и болезненно переживают неравенства жилищных условий и неравенства в доступе к хорошим рабочим местам, а также неравенства перед законом (правовое неравенство).

В силу того, что большинство россиян остро воспринимает сложившиеся в пореформенной России неравенства, неудивительно, что почти две трети из них (62%) считают, что в справедливом обществе различия в уровне жизни людей должны быть, но не столь существенными, каковы они сегодня есть. Отсюда вполне оправданно следует и запрос населения к государству на сокращение избыточных неравенств. Так, в целом среди российского населения 64% считают, что правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми. При этом уровень жизни населения на данную позицию практически не влияет (рис. 2).

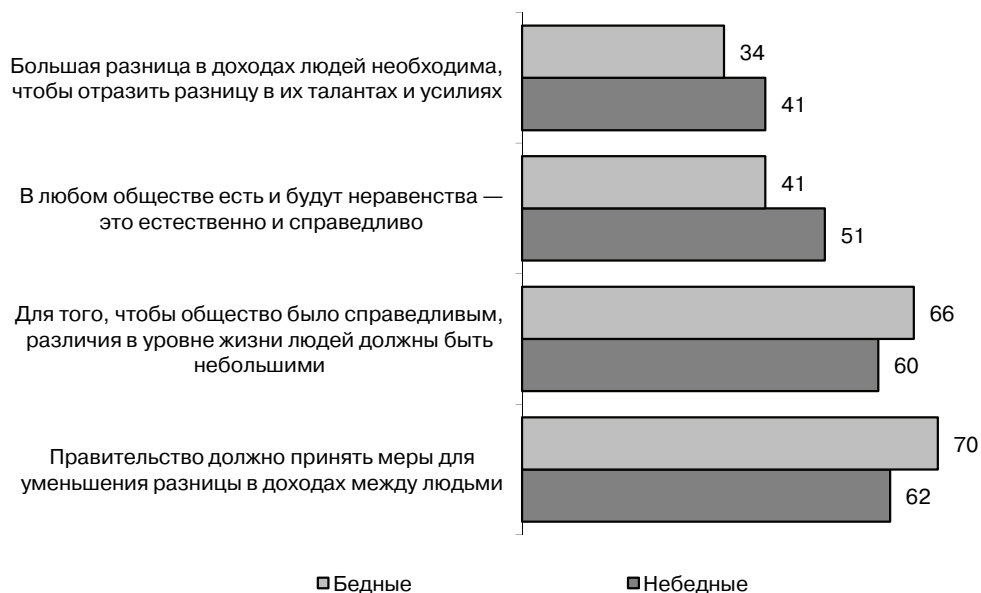


Рис. 2. Представления бедного и небедного населения о неравенствах доходов уровня жизни (%)

Если судить по результатам международного исследования ISSP [22], то российские данные о необходимости принятия правительством мер по сокращению разницы в доходах людей очень близки к показателям по Германии (66%), Великобритании (66%) или Китаю (71%). Так что в данном отношении россияне отнюдь не уникальны и не отличаются какой-то особой тягой к уравниловке. Особняком в этом вопросе стоит позиция американского общества, где совсем иная культура и менталитет населения: там доля сторонников точки зрения, согласно которой правительство должно принять меры для уменьшения разницы в доходах между людьми, составляет всего 33%. При том, что большинство наших сограждан, причем независимо от уровня материальной обеспеченности, остро воспринимает различные типы неравенств, они допускают все же их существование в обществе, но только тех из них, которые основаны на легитимных, согласно их представлениям, основаниях.

Какие же основания неравенства, по разумению россиян, представляются им легитимными, а тем самым справедливыми? Прежде всего, это более динамич-

ная и эффективная работа — но при условии, когда у всех есть равные возможности доступа к «хорошим» рабочим местам и возможности «заработать». Иначе говоря, наиболее высокую толерантность к неравенству по доходам население проявляет в том случае, если оно связано с большей эффективностью труда. Именно с этим связано согласие 74% россиян с тем, что справедливо, когда те, кто работает быстрее и эффективнее, должны получать зарплату выше даже при формально той же должности. Тем самым эффективность работы оказывается для большинства наших сограждан важнее, чем формальная иерархия позиций в системе производственных отношений. Данный показатель сам по себе многое говорит об отношении россиян к справедливости и ее роли в регулировании общественных отношений, в том числе трудовых.

Большинство россиян согласно также с тем, что различия в доходах справедливы, если у людей существуют равные возможности для их заработка, что вновь подчеркивает преобладающее в массовом сознании стремление жить в обществе равных возможностей, а не в обществе равных доходов. Наконец, еще одно основание для неравенства доходов, которое также представляется трети россиян скорее справедливым — это различия в доходах между людьми с разным уровнем образования. Что же касается различных профессий как основания для разной оплаты труда, то ситуацию, когда людей, имеющих разные профессии, ценят по-разному, назвали справедливой и несправедливой примерно поровну — соответственно 47% и 53% россиян.

Социологические данные показывают: хотя бедные в целом в меньшей степени согласны с теми или иными основаниями неравенств, в качественном отношении их позиция отражает общую картину по населению в целом, в том числе характерную для небедных россиян (табл. 2).

Таблица 2

**Представления бедных и небедных россиян
о справедливых и несправедливых основаниях неравенств (%) (4)**

Суждения	Бедные: согласны / не согласны	Небедные: согласны / не согласны
Справедливо, что те, кто работает быстрее и эффективнее, получают зарплату больше, чем люди на той же должности, но работающие менее эффективно	67 / 8	77 / 6
Когда у одних людей оказывается больше денег, чем у других, это справедливо, если они имели равные возможности их заработать	54 / 18	69 / 10
Справедливо, что те, кто получил более высокий уровень образования, зарабатывают больше	55 / 17	64 / 9
Справедливо, когда людей, имеющих разные профессии, ценят по-разному	39 / 28	49 / 21

Что же касается таких конкретных проявлений неравенств в современном российском обществе, как лучшее жилье, большая пенсия, доступ к качественной медицине и лучшему образованию, то толерантность (справедливо-терпимость) к ним оказывается ниже, чем к тем неравенствам, о которых говорилось выше —

причем не только среди бедных россиян, но и среди населения в целом. Однако при этом готовых принять как справедливую формулу «большие доходы — лучшее жилье» даже среди бедных оказывается заметно больше, чем не готовых к этому (41% и 27% соответственно). Аналогичная ситуация наблюдается и в оценке справедливости большей пенсии у тех, кто имеет более высокую зарплату (38% согласных против 30% несогласных). В то же время практически неприемлемым для большинства россиян является неравенство в доступе к медицинским услугам и к образованию. То, что люди с высокими доходами могут пользоваться медицинскими услугами более высокого качества, считают несправедливым 56% россиян. Что же касается возможностей людей с высокими доходами дать своим детям лучшее образование, то ощущение несправедливости подобной ситуации последние испытывают еще чаще — о нем говорят 60% россиян.

Неоднозначное отношение россиян к проблеме доступа к качественному здравоохранению и образованию позволяет сделать весьма примечательный вывод. В самосознании наших сограждан «сталкиваются» общая толерантность к различным типам общественных неравенств как таковых с ценностью равенства жизненных шансов. Например, признание допустимости неравенства доходов с пониманием неизбежности влияния этого неравенства на жизнь людей. Частично подобное столкновение (а можно сказать — конфликт самосознания) находит свое отражение и в том, что практически половина россиян считает, что в наше время трудно судить о том, что справедливо, а что нет (47%), а еще без малого треть населения (29%) затрудняется согласиться или не согласиться с данным утверждением.

С учетом общей важности концепции справедливости в ценностной модели россиян приведенные данные говорят о том, что столкновение нормативных представлений россиян с реальным положением дел (причем как в их личной ситуации, так и в обществе в целом) приводит к внутреннему конфликту и трудностям оценки справедливости тех или иных неравенств. При этом в условиях углубления социальных неравенств, закрытия «социальных лифтов» и растущей нелегитимности различий жизненных шансов представителей разных слоев, выбор в этой дилемме, как показывают исследования, населением страны все чаще делается в пользу несправедливости большинства социально-экономических неравенств. Тем самым под влиянием существующих в стране избыточных и нелегитимных неравенств постепенно меняется система нормативно-ценностных представлений россиян в стержневой области их мировоззрения [5].

Означает ли это рост в обществе антирыночных умонастроений, усиление патернализма или всплеск «законсервированной совковости», как это пытаются порой интерпретировать? Нет, не означает. Так, даже в вопросе об отношении к неравенствам в доступе к услугам здравоохранения и образования россияне в целом неоригинальны. Например, в Германии 13% населения (что даже меньше, чем в России) сочли неравенства в доступе к медицинским услугам справедливыми, а 72% — несправедливыми. Для неравенств в сфере образования эти показатели составили 10% и 75%, соответственно. Еще ниже толерантность к неравен-

ствам в доступе к базовым социальным услугам во Франции (3% и 86% по отношению к медицинским услугам и 8% и 74% по отношению к образованию) [22].

Отдельно следует затронуть еще одну важную проблему — отношение к неравенствам работающих бедных россиян. Социологические данные показывают, что толерантность работающих россиян к неравенству по доходам оказывается ниже, чем среди неработающих. Среди них меньше и согласных с тем, что более эффективный и усердный труд, а также образование или профессия могут являться справедливым основанием для дифференциации дохода.

Получается, что именно работающие россияне наиболее остро переживают свое положение, и, не ощущая справедливой связи между упорным трудом и честной работой, с одной стороны, и улучшением своего положения, с другой, острее воспринимают весь спектр проблем, относящихся к неравенствам вообще и к конкретным их проявлениям. Отсюда — возможно, жесткий, но обоснованный диагноз: острое ощущение работающим населением несправедливости всего происходящего является негативным индикатором, который указывает на процессы разрушения трудовой мотивации и потенциальные источники социально-экономической нестабильности. Кроме того, это означает, что существующие в стране неравенства в большей степени не принимают именно те, кто оценивает их исходя не столько из своей ценностно-нормативной модели (как, например, неработающие пенсионеры), сколько из реально сложившейся в обществе ситуации, которая не воспринимается ими как справедливая. В этом вновь проявляется конфликт между характерной для россиян нормативной моделью общества с разумными по масштабам и глубине неравенствами, основанными на справедливых основаниях, и ее практической реализацией в современной России. Приходится констатировать, что для этой модели стали характерной повседневностью избыточные, не имеющие легитимных оснований в глазах населения неравенства и отсутствие прямой связи между личными усилиями человека и его положением в обществе. Именно работающие россияне, отталкиваясь от данной реальности, начинают менять и характерные для российской культуры в целом нормативно-ценностные представления о том, что справедливо сегодня в нашем обществе, а что нет.

Обращаясь к проблеме общественных неравенств, было бы опрометчиво не обратить внимание на то, что в ходе исторического развития их различные виды эволюционировали, менялись в сторону усложнения форм собственного проявления. Закономерным образом претерпевали изменения и основания, их детерминирующие. В результате, в современных условиях неравенства (равно как и наиболее глубокие и масштабные их манифестации) воспринимаются, главным образом, как итог действия социальных факторов (уклад жизни, разделение труда, социальные роли и т.п.), а сами они «складываются» в неравенства экономические, социальные, политические и др., неразрывно связанные с различными основаниями дифференциации людей в обществе, их жизненными возможностями.

Однако социальные практики свидетельствуют, что не все так однозначно. На это указывает хотя бы существование (а в некоторых «крайних» случаях

и процветание) в современных социумах отдельных видов общественных неравенств, уходящих корнями в эпоху, казалось бы, давно минувшую: в период, когда социальная дифференциация в обществе предопределялась, прежде всего, социально-демографическими статусами индивидов. Речь идет об их принадлежности к тем или иным половым, возрастным, расовым и т.п. общностям. Таковым является, в частности, *неравенство гендерное* — характеристика социального устройства, согласно которой различные социальные группы (в данном случае — мужчины и женщины) обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе (5).

Как известно, издавна гендерные отношения покоились на экономическом, социальном и политическом превосходстве мужчин. При этом до определенного момента времени различия полов в обладании престижем и властными полномочиями, произраставшие из врожденных качеств, принимались как должное. Индустриализация сравнивала функциональную значимость половых различий, поставив под сомнение саму неизбежность их существования в целом. В наши дни, благодаря становлению и развитию институтов гендерного равенства (законодательных, структурных и организационных, представленных различными общественными нормами, диктующими необходимость гендерного просвещения или отказ от гендерных стереотипов) женщины формально получили равные с мужчинами права. Общество юридически оформило и узаконило их равенство и всячески стремится закрепить и развить его. Женщины в подавляющем большинстве заняты в общественном производстве, причем командные, ключевые посты занимают отнюдь не единицы: сегодня женщина-инженер, женщина-ученый, женщина-руководитель, — явление обычное, будничное.

Постепенно нивелируется значимость одной из главных причин, державших женщину в подчинении у мужчины, — экономическая зависимость. Зачастую современная женщина зарабатывает столько же, а то и больше, чем мужчина. Как следствие, в таких семьях муж не является основным или даже единственным кормильцем (6). И, тем не менее, структура современного общества до сих пор остается весьма патриархальной. Как следствие, проблема гендерного неравенства, в той или иной степени, свойственна большинству стран мира, в том числе развитым. В чем это проявляется на практике? Прежде всего в том, что именуется «гендерным перекосом» в статистике зарплаты, карьерном росте, доходах, «благодаря» которому женщины оказываются в худшем, нежели мужчины, положении. В целом анализ и статистических, и социологических данных позволяет прийти к неутешительному выводу: в пореформенной России гендерные стереотипы «пронизывают» все общественные отношения (сферу занятости, политику, отношения в семьях и пр.). В каком-то смысле гендерное неравенство даже «оправдывается» традиционным взглядом российского социума: сексизмом, признающим превосходство мужчин над женщинами.

Научного внимания заслуживают не только те виды неравенств, которые косятся в «донашенской эре» человеческого развития, но и принципиально новые для современной жизни виды общественных неравенств. К ним, несомненно,

относятся так называемые цифровые неравенства, возникающие в российском обществе вследствие вполне объективного и позитивного по направленности процесса превращения России в социум информационного типа или общество знаний. Последнее, по сути, олицетворяет собой следующую ступень развития человечества, в контексте которой главной ценностью, определяющей благосостояние как отдельных людей, так и целых государств, становятся не столько материальные блага, сколько своевременная и легкодоступная информация, а точнее — знания, полученные с ее помощью.

Еще четыреста лет назад английский философ Ф. Бекон заметил: «Кто владеет информацией — владеет миром». В наши дни, когда объем знаний удваивается на планете каждые пять лет, его слова актуальны как никогда. В условиях современности «обладать знанием» — значит уметь быстро ориентироваться в потоке новой информации, легко отыскивая в хранилище знаний необходимые сведения. При этом важно, чтобы затраты на поиск нужной информации не превышали экономическую выгоду от ее использования. Справиться с этой задачей под силу лишь компьютерам — своеобразным «усилителям» человеческого разума и памяти, главным инструментам хранения и передачи данных.

Ключ к успеху в информационном обществе — доступ к компьютерным технологиям и телекоммуникациям, а также правильное их использование. Феномен зависимости успеха человека от его отношения к компьютерной и телекоммуникационной революции получил название «цифровой барьер» или «цифровой разрыв» (в англоязычной литературе — Digital Divide). С ним связана и проблема «цифрового неравенства», суть которой состоит в следующем: возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, поистине огромны, но пользоваться ими для достижения своих социальных и экономических целей может лишь небольшой процент населения Земли. А это означает, что в эпоху информационного общества «цифровое неравенство» становится одним из важнейших факторов деления людей на богатых и бедных. Так, еще в 1997 году Программа развития ООН ввела новое измерение бедности — информационное, определяющее возможность доступа к информационной магистрали широких слоев населения.

Эксперты единодушны во мнении: к беспрецедентному социальному расслоению в России прибавилось новое измерение — неравенство населения в отношении к современным информационным технологиям, создающее новые маргинальные слои, лишенные доступа в современный мир коммуникаций. «Цифровая бедность» оставляет миллионы россиян без возможности общения, получения образования, медицинской помощи, необходимых информационных услуг. Превращение информации из общественного блага в благо частное становится дополнительным фактором нестабильности, особенно опасной в период затянувшейся трансформации общества. Главный же риск заключается в том, что в России возникает «двухслойное общество», в котором только часть населения имеет доступ к современным технологиям, умеет их использовать и получает от этого преимущества. Получается, что общественные неравенства, традиционно прояв-

ляющиеся резким контрастом между центром и периферией, дополняются и усиливаются «цифровым неравенством». Имеется в виду, что «информационная роскошь» мегаполисов, где доступны все современные средства телекоммуникаций тем более очевидна на фоне российской глубинки, которая зачастую полностью отрезана от каких бы то ни было средств связи. Таким образом, территориальный или поселенческий фактор обретает статус одного из важнейших факторов информационного неравенства в РФ.

В заключение следовало бы выделить главное: довольно высокий уровень, причем не только по национальным, но и по международным критериям, существующих в России социально-экономических и иных видов неравенств, усугубленный падением основных комплексных индексов развития, подрывает социальный капитал российского общества, формирует устойчивую «культуру неравенства», которая характеризуется повышенными показателями агрессивности и низкой сплоченности. Бросая вызов современной России, тормозя системную модернизацию, развитие экономики, блокируя ее переход к инновационной стадии, социальные неравенства усугубляют поляризацию общества, порождают апатию и пассивность определенных слоев населения, а носителей радикальных умонастроений подталкивают к нелегитимным формам протеста и политическому экстремизму. Больше того, как показывают не только исследования, но и повседневные практики, избыточные неравенства с особой силой в России разрушают нравственные устои общественного единения, создают климат конфронтационности и нетерпимости, препятствуют достижению национального согласия, порождая при этом разрыв между обществом и властью.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Социальная дифференциация — подразделение общества на элементы, предполагающее разграничение и специализацию составных частей социального организма, появление новых структур, статусов и ролей. Впервые данный термин ввел в оборот Г. Спенсер, стремившийся описать с его помощью процесс появления функционально специализированных институтов и разделения труда.
- (2) Наряду с данными официальной статистики, существуют и неофициальные данные, чаще всего получаемые методом массовых опросов. Согласно им, фактический децильный коэффициент составлял в 2013 году — 28—30 раз. В Москве же данный показатель вообще зашкаливает: в иные годы он составлял 40 и более раз.
- (3) В таблице не представлены те, кто выбрал ответ «отчасти согласен, отчасти нет», а также те, кто затруднился с ответом.
- (4) Факт существования и проблемы, порождаемые гендерным неравенством, были осознаны исследователями благодаря появлению в 1980-е гг. понятия «гендер», отличавшегося от традиционного понятия «пол» и ставшего основой феминистской концепции [12].
- (5) Социологические исследования, проводимые в наши дни, показывают интересную картину: большинство респондентов чаще всего определяет свою семью как семью, в которой не выделяется ее глава. Это дало повод демографам ввести новое понятие — «биархат». В отличие от матриархата, когда главенствовала женщина, и патриархата с его абсолютной властью мужчины наступил период эгалитарной семьи, в которой партнеры — муж и жена — равноправны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Беляева Л.А.* Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. М.: Академия, 2001.
- [2] *Голенкова З.Т.* Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества. М.: ИС РАН, 2000.
- [3] *Заславская Т.И.* Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2003.
- [4] *Зиненко И., Власова И.* Социальное неравенство в России ставит новые рекорды // URL: <http://newsland.com/news/detail/id/563868>.
- [5] *Мареева С.В.* Идея справедливости в портрете общества, о котором мечтают россияне // О чем мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. С. 54—76.
- [6] *Миловзоров А.* Мир снова становится биполярным // URL: <http://www.utro.ru/articles/2008/04/07/728835.shtml>.
- [7] Модернизация социальной структуры российского общества / Отв. ред. З.Т. Голенкова. М.: ИС РАН, 2008.
- [8] *Радаев В.В.* Социальная стратификация. М.: Аспект-пресс, 1996.
- [9] Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/povert.
- [10] Россия — новая социальная реальность: Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2004.
- [11] *Руткевич М.Н.* Социальная структура. М.: Альфа-М, 2004.
- [12] *Скотт Дж.* Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетей, 2001. С. 405—436.
- [13] *Сорокин П.А.* Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.
- [14] *Тарлавский В.* Богач, бедняк // URL: <http://www.eg-online.ru/article/275745>.
- [15] *Тихонова Н.Е.* Русские горки (изменения в социальной структуре России в посткоммунистический период) // Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / Под ред. Е.Б. Шестопаля, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М.: Изд-во Московского университета, 2015. С. 200—233.
- [16] *Тихонова Н.Е.* Социальная структура России: теории и реальность. М.: Новый хронограф, 2014.
- [17] *Шевяков А.Ю.* Мифы и реалии социальной политики. М.: ИСЭПН РАН, 2011.
- [18] *Шевяков А.Ю.* Неравенство и формирование новой социальной политики государства // Вестник РАН. 2008. Т. 78. № 4. С. 304—331.
- [19] *Шевяков А.Ю.* Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. 2007. Т. 7. № 3. С. 195—210.
- [20] *Dahrendorf R.* On the origin of inequality among mMen // The Logic of Social Hierarchies / Ed. by E.O. Laumann, P.M. Siegel, R.W. Hodge. Chicago, 1971.
- [21] Human Development Index and its Components // Human Development Report 2015: Work for Human Development // URL: <http://report.hdr.undp.org>.
- [22] International Social Survey Program: Social Inequality IV — ISSP 2009 // URL: <http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA540>.

SOCIAL INEQUALITIES IN POST-REFORM RUSSIA: A SOCIOLOGICAL DIAGNOSIS*

M.K. Gorshkov**

Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The article considers social inequality as a key feature of the development of the contemporary society and social sciences. On the one hand, it is an objective and progressive process without which successful (creative) development of society and individual is impossible; on the other hand, it may lead to dramatic social stratification, provoke a growth of social tensions, and destabilize society. In the Russian scientific discourse the social inequalities and their consequences are explained with the help of two concepts — social-stratification structure, i.e. a multidimensionally organized social space in which social groups differ in terms of possession of power, property and social status; and social strata, i.e. social-economic groups occupying different and unequal places in the macro-social system. The author uses a wide range of empirical (statistical and sociological) data to present the picture of social model in the contemporary Russian society focusing on the dramatic stratification in terms of wealth and the income gap (the decile ratio) widening to a critical mark; interpreting the Russian data in the international context (the current and optimum decile ratio in different countries); identifying statistical and sociological indicators for measuring different aspects of social inequality (for instance, the differentiation of incomes as the deviation of the actual income distribution from absolutely equal); emphasizing regional differences in social inequalities in Russia; and discussing possible mechanisms and means of mitigating social inequalities. The second part of the article presents the results of the national sociological research conducted by the experts of the Institute of Sociology and underlies some other dimensions of social inequalities as gender relations and an access to modern computer technologies and telecommunications and their correct use. The author concludes that the high level of social-economic and other types of inequalities in Russia undermines the social capital of the society and forms an enduring “culture of inequality” which is marked by a high level of aggression and a low level of cohesion.

Key words: social inequality; sociological and statistical data; mass surveys; post-reform Russia; social stratification; regional differences; social capital; ‘culture of inequality’.

The problem of social inequalities has been a key focus of attention at all the stages in the development of social sciences. The main reason is that any type of inequality is a distinct form of social differentiation, which accounts for differences in the living conditions of individuals and social groups, different access to economic, social, political, information and other resources, thus defining different opportunities for meeting their needs and interests that may differ widely in their character and origin. Everything that is connected with meeting people’s needs and interests has at all times presented special interest for social research and for sociology which is its theoretical underpinning.

Nowadays qualitative and quantitative differences of living conditions and needs manifest themselves primarily in different opportunities and scale of possession of property, inequalities in income, power, prestige, education, social and professional positions and types of activity. Not surprisingly, these are, to use the sociological language, the main categories in assessing inequality. Social differentiation as such becomes a com-

* The article is based on the author’s presentation at the V All-Russia Sociological Congress “Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice” (Yekaterinburg, 19—21 October 2016). The research was supported by the Russian Science Fund (project № 14-28-00218).

** © M.K. Gorshkov, 2016.

plex and contradictory process. On the one hand, it is an objective and progressive process without which successful (creative) development of society and the individual is impossible; on the other hand, it may lead to dramatic social stratification.

Such features of social inequalities that grew out of the natural historical development as diversity, inevitability and exogeneity, admissibility and redundancy coupled with their potential of provoking a growth of social tensions, and destabilizing society had attracted representatives of various areas of social sciences and humanities to the essence of this phenomenon long before the 19th century, when sociology began to acquire the status of an independent area of social knowledge: in Antique times — Plato and Aristotle, later — Machiavelli and Hobbs, Locke and Rousseau, Hegel and Darwin. The attention of the scholarly community to the inequalities was most notably reflected in the sociological literature. The classics of “traditional” (Auguste Comte, Herbert Spencer), “modernist” (Max Weber, Pitirim Sorokin, Talcott Parsons) and post-modernist sociology (Pierre Bourdieu and others) declared the principle of social inequality and its great functional significance for organizing social communities to be fundamental and unassailable. While specific forms of inequality change, the underlying principle is manifested always. Pitirim Sorokin who associated inequality with the hierarchic structure of society, wrote: “If for a moment some forms of stratification are eliminated they re-emerge in the old or modified shape, and are often created by the hands of the advocates of equality themselves” [13. P. 306]. He identified a number of reasons for the endurance of social forms of inequality that stratify society vertically including: the growing numbers, diversity and heterogeneity of people who form communities, the need to maintain group stability, spontaneous self-differentiation and functional distribution of activities in a community.

One can observe that in the Russian social sciences the social inequalities and their consequences have gained scientific status fairly recently. The analysis of the works of Russian scholars reveals two main concepts used to study the relations of inequality emerging in Russia today: social-stratification structure, i.e. a multidimensionally organized social space in which social groups differ in terms of possession of power, property and social status; social strata, i.e. social-economic groups occupying different and unequal places in the macro-social system. Proceeding from theoretical premises and the results of many years of empirical studies Russian scholars seek to obtain the fullest possible picture of social and stratification model of the contemporary Russian society. The studies focus on new forms of social differentiation and integration and social stratification; the features of the social-economic stratification of Russia’s population including the practices of excessive economic inequality observed in all ‘sectors’ of national economy, i.e. by territory, income, consumption and savings, property distribution, disposable human and social capital, etc. [17; 19].

Despite obvious differences in the approaches to defining the essence and causes of social inequalities, and the conflicting interpretations of their role in society, the majority of experts in and outside Russia believe that the phenomenon is endemic and cannot be eradicated in principle. The British-German sociologist, philosopher, political scientist and public figure Ralf Dahrendorf remarked that even in a prosperous society

unequal position of people remains an important and intransient phenomenon. Of course, these differences no longer stem from overt violence and legal norms that sustained the system of privileges in the societies of castes and estates. Even so, in addition to crude differentiation as to the size of property and incomes, prestige and power, our society is characterized by a multitude of differences that are so subtle and yet so deeply rooted that the claims that all forms of inequality will disappear as a result of equalizing processes should be met with skepticism at least [20. P. 3].

Thus an important question for many generations of social scientists who studied inequalities from various structural and substantive perspective was not whether it is possible to totally get rid of various inequalities, but how justified are the inequalities in different types of societies? What are the admissible limits of inequalities in various spheres of social life? And what can the state do to minimize social inequalities, equalize people's chances of having a decent life that corresponds to their abilities and aspirations? These questions are particularly relevant and pressing in post-Soviet Russia where the market was introduced under the deep economic crisis, escalation of unemployment and cost of living, a dramatically increased gap between rich and poor and a significant drop in the level of mass consumption.

The 1990s witnesses radical reforms at the high social-economic price which affected to varying degrees all spheres of Russian society, dramatically changed the life of the Russians many of whom proved to be unable to adapt to the rapidly changing social environment. The habitual reliance on the "nanny state" and the situation of relative well-being was replaced with a socially amorphous governance system, which sought to drop its obligations to address social tasks to the same extent and within the same limits as before. As a consequence, one of the key characteristics of the Russian society happened to be the high level of the social-economic inequality determined by the sharp growth of the decile ratio of income differentiation (the income difference between the top 10% and the bottom 10%), which by 1995 had increased 4.5 times on the previous decade (from 3 to 13.5 respectively). The situation was worsened by the pursuit of radical liberal reforms inspired by not very felicitous examples of the Western economic thought. The avalanche-like destruction of property relations and unregulated and uncontrolled privatization of state property and national natural resources opened the floodgates for an unbridled and unjustified widening of the social gap. As a result, within a mere 10—15 years the country faced huge social differentiation within various groups of the Russian population and unprecedented social inequalities.

Based on the Federal Statistical Service data experts had to conclude that "social inequality in Russia is breaking new records." According to the results of the study "Russians through the mirror of consumption" (September 2010) the Federal Statistical Service admitted that although the Russian population has grown much richer over the past twenty years and the country has joined the medium-income group it also witnessed a dramatic stratification in terms of wealth [4]. And indeed, the growth of real incomes in Russia since the 2000s and the growth of the group of super-rich Russians did not lead to the well-being of the Russian society as a whole. Moreover, under the above mentioned trends the income gap, far from diminishing, continued to widen

towards a critical mark. The years preceding the 2008—2009 crisis passed under the tacit slogan of “economic growth in favor of the rich.” According to the Federal Statistical Service, the gap between the incomes of the top 10% and the bottom 10% of Russians increased from 13.9 to 16.7 times from 2000 to 2007 [6].

Paradoxically, in the crisis years (2008—2010) the decile ratio stabilized at 16.6 times before increasing to 16.8 times at the end of 2014 under another crisis (Table 1) (3) [14]. The fact that it dropped to 15.6 times in 2015 indicates not that the poor pulled themselves up a bit to approach the mean value, but rather a dip in the wealth of the high-income group due to the doubling of the currency exchange rate due to the crisis.

Table 1

**Dynamics of decile ratio of income inequality
(1995–2015, times)**

Year	Decile ratio
1995	13.5
1998	13.8
2001	13.9
2003	14.5
2005	15.2
2006	15.9
2007	16.7
2008–2010	16.6
2011	16.2
2012	16.4
2013	16.3
2014	16.8
2015	15.6

This ratio in the Scandinavian countries (Denmark, Finland, Sweden) is 3—4 times and in Germany, Austria and France it varies within the range of 5 to 7 times. The results send an eloquent and dangerous message, however the danger is not so much in a social upheaval as happened in Russia in the early 20th century triggering a series of revolutionary events and sending the decile ratio to 25 times, as in social apathy when more and more people feel to be outsiders. According to economics experts, the optimum ratio is between 5 and 7 times. Indeed, there are grounds for saying that as soon as the decile ratio exceeds 10 the conditions for social instability appear. The rule though does not apply to the USA where the ratio hovers around 12 and considered to be normal, because according to the prevailing American philosophy the poor are themselves to blame for their poverty.

Considering the level of social inequalities foreign experts turn to the Gini coefficient, a quantitative statistical indicator for measuring the differentiation of people’s incomes as the deviation of the actual income distribution from absolutely equal (among all citizens). The coefficient reflects the stratification of the country or region in accordance with certain features. In Russia it was 0.416 in 2014 (the maximum value of 1.0 corresponds to absolute inequality) [9].

It has to be noted that unlike developed Western countries the gaps in the incomes of Russians vary greatly from region to region. Russia has one of the highest levels of regional inequality: people in the richest region can be times better off than

those in the poorest. Such an unlimited differentiation of incomes and the deepening of social inequalities lead to fundamental losses including a sharp drop of the quality of the population as witnessed by the steady decline of the Human Development Index (HDI) since the 1990s. In 2014, it was 0.798 (50th place in the world) [21] while in the USSR — 0.920 (26th place in the world).

Considering the above-mentioned trends and the actual state of affairs no wonder that much of the discussion focuses on mechanisms and means of mitigating social inequalities, and the most effective social policy for our country that can keep social inequality within the boundaries that do not exceed certain sound (socially and scientifically grounded) limits which, if exceeded, are fraught with conflicts and disintegration of society. However, such discussions remain on the periphery of the public domain. At best the problems of inequalities are discussed by the expert community, mainly by economists, sociologists and political scientists. That is why one of the tasks in the national sociological research program pursued by experts of the Institute of Sociology was to conduct an analysis of the public opinion on the problems of inequality in the context of social-economic differentiation in the post-reform Russian society. The results of this research are as follows:

First, people's opinions about inequalities in the society reflect an admittedly subjective but real picture of obviously excessive social inequalities: only 4% of Russians believe that there are no unjustified inequalities in the society today; an overwhelming majority — both poor and not poor — do not notice the painful inequalities at large, but personally experience them. What socio-economic inequalities are perceived by Russians as the most harmful for society and for them personally? The data show that the biggest complaint is income inequality which harms them personally and society as a whole (Table 2).

Table 2

Harmful inequalities

	Inequalities	Personally	For society
1	Income inequality	66%	82%
2	Inequalities of access to medical care	39%	59%
3	Inequalities of access to good jobs	32%	48%
4	Inequality of housing conditions	30%	61%
5	Inequalities of opportunities for children	18%	31%
6	Inequality of access to education	16%	40%
7	Inequality of property ownership	12%	18%
8	Inequality of leisure opportunities	12%	14%
9	There are no inequalities	9%	3%

Along with income inequality people are sensitive to inequality in housing conditions, access to quality medical care and quality education. Another type of inequality that Russians feel strongly about is at the labor market, that is, unequal access to good jobs. The comparative analysis shows that the reactions of poor and well-off people to the most salient kinds of inequalities in terms of their social significance do not show any substantial differences. The ranking of inequalities that are most painful for society are practically the same for the poorest strata and average Russians. By contrast, the opinions of Russians on inequalities that affect them personally reveal noticeable differ-

ences with poor Russians complaining more frequently about inequality of income, access to quality medical care, good housing conditions and good jobs, and about inequality before the law (legal inequality).

The majority of Russians are acutely aware of the inequalities in the post-reform period, that is why is not surprising that nearly two-thirds (62%) believe that although differences in living standards in a just society exist they cannot be as huge as today. No wonder people expect the state to deal with the excessive inequalities: 64% believe that the government must take measures to bridge the gap in incomes, and this opinion is shared by rich and poor people alike (Table 3).

Table 3

What people think about income and living standards inequalities (%)

	Estimates	Poor	Not poor
1	A big difference of incomes is necessary to reflect the differences of talents and effort	34%	41%
2	There are and will always be inequalities in any society, it is natural and fair	41%	51%
3	In a just society differences in people's living standards should not be too great	66%	60%
4	The government must take measures to narrow the gaps in incomes	70%	62%

Judging by the results of the international study [22], the proportion of Russians who think the government should take measures to narrow the gap in incomes is not much different from the similar indicators in Germany (66%), the UK (66%) or China (71%). The Russians in that respect are not unique and do not exhibit an excessive inclination for universal equality. A different attitude prevails in the US society where culture and mentality are different: only 33% think that the government should take measures to diminish income gaps.

While the majority of our citizens, regardless of their material status, react sharply to various types of inequalities, they admit that inequalities in society must exist, but only if there are legitimate grounds for them. What are the grounds for inequality that Russians consider to be legitimate and therefore fair? First, dynamic and efficient work provided there is equal access to “good” jobs and opportunities “to earn.” In other words, people display greater tolerance to income inequality if it is the result of more efficient work. That is why 74% of Russians agree that it is fair for those who work faster and more efficiently to be paid more, even if their formal position may be the same. Thus, efficient work is more important than the formal hierarchy, and this indicator explains the attitude of Russians to justice and its role in regulating social relations, including labor relations.

The majority of Russians also believe that income differences are fair if people have equal opportunities to earn, which again indicates that people want to live in a society of equal opportunities and not a society of equal incomes. Finally, another justification of income inequality is that one-third of Russians consider as largely legitimate the differences of income between people with different education levels. Differences of professions as grounds for differences of income are considered both fair and unfair (47% and 53% respectively).

The opinion polls show that although the poor are on the whole less inclined to agree with various grounds for inequality, qualitatively speaking their position reflects the general picture for the population including well-off Russians (Table 4).

Table 4

What Russians think about fair and unfair grounds for inequalities (%) (4)

Proposition	Poor: agree / disagree	Not poor: agree / disagree
It is fair that those who work faster and more efficiently are paid more than people in the same position who work less efficiently	67 / 8	77 / 6
When some people have more money than others it is fair if they had equal opportunities to earn	54 / 18	69 / 10
It is fair that those who have a higher level of education earn more	55 / 17	64 / 9
It is fair for people in different professions to be paid differently	39 / 28	49 / 21

To such manifestations of inequalities as better housing, higher pensions, access to quality healthcare and education people are less tolerant, and this applies not only to poor Russians, but also to the population in general. However, the formula “big incomes — better housing” is accepted by more people, even the poor, than rejected (41% and 27% respectively). The situation is similar in assessing the fairness of larger pensions for those who have higher salaries (38% agree and 30% disagree). At the same time, the majority of Russians consider unacceptable unequal access to medical services and education. 56% consider it unfair when people with higher incomes have access to the higher quality medical service; 60% consider unfair that people with higher incomes buy a better education for their children.

The controversial attitude of Russians to the access to quality health service and education suggests an interesting conclusion: in the Russian public opinion, tolerance to various types of social inequalities contradicts the value of equal opportunities. For example, Russians tolerate income inequality while recognizing that it inevitably influences people’s lives. To some extent this contradiction (a conflict of self-consciousness) is reflected in the fact that about a half of Russians believe that nowadays it is hard to tell what is fair and what is not (47%), and about a third (29%) find it hard either to agree or disagree with that proposition.

Considering the concept of justice as important for the Russian system of values the above data show that the clash of normative ideas with the real state of affairs (both in personal lives and in society as a whole) leads to an inner conflict and to problems in qualifying various inequalities as fair or unfair. Considering the deepening social inequalities, the shut-down of “social lifts” and growing illegitimacy of differences in the opportunities of various social strata, people increasingly tend to consider the majority of social-economic inequalities unfair. Thus, under the excessive and illegitimate inequalities the system of normative and value perceptions of Russians in the pivotal area of their worldview gradually changes [9]. Does it signify the general growth of anti-market sentiments, paternalism or a revival of Soviet-era attitudes? No, it does not for even on the unequal access to healthcare and education the Russians are much different from other nations. For example, in Germany 13% (less than in Russia) consider inequalities of access to medical services fair, while 72% consider them unfair; for the education 10% and 75% respectively. In France, there is even less tolerance to inequalities of ac-

cess to the basic social services (3% and 86% for medical services and 8% and 74% for education) [22].

Another important problem is the attitude of poor working Russians to inequalities. The opinion polls show that working Russians are less tolerant than non-working ones to income inequality: fewer of them agree that more efficient and diligent work, as well as education and profession, can be fair grounds for different incomes. The working Russians are most keenly aware of their plight and, not seeing a fair link between hard work and improvement of their position, are most unhappy about the whole spectrum of problems with inequality in general and its concrete manifestations. Hence, a harsh but justified diagnosis: a keen awareness of the working population of the injustice around them is a negative sign of the erosion of labor motivation and a potential source of the social-economic instability. Furthermore, it means that the inequalities are resented more by those who assess them not so much in terms of their values and norms (like non-working pensioners, for example) as in terms of the real situation in society which they perceive as unfair. This is another manifestation of the conflict between the Russian normative model of society with inequalities that are reasonable in scale and depth and legitimate, on the one hand, and its practical implementation in present-day Russia, on the other hand. This model is marked by excessive inequalities that have no legitimate grounds in the eyes of the population and lack the direct connection between people's efforts and their position in society. The working Russians in such realities begin to change the normative and value attitudes towards Russian culture and their ideas of what is and what is not fair in the society.

Considering social inequalities we should note that its various types have evolved over history manifesting in more and more complex forms, and, accordingly, the grounds determining them have been changing. As a result, under the today's conditions inequalities (and their most profound and large-scale manifestations) are perceived largely as a combined result of various social factors (life style, division of labor, social roles, etc.) for inequalities transfer into economic, social, political and other varieties that are inseparably bound with various factors of differentiation in the society. However, social practices show that things are not as simple as may seem. One indication of this is the existence (and in some extreme cases flourishing) in some social groups of certain types of social inequalities that seem to be rooted in an era long gone by: when social differentiation was determined primarily by the social-demographic status. I am referring to belonging to certain gender, age, race and other communities. One such inequality is gender inequality, a social system in which various social groups (men and women) are considered inherently different and have unequal opportunities in society (5).

Gender relations have from times immemorial been based on economic, social and political supremacy of the male. Up to a certain point in time gender differences in terms of prestige and power as if determined by inborn qualities were taken for granted. Industrialization eliminated the functional significance of gender differences and questioned their validity in general. Nowadays, due to the emergence and development of gender equality institutions (legislative, structural, and organizational, represented by various social norms that dictate the need for gender education and renunciation of gender stereotypes) women have formally gained equal rights with men. Society has legally sealed and legitimized their equality and seeks to strengthen and develop it in

every way. An overwhelming majority of women are engaged in social production often holding key posts. Today a woman engineer, a woman scientist, or a woman executive is an ordinary phenomenon.

The importance of one of the main factors that made woman subordinate to man — economic dependence — is gradually diminishing. A modern woman often earns as much as (if not more than) a man: as a result a husband in such families is not the main, let alone sole bread-winner (6). And yet the structure of modern society still remains very patriarchal, therefore the problem of gender inequality exists to varying degrees in most countries including the most developed ones. First, the “gender bias” manifests in wage statistics, career growth, and income owing to which women are at a disadvantage compared to men. The statistical and sociological data supports an uncomfortable conclusion that in post-reform Russia gender stereotypes permeate the social fabric (the spheres of employment, politics, family relations, etc.) Gender inequality is even “justified” by the traditional attitudes of Russian society — sexism which assumes man’s superiority over woman.

Not only the types of inequalities rooted in pre-historic times are worth a scientific study — there are also fundamentally new types of social inequalities. Such undoubtedly include digital inequalities arising in the Russian society from the objective and positive process of its turning into an information society or knowledge-based society. This signals a new stage in the development of humanity at which the main value that determines the well-being of individuals and the states is not so much material goods as easily accessible information, or rather, knowledge obtained from it. Four hundred years ago the English philosopher Francis Bacon declared that “knowledge is power”. Today, when the amount of knowledge on the planet doubles every five years, his words are more relevant than ever. In present-day conditions to “possess knowledge” means to be able to quickly pick one’s way in the flood of new information extracting the necessary knowledge from it, and the cost of search for information should not exceed the economic benefits from using it. This is a task that can be accomplished only by computers, these “amplifiers” of human reason and memory, the key instruments for the storage and transmission of data.

The key to success in the information society is access to computer technologies and telecommunications and their correct use. The success depending on a person’s attitude to computer and telecommunications revolution is known as the Digital Divide. It gives rise to the problem of “digital inequality”: the opportunities offered by digital technologies are staggering, but only a small percentage of the Earth’s population can use them to achieve social and economic goals. Thus, in the information society “the digital divide” becomes a key factor that separates the rich and the poor. Back in 1997, the UN Development Program introduced a new dimension of poverty called information poverty, i.e. limited access of the broad social strata to the information. Experts claim that the unprecedented social stratification in Russia has got a new dimension — inequality of access to information technologies, which creates a new marginal strata deprived of access to the communications world. “Digital poverty” deprives millions of Russians of the opportunity to communicate, get an education, medical care and information services.

The information turns from a social good into a private good, and this is an additional factor of instability which is particularly dangerous under the transformations of society. The key risk is that in the “two-tiered” society only part of the population has access to modern technologies, knows how to use them and derive benefits from them. Thus, the social inequalities traditionally manifested in the sharp contrast between the center and the periphery are aggravated by “digital inequality”. The “information luxury” of megalopolises where all modern telecommunications means are available is an opposite of the Russian hinterland which is often totally cut off from all communications. Thus, the territorial factor acquires the status of one of the key factors of information inequality in Russia.

The high level of the socio-economic and other types of inequalities in Russia aggravated by the decline of main development indices undermines the social capital of the Russian society, forms an enduring “culture of inequality” which is marked by a high level of aggression and a low level of cohesion. Challenging modern Russia, putting a brake on systemic modernization and economic development, blocking its transition to the innovation-driven stage, social inequalities deepen the polarization of the society, engender apathy and passivity among social strata prompting the radically-minded members of society to resort to illegitimate forms of protest and political extremism. Moreover, as research and daily practices show, excessive inequalities erode the foundations of social cohesion, create a climate of confrontation and intolerance, impede the achievement of national harmony, create a gap between society and power.

NOTES

- (1) Social differentiation is the division of society into elements that imply delimitation and specialization of the components of social organism, the emergence of new structures, statuses and roles. The term was introduced by Herbert Spencer to describe the emergence of functionally specialized institutions and division of labor.
- (2) Along with official statistics, there are also unofficial data usually obtained by mass surveys. The latter put the decile ratio in 2013 at 28—30 times. In Moscow, the decile ratio in some years reached a staggering 40 times and more.
- (3) The table does not include those who chose the answer “somewhat agree and somewhat disagree” and “hard to say”.
- (4) The gender inequality and the problems it generates were recognized by scholars thanks to the concept of gender introduced in the 1980s as differing from the traditional concept “sex”; it became the foundation of the feminist theory [12].
- (5) Current sociological studies reveal an interesting picture: most respondents define their family as a family with the head not identified. This made demographers introduce a new concept “biarchate”. Unlike matriarchate where the woman was the head of the family and patriarchate with the absolute power of the man we are in a period of an egalitarian family in which the partners — husband and wife — have equal rights.

REFERENCES

- [1] *Belyayeva L.A. Social Stratification and the Middle Class in Russia: 10 Post-Soviet Years.* Moscow: Academia, 2001 (In Russ.).
- [2] *Golenkova Z.T. Transformation of the Social Structure and Stratification of the Russian Society.* Moscow: IS RAS, 2000 (In Russ.).

- [3] *Zaslavskaya T.I.* Societal Transformation of the Russian Society: Activity-Structure Concept. Moscow: Delo, 2003 (In Russ.).
- [4] *Zinenko I., Vlasova I.* Social Inequality in Russia Reaches a New High. URL: <http://newsland.com/news/detail/id/563868> (In Russ.).
- [5] *Mareeva S.V.* The idea of justice in the portrait of society Russians dream of. What Russians Dream of: Ideal and Reality. Ed. by M.K. Gorshkov, R. Krumm, N.E. Tikhonova. Moscow: Ves' Mir, 2013. Pp. 54—76 (In Russ.).
- [6] *Milovzorov M.A.* The World Turns Bipolar Again. URL: <http://www.utro.ru/articles/2008/04/07/728835.shtml> (In Russ.).
- [7] Modernization of the Social Structure of the Russian Society. Ex. ed. Z.T. Golenkova. Moscow: IS RAS, 2008 (In Russ.).
- [8] *Radayev V.V.* Social Stratification. Moscow: Aspekt Press, 1996 (In Russ.).
- [9] Distribution of Total Volume of Incomes and Characteristics of Differentiation of People's Incomes. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty (In Russ.).
- [10] Russia: the New Social Reality: Rich. Poor. Middle Class. Ed. by M.K. Gorshkov, N.E. Tikhonova. Moscow: Nauka, 2004 (In Russ.).
- [11] *Rutkevich M.N.* Social Structure. Moscow: Alfa-M, 2004 (In Russ.).
- [12] *Scott J.* Gender: Useful category for historical analysis. Introduction to Gender Studies. Part II: Anthology. Ed. by S.V. Zherebkin. Kharkov: Kharkov Center for Gender Studies; St. Petersburg: Aleteia, 2001. Pp. 405—436 (In Russ.).
- [13] *Sorokin P.A.* Social stratification and mobility. Man. Civilization. Society. Moscow: Politizdat, 1992 (In Russ.).
- [14] *Tarlavsky V.* Rich Man, Poor Man. URL: <http://www.eg-online.ru/article/275745> (In Russ.).
- [15] *Tikhonova N.E.* The Russian roller-coaster (changes in the social structure in Russia in the post-Communist period). A Quarter Century after the USSR; People, Society, Reforms. Ed. by E.B. Shestopal, A.Yu. Shutov, V.I. Yakunin. Moscow: Moscow University Press 2015. Pp. 200—233 (In Russ.).
- [16] *Tikhonova N.E.* The Social Structure of Russia: Theories and Reality. Moscow: Noviy Khronograf, 2014 (In Russ.).
- [17] *Shevyakov A.Yu.* Myths and Realities of Social Policy. Moscow: IS RAS, 2011 (In Russ.).
- [18] *Shevyakov A.Yu.* Inequality and the shape of a new state social policy. *Vestnik RAN*. 2008. Vol. 78. No. 4. Pp. 304—331 (In Russ.).
- [19] *Shevyakov A.Yu.* Social policy and reform of distribution relations. *Vestnik RAN*. 2007. Vol. 7. No. 3. Pp. 195—210 (In Russ.).
- [20] *Dahrendorf R.* On the origin of inequality among men. The Logic of Social Hierarchies. Ed. by E.O. Laumann, P.M. Siegel, R.W. Hodge. Chicago, 1971.
- [21] Human Development Index and its Components. Human Development Report 2015: Work for Human Development. URL: <http://report.hdr.undp.org>.
- [22] International Social Survey Program: Social Inequality IV — ISSP 2009. URL: <http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA540>.

THE WORLD'S LARGEST SOCIAL SCIENCE INFRASTRUCTURE AND ACADEMIC SURVEY RESEARCH PROGRAM: THE WORLD VALUES SURVEY IN THE NEW INDEPENDENT STATES

C. Haerpfer¹, K. Kizilova^{2*}

¹University of Vienna, Austria

²V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

The World Values Survey (WVS) is an international research program developed to assess the impact of values stability or change over time on the social, political and economic development of countries and societies. It started in 1981 by Ronald Inglehart and his team, since then has involved more than 100 world societies and turned into the largest non-commercial cross-national empirical time-series investigation of human beliefs and values ever executed on a global scale. The article consists of a few sections differing by the focus. The authors begin with the description of survey methodology and organization management that both ensure cross-national and cross-regional comparative character of the study (the survey is implemented using the same questionnaire, a face-to-face mode of interviews, and the same sample type in every country). The next part of the article presents a short overview of the project history and comparative surveys' time-series (so called "waves" — periods between two and four years long during which collection of data in several dozens of countries using one same questionnaire is taking place; such waves are conducted every five years). Here the authors describe every wave of the WVS mentioning coordination and management activities that were determined by the extension of the project thematically and geographically. After that the authors identify the key features of the WVS in the New Independent States and mention some of the results of the study conducted in NIS countries in 1990—2014, such as high level of uncertainty in the choice of ideological preferences; rapid growth of declared religiosity; observed gap between the declared values and actual facts of social life, etc. The final section of the article summarizes the findings and key publications of the project for its data is widely used to analyse economic and political development, religious beliefs, gender equality, social capital, subjective well-being and many other issues of social development and values change in the world.

Key words: World Values Survey (WVS); international research program; comparative study; social, political and economic development; cross-national empirical time-series investigation; survey methodology and organization management; New Independent States

INTRODUCTION

The World Values Survey (WVS) is an international research program devoted to the scientific and academic study of social, political, economic, religious and cultural values of people in the world. The project's goal is to assess which impact values stability or change over time has on the social, political and economic development of countries and societies. The project was started in 1981 by its Founding President Ronald Inglehart from the University of Michigan (USA) and his team, and since then has been operating in more than 100 world societies. The main research instrument of the project is a representative comparative social survey which is conducted globally every five years. Extensive geographical and thematic scope, free availability of survey data and project findings for broad public turned the WVS into one of the most authoritative and widely-used cross-national surveys in the social sciences. At the moment, WVS is the largest non-commercial cross-national empirical time-series investigation of human beliefs and values ever executed on a global scale.

* © C. Haerpfer, K. Kizilova, 2016.

Project's overall aim is to analyze people's values, beliefs and norms in a comparative cross-national and over-time perspective. To reach this aim, the project covers a broad scope of topics from the field of sociology, political science, international relations, economics, public health, demography, anthropology, and social psychology. In addition, WVS is the only academic study which covers the whole scope of global variations, from very poor to very rich societies in all world's main cultural zones. The WVS combines two institutional components. From one side, WVS is a scientific program and social research infrastructure that explores people's values and beliefs. At the same time, WVS comprises an international network of social scientists and researchers from 108 world countries and societies. All national teams and individual researchers involved into the implementation of the WVS constitute the community of Principal Investigators (PIs). All PIs are members of the WVS.

All the WVS findings and data collected since the last 35 years (1981—2016) are available online, free of charge at the WVSA official web-site (www.worldvaluessurvey.org). The web-site was renovated in 2013. The new design features data downloads; online data analysis and production of tables, graphs and maps; availability of documentation at country level organized by waves; lists of publications using WVS data; and a list of all participants with links. The WVS is publishing its findings and publications every day in its social media like Facebook or Twitter. The WVS findings have proved to be valuable for policy makers seeking to build civil society and stable political institutions in developing countries. The WVS data is also frequently used by governments around the world, scholars, students, journalists and international organizations such as the World Bank, World Health Organization (WHO), United Nations Development Program (UNDP) and the United Nations Headquarters in New York (USA). The WVS data has been used in thousands of scholarly publications and the findings have been reported in leading media such as Time, Newsweek, The New York Times, The Economist, the World Development Report, the World Happiness Report and the UN Human Development Report.

SURVEY METHODOLOGY AND ORGANIZATION MANAGEMENT

In order to monitor people's values and value systems, the WVS is conducting comparative cross-national social survey every five years. Every wave of the WVS consists of several dozens of national representative surveys conducted in 50—60 world countries using a common questionnaire. Currently the project's data-base includes face-to-face interviews with around 380,000 respondents. Every wave, WVS aims at extending its geographical coverage and increasing the number of countries involved into the project. The survey seeks to use the most rigorous, high-quality research designs in each society. The surveys are performed by an international network of social scientists. The WVS works with leading researchers and scholars recruited from each country or society studied.

In order to ensure cross-national and cross-regional comparative character of the study, the survey is implemented using the same master questionnaire in every country. The questionnaire from every following wave contains up to 65% of the questions from the previous one. The unchanged part of the WVS questionnaire is called the "core".

The variable part of the WVS questionnaire is developed depending on those processes and phenomena which take place in the world in the current period of time. The questionnaire is regularly updated to guarantee that the program is actually studying modern social process and modern people's values and that none of most important social, political and cultural transformations which take place nowadays is left behind. Every country or territory in every wave has a Principal Investigator responsible for conducting the survey in accordance with elaborated rules and procedures. The PI is responsible for spearheading the effort to secure funding in his/her country; conducting the survey fieldwork according to the standard requirements, and submitting the dataset and related technical documentation to the WVS Data Archive. Use of the core questionnaire translated into the local language is mandatory. Internal consistency checks are made between the sampling design and the outcome and rigorous data-cleaning procedures are followed at the WVS data archive.

The sample type required to be used in the WVS is the full probability sample. In most cases, a list or registry of all households or voters in the country is required to build a full probability sample. Recognizing that quite high cost of full probability samples may prove prohibitive in some cases, in developing countries WVS allows application of a national representative sample based on multi-stage territorial stratified selection with elements of random route sampling. WVS surveys are required to cover all residents and not just citizens in the country in the age of 18 years old and older. The obtained sample should be representative, i.e. it should reflect the main distributions observed in the country's population in terms of gender and age groups; urban/rural population etc.

All interviews are conducted in a face-to-face mode by a local fieldwork organization and are supervised by local researchers. Respondent's answers could be recorded in a paper questionnaire (traditional way) or by CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Other methods of data collections (e.g. post or Internet) are not acceptable in general, except under exclusive circumstances. In WVS the seventh wave of the World Values Survey will be considering application of mixed methods (combination of face to face and post, for example) in some countries on the experimental basis.

Since 2000, the World Values Survey project is governed by the World Values Survey Association (WVSA), a non-profit research organization; its legal seat is located in Stockholm (Sweden) and the headquarters is in Vienna (Austria). The purpose and tasks of the WVSA activities is to facilitate the advancement of social sciences around the world by promoting international survey research, deepening research cooperation across societies and encouraging the establishment and development of research and survey centres in the world. WVSA aims at facilitating the spread of information about developments in social surveys by organizing global and regional conferences, workshops and round-tables; facilitating establishment of networks of social scientists, publishing books, journals and promoting social survey in social media. The WVSA organizes trainings in survey methodology and analysis on national, regional and global levels and supports capacity building in local, national and international agencies and bureaus. WVSA is regularly organizing panels at the World Congress of the International Political Science Association (IPSA). In particular, over a dozen of thematic sessions have been organized at the IPSA Congress in Santiago de Chile in 2009, in Madrid in 2012, in Montreal in 2014 and Poznan in 2016.

The WWSA is coordinated by three main bodies which include the Executive Committee (EC), the Scientific Advisory Committee (SAC), and the General Assembly (GA). Since 2002, activities of the WWSA are regulated by the Constitution; the new Constitution has been accepted by the General Assembly in April, 2014 at the GA meeting in Doha, Qatar. The GA consists of WWS Principal Investigators for all countries from the two most recent survey waves. GA is the highest decision-making body of the Association. GA decides on strategic questions of long-term relevance, including the methodological standards and requirements to be followed in conducting the survey, approves the financial report delivered by the Treasurer and decides about the changes to the Constitution. The GA meets in regular sessions at least once every five years. The GA elects directly the members of the EC and SAC. The Executive Committee is the central governing body of the WWSA. The EC provides every-day management and strategic planning for the organization, recruits new members, develops the survey questionnaire, organizes meetings and workshops, promotes publication and dissemination of results, raises funds for central functions, and assists local Principal Investigators in their fundraising initiatives. The EC also coordinates data collection, data archiving and data distribution in every survey wave.

Current composition of the Executive Committee includes:

- ◆ Christian Haerper, President of the WWSA, Director of the Institute for Comparative Survey Research “Eurasia Barometer”, Research Professor of Political Science, University of Vienna (Austria);

- ◆ Alejandro Moreno, First Vice-President and Treasurer of the WWSA, Former President of World Association of Public Opinion Research (WAPOR), Professor of Political Science, ITAM — Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico City (Mexico);

- ◆ Christian Welzel, Second Vice-President of the WWSA, Professor at Leuphana Universität in Lüneburg (Germany);

- ◆ Eduard Ponarin, Member of the WWSA at Large, Director of Laboratory for Comparative Social Research and Professor of Sociology, Moscow & Saint-Petersburg (Russia);

- ◆ Bi Puranen, Secretary General of the WWSA, Associate Professor of Economic History, Institute for Future Studies, in Stockholm (Sweden);

- ◆ Pippa Norris, Member of the WWSA at Large, Professor of Government and IR, Harvard and Sydney Universities (USA & Australia);

- ◆ Marta Lagos, Member of the WWSA at Large, Director of Corporacion Latino-barometro (Chile);

- ◆ Ronald Inglehart (ex-officio), Founding President, Professor of Political Science, University of Michigan in Ann Arbor (USA);

- ◆ Jaime Diez-Medrano (ex-officio), Director, WWS Data Archive in Madrid (Spain).

The Scientific Advisory Committee of the WWSA includes leading scholars in the field of social science and survey research who represent all regions of the world. The primary function of the SAC is to maintain technical standards to the highest level of scientific knowledge and to develop the survey instruments for every wave, in consultation with the EC. The SAC is consulted by the EC before major decisions are being made. The current composition of the SAC includes the following scholars:

- ◆ Juan Diez-Nicolas (Chair), Emeritus Professor of Sociology, President of ASEP, Madrid (Spain);

- ◆ Yilmaz Esmer (Vice-Chair), Professor of Political Science, Former Rektor of Bahçeşehir University, Istanbul (Turkey);
- ◆ Marita Carballo (Vice-Chair), Professor of Catholic University, President of Voices Consultancy, Buenos Aires (Argentina);
- ◆ David Rotman, Director of the Center for Sociological and Political Research, Professor of Sociology, Belarus State University (Belarus);
- ◆ Renata Siemienska, Professor at the Department of Sociology of Education, Warsaw University (Poland);
- ◆ Linda Luz Guerrero, Social Weather Stations (the Philippines);
- ◆ Ian McAllister, Distinguished Professor of Political Science, Australian National University, Canberra (Australia);
- ◆ Catalina Romero, Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru);
- ◆ Seiko Yamazaki, Research Planning and Development Office, Dentsu Inc., Tokyo (Japan).

WVSA has offices in Vienna, Austria (President's Office & Secretariat), Stockholm, Sweden (External Relations Office) & Madrid, Spain (Data Archive). Since 2015, the WVSA is introducing also a network of regional offices of the Association — regional hubs — who are expected to assist in extension and reinforcing of the WVSA network. Regional Office of the WVSA in Middle East is located at SESRI — Social and Economic Survey Research Institute at Qatar University and is chaired by Dr Darwish Al-Emadi, Vice-President of Qatar University, Doha (Qatar). Regional Office of WVSA in Northern Europe is located at the Institute for Future Studies and is chaired by Dr Bi Puranen, Associate Professor at University of Stockholm (Sweden).

WORLD VALUES SURVEY TIME-SERIES AND HISTORY

The World Values Survey is conducted in the mode of so called “waves” (Table 1) — periods between 2 and 4 years long during which collection of data in several dozens of countries using one same questionnaire is taking place. Such waves are conducted every 5 years. In practical terms, every 5 years constitute a “cycle” of WVS survey activities; such “cycle” includes 1—2 years of preparation activities (fund-raising and development of the new questionnaire); on average 3 years of survey fieldwork with additional fundraising efforts undertaken in parallel; 1—2 years for data storage, cleaning and distribution of newly obtained survey findings. While in the next waves WVS is aiming at reducing the actual duration of the period of data collection, the gap between the waves will still be kept at the level of 5—6 years. Such time gaps in between the waves are explained by the nature of the project's object: people's values do not change overnight, and often a certain period of time is required before changes in living conditions of the population lead to a change of their value systems. Therefore, in order to trace any differences in population's value system, a gap of at least several years between the time points is required. As of today, the WVS has been conducted in 108 societies containing almost 90 percent of the world's population.

Table 1

Waves and respondents interviews in WVS 1-6

Wave	Years	Countries	Respondents
1	1981—1984	10	13 586
2	1990—1994	18	22 265
3	1995—1998	51	74 148
4	1999—2004	41	61 128
5	2005—2009	54	77 101
6	2010—2014	60	86 274
Total	1981—2014	108	334 502

The reason for the difference in the number of countries included into every wave and the total number of countries covered by the WVS is the limited funding available to support the survey. The actual costs of conducting one wave of WVS are extremely extensive due to high costs of application of face-to-face survey method. For this reason, WVS data-set includes countries for which a good time-series is available while in the some of them WVS has been conducted only once. The number of countries included into all 6 (or at least 5) waves is 15. In the majority of countries, the survey has been conducted for 2—3 times — which might though be enough to estimate the direction of the value change processes.

The first quantitative empirical study of population values was conducted in six European states in year 1970 (Great Britain, France, West Germany, Italy, Belgium, and the Netherlands). The study was organized under the leadership of the future Founding President of the WWSA Professor Ronald Inglehart. The study became the starting point for the decades-long process of documenting and analysing population value, though the study if 1970 is not included into the WVS project and can be considered as a “pre-WVS” or WVS “test-wave”. The aim of that study was to test the theory of developing shift of values and emerging post-materialist values as a part of the post-war renaissance in Western Europe. The basis of this theory has been developed by Inglehart after he conducted the national survey in France in 1968 in order to investigate the causes of students uprising which were taking place at that time. The survey conducted in France has indicated emergence of the so called “intergenerational value gap” or shift: a large part of the younger, post-war generation no longer prioritized economic security and other materialist values, and instead was placing emphasis on autonomy and personal freedom. Further findings from the six-nation study in Europe confirmed the theory with empirical evidence. Inglehart’s first findings in this regard are summarized in the article “The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies” [2].

In order to further validate the revealed change in values systems of different generations, long-term time-series data was required. For this, the newly designed battery by Inglehart four-item materialist-postmaterialist values in 1973 was included into the biannual survey of the European Commission Eurobarometer. It is noteworthy, that the battery remained in the Eurobarometer questionnaire for many years, already after the WVS was established as an independent project [6]. The obtained survey findings have confirmed that earlier revealed differences between value systems of different age cohorts remained stable. Thus, younger generation did not become more materialistic when getting older and therefore, the differences in value systems originated not from the

life-cycle effects but from different living conditions of the two generations. Further research work of Inglehart included elaboration of the 12-item materialist-postmaterialist battery index and has proved that discovered shift of value systems is a part of a broader process of intergenerational cultural change caused by modernization [1].

The survey which nowadays is recognized as the first wave of the World Values Survey was conducted in 1981—1982 and grew out of the study launched by the European Values Systems Study Group (EVSSG) under the leadership of Jan Kerkhofs and Ruud de Moor. The EVSSG carried out survey in ten Western European countries in 1981. Due to the high interest created by this study, it was repeated in 10 additional world countries which became the first wave of WVS [7]. The WVS-1 study included such countries as Argentina, Mexico, USA, Sweden, Finland, Hungary, South Africa, Japan, South Korea and Australia. The survey within WVS-1 was conducted mainly in Spring of 1981, but fieldwork in South Korea and South Africa took place in 1982 and fieldwork in Argentina was completed later in 1984. Of outmost interest is the fact that a part of USSR — Region of Tambov in Russian SSR — was included already in the very first wave of WVS in 1981. This part of the country was selected as the “barometrical” for the whole of Russia as the one where vast majority of population distributions and frequency distributions of public opinion polls were extremely close to the general national level for the whole of the former Soviet Union. Therefore, this region of Russia was selected to represent the whole country. The WVS survey will be repeated in the region of Tambov 15 years later in WVS-3. Within the framework of that later study it will be proved that this region indeed serves as a “barometric” territory for the whole country. Therefore, we can say the history of WVS in Russia goes back to the very beginning of the project, to year 1981 [3].

The WVS-1 questionnaire covered a very broad range of topics, such as family values; religious values; religious denominations and religious practices; leisure time practices; media; moral and ethical norms and beliefs; happiness and well-being; feeling of loneliness and other moods; organizational membership; social distance and social tolerance; generalized trust and social capital; social and psychological health; national pride; employment and satisfaction with the job and many others [7]. Findings from this survey suggested that pervasive cultural changes were taking place. In order to further monitor this process, a new, second wave of values study was launched. The second wave was designed already in such way that it could be organized and conducted globally. The second wave was designed and coordinated by Ruud de Moor, Jan Kerkhofs, Karel Dobbelaere, Loek Halman, Stephen Harding, Felix Heunks, Renate Köcher, Jacques Rabier, Noel Timms and Ronald Inglehart who organized the survey in non-EU and several East-European states [4].

WVS-2 was conducted in 1989—1990 in 18 countries and included already two societies within the framework of the USSR: Russia, Belarus, Slovakia, Poland, Czech Republic, Switzerland, Spain, Turkey, Nigeria, South Africa, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, the USA, India, Japan, South Korea and China. Most of the WVS second wave took place in 1990; Switzerland and Poland completed their fieldwork in 1989; Russia and Turkey delivered their data in early 1991. WVS-2 survey covered topics on work, religious, family and political values; attitudes towards environment, national development, voluntary work; social tolerance and social distance; physical, psychological and social health; people's norms and beliefs in different fields [8].

Further extension of the project thematically and geographically required certain coordination and management activities. WVS PIs from approximately 40 countries met in Spain in September 1993 in order to discuss and to evaluate results from the first two survey waves and decide on the future vectors of project development. Obtained project results from the first two waves have pointed that intergenerational changes were taking place in basic values related to politics, economic life, religion, gender roles, family norms and sexual norms. The values of younger generations differed essentially from those widespread among older generations, especially in those societies which had experienced economic growth. Because these changes seem to be linked with economic development and technological progress, it was decided that the next wave of values study should include societies with different level of economic development in order to study further the link between the economic growth and value change [4].

Third wave of the World Values Survey, WVS-3, was conducted in 1995—1998, independently from EVS whose next survey took place only in 1999 (EVS is conducted every 9 years; so far 4 waves have been implemented). The World Values Survey 3 was conducted in 51 countries and societies, namely: Russia, Belarus, Moldova, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Poland, Sweden, Norway, Finland, Germany, Switzerland, Spain, Turkey, Great Britain, USA, Mexico, Puerto Rico, Dominican Republic, Venezuela, El Salvador, Colombia, Peru, Uruguay, Argentina, Chile, South Africa, Nigeria, Bangladesh, India, Pakistan, Philippines, South Korea, Taiwan, China, Japan, Australia and New Zealand.

In WVS-3, several regional surveys were carried also in some countries in order to test the existing regional differences in value systems of people living in same country. Regional sub-surveys were conducted in Andalusia, Basque Country, Galicia and Valencia in Spain, in addition to the Spanish national survey, as well as in Puerto Rico. WVS-3 was conducted mainly in 1995 and 1996 with several countries surveyed in 1997 (Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Colombia, Germany, Lithuania, Pakistan, Poland) and 1998 (Slovakia, Romania, New Zealand, Macedonia, Hungary, Great Britain, Albania). The WVS-3 questionnaire contained those items from WVS-1 and WVS-2 which gave the most significant results and interesting findings (work, personal finances, the economy, politics, allocation of resources, contemporary social issues, technology and its impact on society, and traditional values) as well as a number of new topics on technology development, social relationships, and parent-child relationships.

With the third wave, WVS began its expansion outside Europe (the original Eurocentric character of the project was caused by its European origin). In order to expand geographically, the WVS approved a decentralised structure of the project management system where social scientists and survey researchers from countries from all over the world participated in the study design, survey implementation and data analysis as well as in the publication of findings. In exchange for providing the data for their country, every national team obtained free access to all the data collected by other research groups participating in the current wave of the WVS. This allowed to every national team involved into the WVS project to analyse their own country in comparative cross-national, cross-regional and cross-cultural perspective. All the leaders of national teams became

also part of the global network of social scientists that maintains regular communication both electronically and in person, at international conferences, exchanging interpretations and explanation of the discovered cross-national and over-time changes [3].

In WVS-3 the first management structure for the global WVS project was established. The following Steering Committee was elected to guide the design and execution of the third wave of values study in the world:

- ◆ Ronald Inglehart, University of Michigan, Ann Arbor, USA (Chair);
- ◆ Juan Diez-Nicolas, Complutense University, Madrid (Spain);
- ◆ Yilmaz Esmer, Bogazici University, Istanbul (Turkey);
- ◆ Hans-Dieter Klingemann, Free University of Berlin and Berlin Science Centre (Germany);
- ◆ Thorleif Petterson, Uppsala University (Sweden);
- ◆ Elena Bashkirova, Russian Public Opinion and Market Research Institute, Moscow (Russia);
- ◆ Miguel Basanez, Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, Mexico City (Mexico);
- ◆ Hei-yuan Chiu, Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taipei (Taiwan);
- ◆ Loek Halman, University of Tilburg (Netherlands);
- ◆ Renata Siemianska, University of Warsaw (Poland);
- ◆ Seiko Yamazaki, Dentsu Institute for Human Studies, Tokyo (Japan);
- ◆ Elone Nwabuzor, University of Benin, Benin (Nigeria);
- ◆ Alan Webster, Massey University, North Palmerston (New Zealand).

First three waves of the WVS contributed to the extension of existing data-bases of numerous public opinion polls conducted in the USA and countries of Western Europe since already some time. However, in other parts of the world, like Sub-Saharan Africa or Middle East, WVS became one of the first or the very first national population survey ever conducted in the country. This explained certain variations in the quality of national samples. Surveys in the EU states and the USA were carried out by professional survey organizations. While in other parts of the world survey research was in the developing stage, which caused certain sample limitations in first WVS waves. For instance, in Nigeria, China and India nation-wide fieldwork covered mainly urban, literate population with the illiterate rural part being essentially underrepresented. A similar methodological problem was observed in Chile and Argentina where the first samples applied covered the central part of the country which contains 60—70% of the total population and is characterized by essentially higher level of income than the other remote regions [3]. Due to quite high costs associated with the application of a full probability sample, in most countries stratified multi-stage random samples was used. In Japan respondents' names were drawn from records maintained by local government agencies. In Slovenia the central registry of citizens was used to select the respondents. In Great Britain, Italy and Ireland respondents were selected from electoral rolls. In most other countries, samples were built using quota sampling method with quotas assigned on the basis of sex, age, occupation and region, using census data as a guide to the distribution of each group in the population [4].

The next, fourth wave of the WVS was conducted in 1999—2000. In terms of geographical coverage, WVS-4 aimed at extending its scope and covering more of African and Middle Eastern societies, which had been under-represented in previous waves. The wave included 41 countries, among them: Moldova, Kyrgyzstan, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, Turkey, Spain, Sweden, USA, Canada, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Peru, Argentina, Chile, South Africa, Zimbabwe, Tanzania, Nigeria, Uganda, Algeria, Morocco, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Israel, Iraq, Iran, Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, Philippines, Singapore, Vietnam, South Korea, Japan and China. The topics studied in the WVS-4 included traditional batteries measuring importance of work, family, and religion; questions on personal finances and national economy; politics and allocation of resources; technology and its impact on society, and traditional values. Respondents were also asked about the groups and associations they belonged to; which ones they worked for voluntarily. The questionnaire measured social distance and tolerance by asking the respondents about the groups of people they would not want to have as neighbours. Ethical norms of the respondents were measured by asking them whether such acts as suicide, cheating on taxes, lying, euthanasia, and divorce were ever justifiable for them. The core part of the questionnaire included also questions on the state of health, free choice and control over life; the meaning and purpose of life; the notions of good and evil; religious behaviour and beliefs. All these items have been included also into the questionnaires from previous WVS waves which provided a good time series. Respondents were also questioned about their attitudes towards morality, marriage, single parenting, and child-rearing [10].

WVS-5 was carried out in years 2005—2008, jointly with the 4th wave of the European Values Study. The fifth wave included questions on human rights and democratic governance; market competition, re-distributional preferences and social justice; religion, moral taboos and authority orientations; health, security, feelings of agency and subjective well-being; interpersonal trust, empathy and human tolerance; gender roles, women's empowerment and the treatment of girls; voluntary activity, social movements and civil society; cultural identities, migration, peace and conflict; science, technology, and environmental protection; media usage, information habits and political interest. We can therefore note that if the first three WVS waves were mainly focused on the issues of social psychology (respondent's social and religious values, satisfaction with the job, expectations from life etc.), most recent WVS waves have moved their thematic core to the problematic field of sociology, political sociology and political science social and were primarily covering items characterizing economic and political development of societies and respondents' opinion about the vectors and nature of this development [11].

In WVS-5, the survey covered 54 countries and societies, including: Russian Federation, Moldova, Ukraine, Georgia, Serbia, Hungary, Bulgaria, Romania, Slovenia, Poland, Germany, Switzerland, France, Finland, Sweden, Norway, Spain, Andorra, Netherlands, Italy, Cyprus, Turkey, Great Britain, USA, Canada, Mexico, Trinidad and Tobago, Uruguay, Peru, Guatemala, Colombia, Brazil, Argentina, Chile, South Africa, Rwanda, Zambia, Burkina Faso, Ghana, Ethiopia, Mali, Morocco, Egypt, Jordan, Iraq, Iran, In-

donesia, Malaysia, India, Thailand, Vietnam, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Mainland China, Japan, Australia and New Zealand.

In 2014 WVS wave number 6 has been completed. This, most recent WVS wave, covers 60 countries and is the biggest wave in the history of the WVS. The WVS-6 data-set was released at the WVSA Global Conference which took place at Qatar University (Doha, Qatar) in April, 2014. Additionally, a welcome reception devoted to the launch of the WVS-6 data-set was organized in July, 2014 at the World Congress of the International Political Science Association in Montreal, Canada. WVS-6 questionnaire except for measuring standard set of issues on support for democracy, tolerance to foreigners and ethnic minorities, support for gender equality, the role of religion and changing levels of religiosity, the impact of globalization, attitudes toward the environment, work, family, politics, national identity, culture, diversity, insecurity, subjective well-being, included also innovative batteries of items on such topics as human security, electoral integrity, and aging [12]. Countries included into WVS-6 were: Russia, Belarus, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey, Poland, Romania, Slovenia, Spain, Cyprus, Germany, Netherlands, Sweden, USA, Mexico, Trinidad and Tobago, Colombia, Ecuador, Uruguay, Peru, Brazil, Argentina, Chile, South Africa, Rwanda, Zimbabwe, Nigeria, Ghana, Morocco, Libya, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Palestine, Lebanon, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yemen, Iraq, Pakistan, India, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Mainland China, Japan, Australia and New Zealand. In wave 6 the coverage of the Middle East and Northern Africa Region was expanded essentially; the survey project covered Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Jordan, Palestine, Lebanon, Turkey, Iraq, Yemen, Kuwait, Qatar and Bahrain, altogether 14 MENA countries, which is a record in the history of the WVS (Fig. 1).

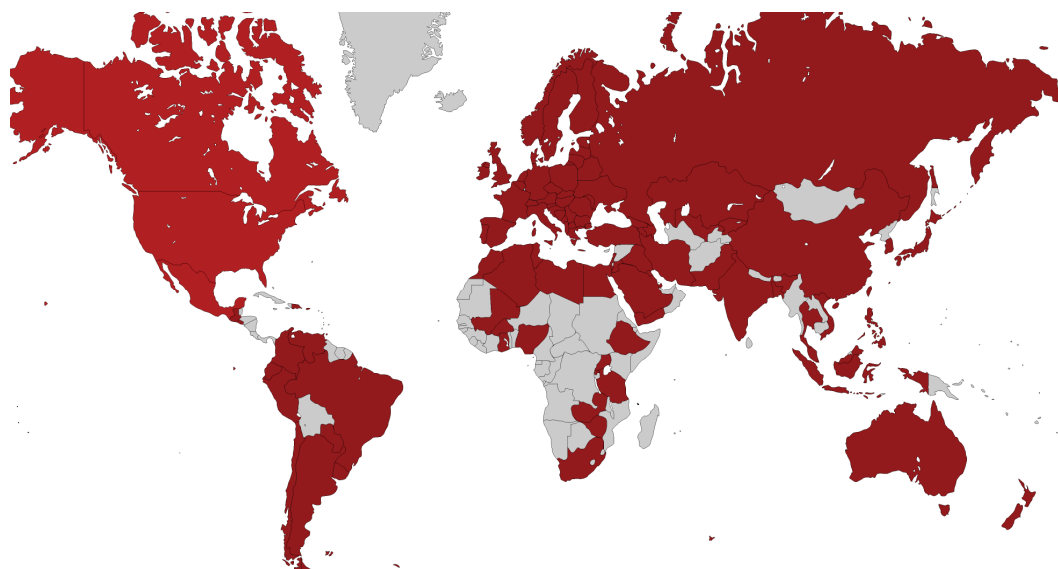


Figure 1. Countries and societies covered by the WVS (1981—2016)

WORLD VALUES SURVEY IN NEW INDEPENDENT STATES

Involvement of countries of Eastern Europe and Central Asia into the WVS goes back to the very beginning of the project. Russian Federation (at that time Russian SSR) was the country who pioneered in joining the global WVS survey. Due to a number of reasons of financial, organizational and administrative nature, it was decided to test the WVS-1 questionnaire only in one region of the country which — according to the opinion and expertise of local experts — in terms of opinion of its inhabitants, more or less reflected average opinion and attitudes of the population of Russia as a whole and therefore could serve as a “barometrical” territory for Russia. This hypothesis regarding Tambov region was proved in WVS-3 when the survey was repeated there. Noteworthy that the sample size applied in Tambov region in WVS-1 was quite extensive and equal to a standard national representative sample for most of world countries (N = 1262) which allowed analysis not only of main frequency distributions, but also cross-tabs, different social groups and building regression models.

National representative sample of N = 1961 was applied in Russia in WVS-2 in 1990 when the second wave of WVS was conducted, with the actual fieldwork taking place in October-November, 1990. The survey was organized and conducted by the Institute for Social and Political Research at the Soviet Academy of Science in Moscow under the leadership of Dr Elena Bashkirova, the head of the Department of international comparative surveys of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences. In the second wave of the WVS Russia was joined by another country from Eastern Europe — Belarus. WVS-2 in Belarus was completed in the same time period like in Russia — in October-November, 1990 and was implemented by the Institute of Sociology of the Belarussian Academy of Sciences in Minsk. Applied sample though being much smaller (N = 1015) was developed in strict correspondence with the existing requirements (representative national sample for the total population in the age of 18 years old and older). Noteworthy to point out that Russia and Belarus became not only the first ones out of all Soviet republics who joined WVS in 1990, but also were among the very few states from Eastern Europe in WVS-2 (which were Belarus, Czech Republic, Poland, Russia, and Slovakia) (Table 2).

Table 2

World Values Survey in NIS countries

Wave	WVS-1	WVS-2	WVS-3	WVS-4	WVS-5	WVS-6
Country/Year	1981—1982	1990—1994	1995—1998	2000—2004	2005—2008	2010—2014
Armenia	*	*	N = 2000	*	*	N = 1100
Azerbaijan	*	*	N = 2002	*	*	N = 1002
Belarus	*	N = 1015	N = 2092	N = 1000	N = 1500	N = 1535
Estonia	*	*	N = 1021	*	*	N = 1533
Georgia	*	*	N = 2008	*	N = 1500	N = 1202
Kazakhstan	*	*	*	*	*	N = 1502
Kyrgyzstan	*	*	*	N = 1043	*	N = 1500
Latvia	*	*	N = 1200	*	*	*
Lithuania	*	*	N = 1009	*	*	*
Moldova	*	*	N = 984	N = 1008	N = 1046	*
Russia	N = 1262	N = 1961	N = 2040	N = 2500	N = 2033	N = 2500
Uzbekistan	*	*	*	*	*	N = 1500
Ukraine	*	*	N = 2811	*	N = 1000	N = 1500
Total	N = 1262	N = 2976	N = 17167	N = 5551	N = 7079	N = 14874

In wave 3 while Russia and Belarus continued their participation in the project, WVS was joined by a big number of Eastern European (Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Ukraine, Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia), Balkan (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia) and Southern Caucasus (Armenia, Georgia, Azerbaijan) states. Changes in the political situation and further development of social survey institutions and practice of international comparative surveys allowed participation many new to WVS countries in capacity of independent individual members. Existing public and scientific interest to the politically new and scientifically not-studied yet process of post-Soviet and post-Communist transformations in all these states, allowed WVS group raising essential funds which covered survey fieldwork expenses in 23 Eastern European states. To a large extent, the survey funds were obtained via a research grant of Volkswagen Stiftung in Germany who in 1990s has an extensive program on transitional states of Eastern Europe. From the side of the WVS group, the application and grant were coordinated by Professor Hans-Dieter Klingemann (Wissenschaftszentrum-Berlin, Germany). A distinguishing feature was the organization of national research teams in Eastern Europe and the rest of the world. While in the USA, Latin America, Western Europe the WVS national teams usually consisted of the Principal Investigator and group of experts Social and Political Scientists and included additionally a survey agency (usually Gallup) who was actually implementing the survey fieldwork, in Eastern Europe and post-Soviet countries existing tradition of having academies of sciences combined with research and survey unites, allowed involvement of one organization — national academy of sciences, university, research institute etc. — who was implementing both design of the study, its implementation and analysis.

In WVS-3 the survey in Russian Federation was conducted by the Russian Public Opinion and Market Research company “ROMIR” under the leadership of its Founding Director Elena Bashkirova. Actual fieldwork took place in November, 1995-January, 1996. A national representative sample of the total population of the Russian Federation of 18 years and older was interviewed. Groups omitted were citizens residing in the Far North and in inaccessible regions of Siberia. Five-stage probability sample was applied.

Surveys in three South Caucasus states were coordinated and supervised by Merab Pachulia from Georgian Institute of Public Opinion (GIPO), Tbilisi, Georgia. Actual fieldwork in Georgia was conducted by the same institution while in Azerbaijan survey was implemented by SIAR Social & Marketing Research Centre under the leadership of Ali Aliyev and in Armenia by the Sociological Research Centre of the Armenian Academy of Sciences in Yerevan under the leadership of Gevorg Poghosyan. The survey in Georgia was conducted in December, 1996 while in Armenia and Azerbaijan in February, 1997. In all these countries an extensive national representative sample of around 2000 respondents was applied. In all three countries questionnaires in national languages as well as in Russian were used.

WVS-3 in Belarus was carried out by NOVAK-Laboratory in Minsk under the leadership of Andrei Vardomatskii. Similar to other post-Soviet states in WVS-3, five-step stratified random sample was applied in Belarus. The total sample size in Belarus

constituted 2092 respondents. Should be noted that actual response rate in Belarus when doing the survey was much lower (48% of approached potential respondents responded) than, for instance, in Russian Federation (75% of approached potential respondents responded).

WVS-3 in Ukraine was conducted in September-October, 1996 by the Social Monitoring Centre at the National Institute for Strategic Studies in Kiev under the leadership of Olga Balakireva. The sample size for Ukraine in wave 3 constituted 2811 respondents; response rate in that study in Ukraine was around 85%. Questionnaire both in Russian and Ukraine was applied to conduct survey fieldwork.

WVS-3 in Moldova was organized by the Institute of Sociology of the Moldovan Academy of Sciences in Chisinau under the leadership of Ljubov Ishimova from the Department of Sociology of the Institute of Sociology, Philosophy and Law of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova in Chisinau. Sample size for Moldova was essentially smaller than for other Eastern European countries due to country's smaller population size and constituted 984 respondents; response rate constituted 85%.

WVS-3 covered also three Baltic states. The survey in Estonia was conducted by the Centre for Social Research in Eastern Europe in Tallinn, Estonia under the leadership of Mikk Titma. Actual fieldwork took place in October-November, 1996; national representative sample included 1021 successful interviews. The survey in Latvia was completed by the Foundation for the Advancement of Sociological Studies in Riga under the leadership of Ilze Koroleva with the sample size of $N = 1200$. Finally, WVS-3 in Lithuania was carried out by Baltic Surveys Ltd. in Vilnius, Lithuania under the leadership of Rasa Alisauskiene. Sample size constituted 1009 successfully completed interviews; one of the lowest response rates has been observed in Estonia: only 40% of approached potential respondents responded to the questionnaire. The survey in the Baltics as well as in all the other Eastern European states was supervised and coordinated by Hans-Dieter Klingemann from the Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) in Germany.

WVS-3 in other Eastern European and Balkan states was organized and coordinated by scholars who later became members of the WVS core team. For instance, WVS-3 survey in Hungary which took place in December, 1998 — January, 1999 and was organized under the scientific guidance and supervision of Christian Haerpfer, who later became the third President of the WVS Association. At that time he was Director of the Paul-Lazarsfeld Society of Social Research in Vienna (Austria).

The survey in the Tambov region of the Russian Federation, which was repeated in WVS-3, was not the only WVS sub-national study conducted in Eastern Europe. Thus, in 2011, at the request of the State Service of Youth and Sports of Ukraine (now the Ministry of Youth and Sports) of randomly selected 1000 young people aged 14—34 years (according to the young people definition accepted in Ukraine) using the WVS questionnaire was conducted. This survey provided data for publication of the brochure on "Value orientations of modern youth in Ukraine" published in 2011. Sub-study on values of young people in Ukraine was repeated upon the request of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine also in 2016.

WVS-4, which was conducted in 1999—2004 — soon after the previous wave was completed — featured a much smaller involvement of Eastern European states. For

instance, WVS-4 was conducted only in Russia, Belarus, Moldova (same teams and same PIs as in WVS-3) and in Kyrgyzstan — which was the first of Central Asian states included into the WVS project. WVS-4 in Kyrgyzstan was conducted in summer (June-September) of 2003 by the East-West Centre for Research at American University — Central Asia in Bishkek under the leadership of Temirlan Moldogaziev. The five-stage probability sample was developed basing on the available statistical information on the total population of the Kyrgyz Republic, 18 years old and older. The sample size constituted 1043 successful interviews.

WVS-5, similarly to WVS-4, featured a much smaller number of Eastern European countries comparing to WVS-3. Fifth wave of values study was completed in Georgia and Belarus, Moldova, Russia and Ukraine. The survey in Georgia and Belarus was completed by same teams as the previous waves of survey: Merab Pachulia, the Founding Director of GORBI, led WVS-5 in Georgia while in Belarus the survey was coordinated by the Novak Laboratory and Andrei Vardomatskii. WVS-5 in Russia was conducted by GfK research company together with the similar fieldwork on WVS-5 in France, Great Britain, Italy, Netherlands, and the USA. Sample size for Russian Federation constituted 2033 successfully completed interviews. WVS-5 in Ukraine was implemented with the support of ROMIR Monitoring and YNS BBSS Gallup-Bulgaria, who organized the survey fieldwork in Ukraine in November of 2006. Finally, the WVS-5 survey in Moldova was conducted by Independent Sociological and Information Service “OPINIA” under the scientific guidance of the current WWSA President Christian Haerpfer, who was at that time Residential Wilson Fellow at the George Kennan of Advanced Ukrainian and Russian Studies in the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, DC. (USA).

Coverage in Eastern Europe was partly restored in WVS-6, which was completed in 2014 and included already 13 states from Eastern Europe, Balkans, Central Asia and Southern Caucasus. In the most recent wave the WWSA got a new strong national partner in Russian Federation represented by the Laboratory of Comparative Survey Research of Higher School of Economics in Moscow and Saint Petersburg under the leadership of its head Eduard Ponarin, who is Professor of Sociology at the Higher School of Economics as well as Professor of Political Science at the European University in Saint Petersburg. LCSR-HSE conducted the WVS-6 survey in the Russian Federation as well as organized the value surveys in a number of other states: Belarus, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Ukraine and Estonia. The survey fieldwork in these states was implemented by the Eurasia Monitor Network and was funded by the major research grant obtained by HSE within one of the governmental programs.

WVS-6 survey fieldwork in Russia was conducted by the Levada Centre in September-October, 2011. A sample of 2500 adults in the age of 18 years old and older representative by sex, age, region and urban/rural residence of the adult population of Russia was constructed for this survey. The following categories of citizens and residents were omitted when developing the sample: persons doing their military service at the conscription or by contract; persons under imprisonment, before trial and convicted; persons living in old people's home, psycho-neurological hospitals and other closed institutions; persons living in remote or difficult for access regions of Far North and Far

East; persons living in Chechnya and Ingushetia; persons residing in rural settlements with less than 50 inhabitants; homeless peoples.

In WVS-6, the values survey in Kazakhstan was conducted for the first time. The study was implemented by business information, sociological and marketing research centre «Bisam Central Asia» under the scientific supervision of “Bashkirova & Partners, Ltd” in November-December, 2011 under the leadership of Elena Bashkirova and Maria Bashkirova. The total population of Kazakhstan aged 18 years old and older was considered as the universe of that study. The sample reflects social and demographic characteristics of each region surveyed in the country. The sample size in Kazakhstan was 1500 interviews. The survey was completed under scientific supervision of Principal Investigator Alisher Aldashev.

WVS-6 in Kyrgyzstan was conducted in November-December 2011 by EL-PIKIR Center of Public Opinion Study and Forecasting in Bishkek under the leadership of Temirlan Moldogaziev from American University — Central Asia and Tatiana Karabchuk, then Deputy Head of the LSCR-HSE. Similarly to Kazakhstan, a national representative sample of $N = 1500$ was developed for the study in Kyrgyzstan. WVS-6 in Uzbekistan was completed in November-December, 2011 by the “Ekspert fikri” Centre for Social and Marketing Research. It was the first WVS survey ever conducted in Uzbekistan and represented hence a regional innovation; the sample size constituted 1500 respondents. Similarly to other post-Soviet states, response rate in Uzbekistan differed in urban (56%) and rural regions (74%) of the country.

WVS-6 survey in Belarus was conducted by the same team from the NOVAK Laboratory in Minsk who is the member of Eurasia Barometer Monitor — the organization who won the tender to conduct WVS-6 in five post-Soviet states. The survey was completed at the end of 2011 with the sample size of 1535. The survey in Estonia was conducted by Saar Poll LLC under the leadership of Andruus Saar and Anu Realo. Similarly to other countries where the survey was funded by Russian Federation, the fieldwork was conducted in November-December of 2011. The sample size constituted 1533 respondents. The multi-stage stratified random-route sample model with the random selection of respondents was applied. The purpose of stratifying was to allow conducting separate sampling in each stratum and by this reach the best possible representative sample of the universe to be covered.

The WVS-6 in Southern Caucasus was conducted by three different WVS partners. In Armenia, the study was carried out by the Caucasus Research Resource Centre (CRRC)-Armenia under the leadership of Heghine Manasyan in September-October of 2011; the national sample size was 1100 successful interviews. In Azerbaijan the study was completed by the International Centre for Social Research (ICSR) in Baku under the leadership of Tair Faradov. Sample size for Azerbaijan constituted 1002 respondents and covered all territories, except for Nagorno-Karabakh region. The WVS-6 in Georgia — similarly to all the previous waves — has been completed under the scientific supervision of Merab Pachulia by GORBI research company. All the WVS surveys so far completed in all of post-Soviet and post-Communist states were conducted using the method of face-to-face interview.

Among the problems occurred while implementing WVS-6 in NIS-countries could be mentioned several cases of WVS-conducting interviewers being arrested in Uzbekistan and Belarus. Due to the security situation in Kabardino-Balkaria (North Caucasus), the sample ended up biased toward urban and better educated segments of the population. In WVS-6 Russia implemented also a number of regional sub-studies on values in about a dozen of Russian provinces using the WVS questionnaire. Obtained findings on comparison of values in Russia, Kyrgyzstan and Uzbekistan were delivered by the LCSR-HSE in an analytical report to the Eurasian Bank of Development.

Except for being WVS-6 national partner for Russia, LCSR-HSE became one of the WWSA capacity building hubs. In close consultation with the Founding President Ronald Inglehart and WWSA Vice-President Christian Welzel, the LCSR coaches several dozens of young researchers from Russia and other ex-communist states and beyond in analysing WVS data. For this purpose, the LCSR conducts annual workshops in spring and fall as well as summer schools.

Over the years, the WVS became one of the most important surveys for all national teams in NIS states. WVS is considered as a principal contribution to their image and academic prestige due to the widely accepted scientific importance and global coverage of the WVS project. Additionally, involvement into WVS project gives all the national teams opportunities for experience exchange with partners both inside and outside the NIS-region and possibility to get acquainted with the development of new research methodologies in the social sciences throughout the world. WVS data is frequently presented to journalists during press conferences, as well as during interviews for the TV, usually obtaining a significant interest in all NIS states. Materials and findings from WVS are used to prepare analytical materials for local authorities and locally based UN offices and other international organizations. Faculties and departments of social sciences of the leading universities in Russia, Belarus, Ukraine as well as the other NIS states, show great interest to the results of the study and frequently use WVS data-sets for the education purposes. Due to the availability of open access to its data, the WVS materials are often used in candidate and doctoral dissertations (PhD theses). Following the popularity of WVS survey, several separate questions from the WVS questionnaires have been included into other household surveys conducted in Russia, Belarus, Ukraine and other NIS states.

Values study conducted in NIS states in 1990—2014 has discovered many interesting facts on the value systems of post-Communist societies. In particular, the following facts were revealed: high level of uncertainty in the choice of respondents ideological preferences; rapid growth of declared religiosity; observed gap between the declared values and actual facts of social life (high value of family and divorce; the value of education and low participation in continuing education, lack of correlation between education and income, high value of democracy and low level of democratic behavior and practices, etc.); high request to ensure that the country was ruled by experts; low level of correlation between some variables (which though can be explained by the transition period). Data from Central Asia has showed that people there were much happier than one would expect basing on GDP/ca and other similar indicators. The same was relevant for the Muslim provinces of Russian Federation. One of the possible explanations could be these territories are similar to Latin America where dense social networks and high levels of religiosity contribute to higher levels of population happiness.

In addition to active involvement into the survey activities, NIS countries, in particular Russian Federation, since 1995 has also been actively involved into the WWSA organization management: WWS PI for Russia Elena Bashkirova has been the member of the WWS Steering Committee and later WWS PI for Russia Eduard Ponarin became member of the WWSA Executive Committee. Therefore, representative of the WWS national team for Russia since the last twenty years has been actively involved into decision-making and defining the future vector of development of the WWSA.

PUBLICATIONS AND FINDINGS

Numerous sociologists, political scientists, economic sociologists, sociologists of religion, social psychologists, anthropologists and economists use the WWS data to analyse economic development, political development, religion, gender equality, social capital, subjective well-being and many other issues of social development and values change in the world. WWS data has been also extensively used by government officials, journalists and students. For instance, research groups at the World Bank have analysed the linkages between cultural factors and economic development. The WWS data has been downloaded by over 150,000 researchers, policy-makers, journalists. The WWS network has produced over 2,000 publications in 22 languages and secondary data users became authors of other several thousand publications. Some of the best known WWS findings and outputs are a series of books by Ronald Inglehart and his collaborators.

The first and most influential book, which served as theoretical basis for the further WWS study, was “The Silent Revolution” (Princeton University Press, 1977) by the Founding President of the WWSA, Ronald Inglehart (University of Michigan, USA). This core theory of the World Values Survey was further developed by Ronald Inglehart in the “Culture Shift in Advanced Industrial Society” (Princeton University Press, 1989) and later in the next monograph “Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies” (Princeton University Press, 1997). Ronald Inglehart from the University of Michigan published together with Pippa Norris from Harvard University (USA) and University of Sydney (Australia) two core books, which are forming the conceptual and theoretical basis of the World Values Survey. One book by Inglehart and Norris — “Rising Tide” (Cambridge University Press: New York, 2003) — has examined how value change has affected the roles of men and women in different societies. The other book by Inglehart and Norris analysed the stability and change of religious values across the world and has the title “Sacred and Secular” (Cambridge University Press: New York, 2011). Pippa Norris who is the member of the Executive Committee of the WWS, has recently published a series of monographs on the issues of electoral integrity which were included as a module into the WWS-6 survey. The series includes three books: “Why Electoral Integrity Matters”, “Why Elections Fail”, and “Strengthening Electoral Integrity: What Works?” (Cambridge University Press: New York 2014, 2015, 2017).

The Founding President of the WWS, Ronald Inglehart published together with the Vice-President of the WWS Christian Welzel from Leuphania University (Germany)

a monograph on the interactions between Modernization, Culture Change and Democracy in a co-authored book on “Modernization, Cultural Change and Democracy” (Cambridge University Press: New York, 2005). Using the WVS surveys, the Vice-President of the WVS Christian Welzel has published a monograph on “Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation” (Cambridge University Press: New York, 2013). This book has received several prestigious prizes of the international scientific community.

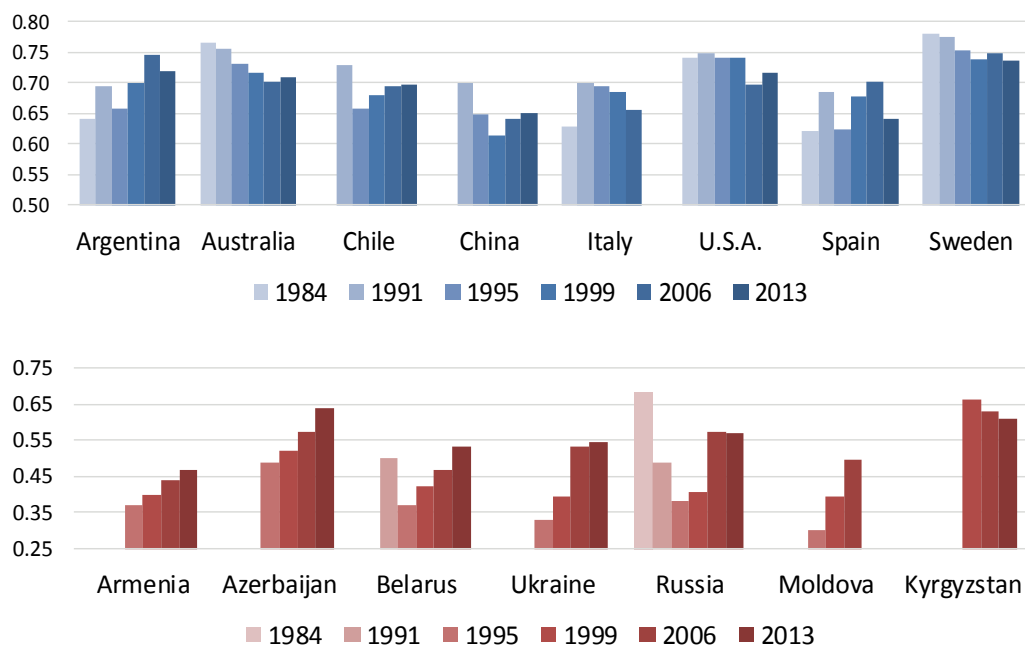
The work and life of the Founding President of the WVS, Ronald Inglehart, has been celebrated in a Festschrift for him, which has been edited by the Vice-President of the WVS, Christian Welzel and the Principal Investigator of WVS in the USA, Russel J. Dalton from the University of California in Irvine. The Festschrift for Ronald Inglehart has the title “The Civic Culture Transformed. From Allegiant to Assertive Citizens” (Cambridge University Press: New York, 2014) and many scholars from the WWSA have written chapters in this WVS Festschrift for its Founding President.

In addition to development of the general theory of postmodernization and population values shift, the last several waves of WVS gave birth to a number of theoretical works and monographs presenting empirical findings on particular aspects of social, economic or political development of societies. This collection includes a monograph by WVS PI for Kuwait Samir Rudwan Abu Rumman, Executive Director of the Gulf Opinions Center for Polls in Kuwait, and visiting scholar in University of Delaware/USA. The book entitled “How do They Look at Us? ... Islam and Muslims in World Opinion Polls” (published by Al-Bayan Center for Research and Studies in 2015) presents WVS findings from the survey in Kuwait which was conducted there for the first time in the last 6th wave in year 2012 as well as analyses hundreds of questions from Western opinion polls related to Islam and Muslims. Another book produced by WVS PIs includes a monograph on “Liberal Democracy and Peace in South Africa” (Palgrave Macmillan US, 2011) by WVS PI for South Africa, Professor of Politics and Dean of the Faculty of Arts at Stellenbosch University Hennie Kotze.

In Latin America WVS PIs have produced a number of publications based on WVS findings in this part of the world which include monographs on “Value Change in Latin America: Evidence from the World Values Survey” (CSOP/ITAM, 2013), co-edited by Marita Carballo, WVS PI for Argentina and Alejandro Moreno, WVS PI for Mexico. Later in 2015 Marita Carballo has published a book studying levels and factors of population happiness in the world (“La felicidad de las naciones”, 2015).

Other important books produced by the WVS community include “Religion, democratic values and political conflict” (2009) edited by WVS PI for Turkey and Vice-Chair of SAC Yilmaz Esmer, WVS PI for Balkans in the 1990s Hans-Dieter Klingemann and WVS Secretary General Dr Bi Puranen; “Changing Values, Persisting Cultures” (2007) edited by Yilmaz Esmer and WVS PI for Sweden Thorleif Pettersson; “Measuring and Mapping Culture: 25 Years of Comparative Values Surveys” (2007) edited by Yilmaz Esmer and Thorleif Pettersson; “Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics” (2007) edited by former WVS PI for Iraq and supporter of WVS survey in the Middle East Mansoor Moaddell and many others.

Due to its extensive geographical coverage and availability in free access, WVS data is frequently used by social scientists and economists who are studying levels of population happiness and well-being in the world and factors which are affecting them. Coverage of different types of societies — from the richest in the world (Qatar) to the poorest in the world (Burkina Faso) allows analysts to test their theories on the importance of economic well-being, GDP and other economy-related and finances-related factors on population happiness. Extensive time-series allows also to track dynamics of the levels of population happiness and well-being in those countries which participated in 4—6 waves of WVS. Particularly interesting is such dynamics for NIS-countries, first of all Russia — the only NIS country where data is available for all 6 waves which therefore cover the last years of USSR rule, the period of Perestroika as well as the whole period of post-Soviet transitions until nowadays (Fig. 3). WVS data has been used to analyse also such other topics like aspirations for democracy, empowerment of citizens, globalization and converging values, gender values, religion, and many other which can be found at the WWSA web-site.



* General Life Satisfaction Index varies from 0 to 1

Figure 3. Dynamics of life satisfaction in the world

CONCLUSION

Thus, the World Values Survey is the largest academic social survey infrastructure in the world with partner institutions and organisation in 108 countries and societies of the world on all continents. The World Values Survey is in addition of being the biggest social science infrastructure of the world also the oldest academic quantitative survey infrastructure and social science research programme in 6 survey waves with

a duration of 35 years since 1981. The World Values Survey is now in the next phase of an ambitious program of expansion and the strategic goal is to increase the number of covered countries and societies from 108 to around 120 countries of the world. This expansion should be accompanied by a programme of institutional consolidation with the creation of regional hubs or offices of the WVS in a number of world regions. The first regional hubs have already been established in the Region of Middle East and North Africa (2015) and in the Region of Northern Europe (2016). More Regional Hubs are currently being in the process of creation in Southern America and Southern Europe.

Another important strategic goal of the 7th wave of the World Values Survey is the inclusion of new countries or territories like the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Mongolia, Macao or Bolivia on the one hand and a return to countries from previous waves, which have not been represented in recent years, like Canada, Great Britain and Norway, on the other. The 7th wave plans to continue monitoring cultural values, attitudes and beliefs towards gender, family, and religion, attitudes and experience of poverty, education, health, and security, social tolerance and trust, attitudes towards multilateral institutions, cultural differences and similarities between regions and societies. In addition, the WVS-7 questionnaire has been elaborated with the inclusion of such new topics as the issues of justice, moral principles, corruption, accountability and risk, migration, electoral integrity, national security and global governance. The WVS-7 has also been expanded with items and batteries useful for monitoring the Sustainable Development Goals of the UN's post-2015 agenda.

REFERENCES

- [1] Inglehart M. Foreword. Pushing the envelope — analysing the impact of values. Dalton R., Welzel C. (eds.) *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*. Cambridge University Press, 2014.
- [2] Inglehart R. The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. *American Political Science Review*. 1971. Vol. 65.
- [3] Inglehart R. et al. *World Values Surveys and European Values Surveys, 1981—1984, 1990—1993, and 1995—1997*. University of Michigan, Institute for Social Research, ICPSR 2790, 2000.
- [4] Inglehart R. et al. *World Values Surveys and European Values Surveys, 1999—2001*. User Guide and Codebook. University of Michigan, Institute for Social Research, ICPSR 3975, 2004.
- [5] Materials from the Eurobarometer official web-site, 2016. URL: <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion>.
- [6] Materials from the official EVS web-site, 2016. URL: www.europeanvaluesstudy.eu.
- [7] Materials from the WVS-1 questionnaire, 1981. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [8] Materials from the WVS-2 questionnaire, 1990. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [9] Materials from the WVS-3 questionnaire, 1995. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [10] Materials from the WVS-4 questionnaire, 2000. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [11] Materials from the WVS-5 questionnaire, 2005. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [12] Materials from the WVS-6 questionnaire, 2010. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [13] Materials from the WWSA Constitution, 2014.
- [14] Materials from the WWSA official web-site, 2016. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [15] Materials from the WWSA organization brochure WVS 1-5, 2009. URL: www.worldvaluessurvey.org.
- [16] Materials from the WWSA organization brochure WVS 1-6, 2015. URL: www.worldvaluessurvey.org.

КРУПНЕЙШЕЕ МИРОВОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ СНГ

К. Херпфер¹, К. Кизилова²

¹Институт политологии Университета Вены, Австрия

²Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина

Всемирное исследование ценностей — международный проект, призванный оценивать влияние ценностей на стабильность или изменчивость параметров социального, политического и экономического развития стран и обществ. Проект был создан в 1981 г. Рональдом Инглхартом и его командой и за время своего существования вовлек в свою орбиту более ста стран мира, превратившись сегодня в крупнейшее некоммерческое сравнительное (трендовое) эмпирическое исследование верований и ценностей человечества. Статья состоит из нескольких разделов, фокусирующихся на разных аспектах данного международного проекта. В первом разделе авторы описывают методологию и организацию проекта, обеспечивающие его сравнительные возможности на международном и региональном уровне (опрос проводится на основе единого инструментария, с помощью метода личного интервью и на базе схожим образом сконструированных выборок). В следующем разделе статьи представлен краткий обзор истории проекта через перечисление уже реализованных его «волн» (это периоды длительностью от двух до четырех лет, в течение которых в ряде стран собираются данные по единому инструментарию; промежуток между волнами составляет пять лет). Авторы описывают каждую волну, отмечая особенности их организации, позволившие существенно расширить исследование тематически и географически. Далее в статье обозначены ключевые характеристики Всемирного исследования ценностей в странах СНГ, а также некоторые его результаты за период с 1990 по 2014 гг., в частности: высокий уровень неопределенности в ответах населения о своих идеологических предпочтениях; быстрый рост декларируемой религиозности; разрыв между декларируемыми ценностями и реальным социальным поведением и т.д. Заключительный раздел статьи представляет читателям основные результаты международного проекта и ключевые публикации, поскольку его эмпирические данные широко используются для оценки экономического и политического развития, религиозных верований, гендерного равенства, социального капитала, субъективного благополучия и многих других аспектов социального развития и изменения ценностей.

Ключевые слова: Всемирное исследование ценностей; международный исследовательский проект; сравнительное исследование; социальное, политическое и экономическое развитие; международное трендовое эмпирическое исследование; методология и организация проекта; страны СНГ

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВИНЬЕТОК В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

Ж.В. Пузанова, А.Г. Тертышникова**

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В статье рассматривается метод виньеток как проективный метод с перспективой альтернативного использования традиционным методам в массовых опросах. Приводится пример изучения социальных представлений об интеллигентном человеке с помощью этого метода. Раскрывается значение термина «социальные представления» с точки зрения С. Московичи, как социолога, осуществившего его концептуализацию и эмпирическую интерпретацию. Раскрывается и описывается структура социальных представлений, состоящая из «ядра» и «периферии» согласно теории Ж-К. Абрика. В статье также представлен процесс создания виньеток, определение их количества, условия закладываемых в инструмент переменных. Главный акцент делается на описании возможностей обработки данных, полученных методом виньеток с помощью расчета индексов, дискриминантного анализа и логистической регрессии. Приводится обоснование выбора этих методов анализа для обработки данных, полученных методом виньеток. Подробно описывается процедура исследования, процесс создания инструментария, обосновывается выборка. Проводится анализ полученных результатов каждым из методов, их сопоставимость с данными, полученными ранее. Описываются результаты и применимость каждого из способов анализа. Данные дискриминантного анализа и логистической регрессии полностью подтверждают друг друга, что важно для верификации данных, полученных с помощью разных методов анализа.

Ключевые слова: метод виньеток; социальные представления; интеллигентный человек; дискриминантный анализ; логистическая регрессия; дихотомизация; индекс

Метод виньеток — проективный метод, являющийся хорошей альтернативой традиционным методам опроса. Обработка данных, полученных с использованием данного метода, может реализовываться как в рамках качественной стратегии анализа, так и в рамках количественной, что позволяет расширить горизонты использования метода виньеток в социологии.

Виньетки — это краткие рассказы или сценарии, которые описывают гипотетические характеристики и ситуации, на которые респондент должен выразить свою реакцию. Поскольку ситуации являются гипотетическими, то с большей вероятностью возможно обойти «острые углы» и изучать сензитивные темы. Виньетки могут основываться на жизненных ситуациях. Чаще всего виньетки служат для сбора данных о групповых убеждениях, представлениях, ценностях и нормах поведения. Хотя в большей степени такие исследования скорее сфокусированы на выявлении социальных представлений и более глубоком понимании изучаемых проблем [2. С. 45].

Термин «социальные представления» содержится в понятийном аппарате ряда социальных наук. Изучение социальных представлений носит междисциплинарный характер, являясь предметом анализа не только социальной психологии и социологии. В социологии же как в зарубежной, так и в отечественной данной проблематике уделялось и уделяется значительное внимание.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект №НК 15-06-99484\16.

** © Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г., 2016.

Первым, кто осуществил эмпирическую интерпретацию понятия «социальные представления», был французский социальный психолог и социолог С. Московичи [6], который предложил структуру социальных представлений, а также обозначил этапы их формирования. Социальные представления — динамичны. Индивиды сами для себя принимают решение о восприятии той или иной информации согласно своим социальным представлениям. Следует отметить, что реальность формируется на основе представлений, которые выступают в роли индикаторов при ответе на вопрос о реальности происходящего. Здравый смысл и обыденные знания помогают зафиксировать социальные представления.

Согласно теории Ж-К. Абрика [5], структура представления включает в себя центральное ядро и периферическую систему. Центральное ядро связано с коллективной памятью. Ядро социальных представлений малочувствительно к контексту, но от него зависят его элементы, которые могут активизироваться с изменением контекста, на что влияет критичность ситуации и уровень практического освоения объекта. Ядро определяет структуру самого представления и наделяет его смыслом. Периферия же имеет противоречия в своей основе, подвижна, изменчива и чувствительна к контексту, легко адаптируясь к реальности. Периферия защищает ядро от внешних воздействий, а также обеспечивает интеграцию личного опыта каждого члена группы. Структура «ядро-периферия» находится в иерархической взаимозависимости, в которой первостепенным является ядро.

В качестве примера изучения социальных представлений приведем виньетки, составленные для изучения качеств, характеризующих интеллигентного человека. Показатели, закладываемые в виньетку, отбирались на основе информации, полученной ранее при помощи метода неоконченных предложений. «Ядро» образа казалось понятным и очевидным — кратко элементы структуры образа были названы: «интеллектуальность»; «воспитание»; «позитивность»; «культурность»; «нравственность» [4].

Однако есть ряд характеристик, которые остались на периферии образа, но также характерны для описания интеллигентного человека. Чтобы изучить периферию и сконструировать целостный образ, необходимо было выяснить наиболее значимые черты, которые дают возможность назвать человека интеллигентным. Для этого в качестве показателей в рамках составленных виньеток были описаны пять наиболее значимых/весомых характеристик, принимающие альтернативные значения (да/нет): позиция по отношению к власти (оппозиция/поддержка власти); отношение к народу («заигрывание»/«использование», потребительское); патриотические настроения (да/нет); стремление к саморазвитию (да/нет); «сомневающийся» (не навязывает свое мнение другим/навязывает свое мнение).

Далее на основе данных критериев по формуле n^k , где k — число признаков, а n в нашем случае — число комбинаций этих признаков, были составлены 32 виньетки, описывающие все возможные комбинации признаков. Вот одна из них:

«Вы встречаете человека, пообщавшись с которым приходите к выводу, что он обладает следующими характеристиками: он пытается навязывать всем свою точку зрения, но в то же время не стремится к приобретению новых знаний. Ему абсолютно не свойственны активная гражданская позиция, духовное единство с народом

и бережное отношение к родной природе. В отношении политики он поддерживает политику В.В. Путина и партии власти. Могли бы Вы назвать этого человека интеллигентным? 1) Да 2) Нет».

После проведения полевого этапа исследования данные подлежали количественному анализу. В результате чего были выделены показатели и/или комбинации показателей, характеризующие, определяющие интеллигентного человека в представлении людей. Так, в рамках изучения понятия «интеллигентный человек» инструментарий представляет собой 4 опросных листа, в каждом из которых содержалось 8 виньеток, подобранных таким образом, чтобы были представлены виньетки с диаметрально разными значениями признаков.

Был проведен пилотаж инструментария, в котором приняли участие по 15 человек двух возрастных категорий: до 25 лет и 40—55 лет. Такой выбор обосновывается тем, что ставилась задача сравнить представления об интеллигентном человеке у современной молодежи и более старшего поколения. В исследованиях методом неоконченных предложений авторами такого сравнения не проводилось, поскольку вычленились «ядро» и «периферия» образа. «Ядро» стало понятным и доступным, но была выдвинута гипотеза, что в отношении «периферии» возможны расхождения в силу возраста респондентов. Для того чтобы измерить наличие или отсутствие данных отличий, были выбраны две возрастные группы.

В ходе пилотажа возник ряд сложностей, а именно: представления некоторых респондентов об интеллигентном человеке не укладывались в заданные рамки (по имеющимся признакам респондент не мог отнести человека к интеллигентному или нет). Это обуславливалось тем, что для них образ интеллигентного человека сводится к «очкам и шляпе» и не связан с другими характеристиками, т.е. у них не было четкого образа изучаемого феномена (что оказалось неожиданным для исследователей. Оказалось, что представления об интеллигентном человеке, интеллигенции просто утрачиваются, стираются из массового сознания, что само по себе определенный «симптом» времени и общества). В то же время ряд респондентов отмечали, что некоторые из предложенных характеристик не связаны с образом интеллигентного человека. Но в этом и состояла задача данного исследования — выявить устойчивые элементы периферии образа.

Для проведения опроса были отобраны по 400 человек из каждой возрастной группы. Опрос проводился среди студенческой молодежи и респондентов более старшего возраста — представителей различных профессий: учителя, преподаватели, врачи, работники МЧС и т.д. (люди, в большинстве своем имеющие высшее образование). Выборочная совокупность составила 800 человек (400 человек в возрасте до 25 лет и 400 человек — 40—55 лет). На каждый опросный лист ответили по 100 человек. Полученный массив данных представляет собой 3200 наблюдений/ответов в каждой возрастной группе, то есть общее число — 6400 ответов.

В таблице 1 представлена дихотомизация имеющихся признаков по каждой из виньеток. Затем приводится деление по типу реакции (положительная/отрицательная) на каждую из предложенных виньеток в зависимости от возраста респондентов (табл. 2, 3).

Таблица 1

Первичная классификация виньеток по значениям признаков

№ виньетки	Значения признаков				
	Позиция по отношению к власти (опозиция (+) / поддержка власти (-))	Отношение к народу («заигрывание» (+) / «потребительское» (-))	Патриотические установки (да (+) / нет (-))	Стремление к саморазвитию (да (+) / нет (-))	«Сомневающийся, не самоуверенный» (не навязывает свое мнение (+) / навязывает (-))
1	+	+	+	+	-
2	+	+	+	-	+
...
31	+	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-

Таблица 2

Распределение по положительной реакции респондентов на описание в виньетке

№ виньетки	Доля в % для возрастной группы до 25 лет	Доля в % для возрастной группы 40–55 лет
1	71%	65%
2	73%	54%
3	76%	61%
4	43%	47%
5	64%	69%
6	82%	68%
7	14%	18%
8	42%	19%
9	38%	20%
10	53%	35%
11	60%	48%
12	52%	54%
13	28%	28%
14	24%	26%
15	77%	74%
16	66%	66%
17	45%	70%
18	37%	62%
19	43%	59%
20	44%	32%
21	46%	41%
22	21%	22%
23	29%	25%
24	43%	29%
25	55%	37%
26	37%	31%
27	29%	46%
28	18%	33%
29	24%	27%
30	37%	24%
31	31%	13%
32	21%	41%

В таблицах 2 и 3 выделены наиболее «весомые» виньетки, в которых доля положительных или отрицательных реакций превышает 60%, что соответствует методу основного массива.

Распределение по негативной реакции респондентов на описание в виньетке

№ виньетки	Доля в % для возрастной группы до 25 лет	Доля в % для возрастной группы 40—55 лет
1	29%	35%
2	27%	46%
3	24%	38%
4	57%	53%
5	36%	31%
6	18%	32%
7	86%	83%
8	58%	81%
9	62%	80%
10	47%	65%
11	40%	52%
12	48%	46%
13	69%	72%
14	76%	74%
15	23%	26%
16	34%	34%
17	55%	30%
18	63%	37%
19	57%	41%
20	56%	68%
21	54%	59%
22	79%	78%
23	71%	75%
24	58%	71%
25	45%	63%
26	63%	51%
27	71%	54%
28	81%	67%
29	76%	74%
30	63%	76%
31	68%	87%
32	79%	59%

Для перехода к групповым оценкам (табл. 4, 5) на основе одномерных частотных распределений значений каждого признака для отдельной виньетки были подсчитаны значения индексов:

$$I_k = \frac{n_{\text{полож}} - n_{\text{отриц}}}{n_{\text{полож}} + n_{\text{отриц}}},$$

где $n_{\text{полож}}$ — число положительных реакций респондентов на данную виньетку, $n_{\text{отриц}}$ — число определенно отрицательных реакций на виньетку. Полученный индекс изменяется от -1 до 1 : принимает значение 1 , если реакция на виньетку положительная, -1 — если реакция отрицательная, 0 — если число положительных и отрицательных реакций равно (нейтральная позиция).

Значения индексов по каждой из виньеток приведены в табл. 6.

Таблица 4

Распределение по комбинациям в рамках положительной реакции среди респондентов до 25 лет

№ виньетки	Количество положит. реакций	Значения признаков				
		Позиция по отношению к власти (оппозиция (+) / поддержка власти (-))	Отношение к народу («заигрывание» (+) / «потребительское» (-))	Патриот (да (+) / нет (-))	Стремление к саморазвитию (да (+) / нет (-))	«Сомневающийся, не самоуверенный» (не навязывает свое мнение (+) / навязывает (-))
1	71	+	+	+	+	-
2	73	+	+	+	-	+
3	76	-	+	+	+	+
5	64	+	-	+	+	+
6	82	+	+	+	+	+
11	60	+	+	-	-	+
15	77	-	+	-	+	+
16	66	-	-	+	+	+

Таблица 5

Распределение по комбинациям в рамках положительной реакции среди респондентов (40–55 лет)

№ виньетки	Количество положит. реакций	Значения признаков				
		Позиция по отношению к власти (оппозиция (+) / поддержка власти (-))	Отношение к народу («заигрывание» (+) / «потребительское» (-))	Патриот (да (+) / нет (-))	Стремление к саморазвитию (да (+) / нет (-))	«Сомневающийся, не самоуверенный» (не навязывает свое мнение (+) / навязывает (-))
1	65	+	+	+	+	-
3	61	-	+	+	+	+
5	69	+	-	+	+	+
6	68	+	+	+	+	+
15	74	-	+	-	+	+
16	66	-	-	+	+	+
17	70	-	-	-	+	+
18	62	-	-	+	-	+

Таблица 6

Значение индексов по каждой виньетке

Номер виньетки	Значение индекса	
	респонденты до 25 лет	респонденты 40–55 лет
1	0,42	0,3
2	0,46	0,08
3	0,52	0,22
4	-0,14	-0,06
5	0,28	0,38
6	0,64	0,36
7	-0,72	-0,64
8	-0,16	-0,62
9	-0,24	-0,6
10	0,06	-0,3

Номер виньетки	Значение индекса	
	респонденты до 25 лет	респонденты 40—55 лет
11	0,2	-0,04
12	0,04	0,08
13	-0,38	-0,44
14	-0,52	-0,48
15	0,54	0,48
16	0,32	0,32
17	-0,1	0,4
18	-0,26	0,24
19	-0,14	0,18
20	-0,12	-0,36
21	-0,08	-0,18
22	-0,58	-0,56
23	-0,42	-0,5
24	-0,14	-0,42
25	0,1	-0,26
26	-0,26	-0,38
27	-0,42	-0,08
28	-0,64	-0,34
29	-0,52	-0,46
30	-0,26	-0,52
31	-0,38	-0,74
32	-0,58	-0,18

Виньетки с высоким положительным индексом: № 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 16 (для респондентов до 25 лет) и № 1, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18 (для респондентов в возрасте 40—55 лет). В итоге анализа полученных индексов для респондентов в возрасте до 25 лет было установлено, что наибольшее значение индекса — 0,64 — в виньетке № 6. Показатели, заложенные в виньетку, представляют собой исключительно положительный образ во всех отношениях: «оппозиция власти», «заигрывание с народом», «патриотические установки», «стремление к саморазвитию», «сомневающийся». Виньетки № 3, 5, 6, 15, 16 дают устойчивую комбинацию двух признаков: «стремление к саморазвитию» и «сомневающийся». В виньетках № 6 и 11 прослеживается комбинация трех признаков: «сомневающийся», «оппозиция власти» и «заигрывание с народом». Еще одна комбинация имеется в виньетках № 1, 2 и 6 — «оппозиция власти», «заигрывание с народом» и «патриот».

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что для молодежи образ интеллигентного человека сформирован не окончательно, она не имеют четкого и однозначного мнения. Возвращаясь к данным, полученным ранее методом неоконченных предложений [3], нужно отметить, что компоненты, вошедшие в «ядро» образа, соответствуют двум ключевыми показателями периферии, которые были выделены в результате использования метода виньеток: «Интеллектуальность» и «Стремление к саморазвитию», а также «Коммуникабельность» и «Сомневающийся».

Для респондентов в возрасте 40—55 лет распределение получилось несколько иное. Образ является более «взвешенным» и осознанным. Наибольший индекс у виньетки № 15: «заигрывание с народом», «стремление к самосовершенствованию» и «сомневающийся». основополагающей комбинацией (аналогично в случае с молодежью) является «стремление к саморазвитию» и «сомневающийся» (виньетки № 3, 5, 6, 15, 16, 17). К данной комбинации добавляется еще один показатель, формируя образ из трех компонентов: «стремление к саморазвитию», «сомневающийся» и «патриот» (виньетки № 3, 5, 6, 16). А в виньетках № 1, 5, 6 к предыдущей комбинации добавляется еще «оппозиция власти».

Устойчивую периферию образа (аналогично первому случаю) составляют показатели «стремление к саморазвитию» и «сомневающийся», в дополнение к которым появляется «патриот». Отношение к народу «ушло» на «периферию» образа и практически не влияет на определение человека в качестве интеллигентного, являясь наименее показательной переменной.

Для проверки полученных данных с помощью индексов была проведена обработка полученных данных с использованием дискриминантного анализа и логистической регрессии. Применение дискриминантного анализа обуславливается его особенностью: в исследование включается много переменных с целью определения тех из них, которые наилучшим образом разделяют совокупности между собой. В ходе анализа была выполнена процедура дискриминантного анализа. Вывод о значимости переменных делается на основе критериев равенства.

Для группы респондентов в возрасте до 25 лет из пяти исходных факторов 4 оказывают статистически значимое влияние на конечный результат (суждение «интеллигент/неинтеллигент»). Фактор № 1 «Позиция по отношению к власти» не обладает разделяющими (дискриминирующими) особенностями, позволяющими судить об отношении к одной из двух групп (интеллигент — неинтеллигент), и потому был исключен из модели в ходе выполнения процедуры. Итак, влияние позиции по отношению к власти оказалось статистически незначимым на конечный вывод об интеллигентности (табл. 7).

Таблица 7

Критерии равенства групповых средних для возрастной группы до 25 лет

Критерии	Лямбда Уилкса	F	ст.св. 1	ст.св. 2	Знач.
Позиция по отношению к власти	,999	2,232	1	3 198	,135
Отношение к народу	,981	62,379	1	3 198	,000
Патриотизм	,986	45,314	1	3 198	,000
Стремление к саморазвитию	,983	56,739	1	3 198	,000
Сомнение	,972	92,021	1	3 198	,000

Во второй возрастной группе из пяти исходных факторов по-прежнему лишь 4 оказывают статистически значимое влияние на конечный результат (суждение «интеллигент/неинтеллигент») (табл. 8). Но структура дискриминирующих (влияющих на конечный вывод об интеллигентности) переменных в этой возрастной группе уже иная. Теперь фактор № 1 «Позиция по отношению к власти» оказался стати-

стически значимым по своему влиянию на вывод об интеллигентности, а вот ранее значимый фактор № 2 «Отношение к народу» не обладает разделяющими (дискриминирующими) особенностями, позволяющими судить об отношении к одной из двух групп (интеллигент — неинтеллигент), и потому был исключен из модели в ходе выполнения процедуры. Таким образом, во второй возрастной группе влияние отношения к народу оказалось статистически незначимым на конечный вывод об интеллигентности.

Таблица 8

Критерии равенства групповых средних для возрастной группы 40–55 лет

Критерии	Лямбда Уилкса	F	ст.св. 1	ст.св. 2	Знач.
Позиция по отношению к власти	,996	13,394	1	3 198	,000
Отношение к народу	1,000	,415	1	3 198	,519
Патриотизм	,988	38,383	1	3 198	,000
Стремление к саморазвитию	,984	51,064	1	3 198	,000
Сомнение	,958	140,496	1	3 198	,000

Применение логистической регрессии обуславливается ее возможностью предсказания вероятности возникновения некоторого события по значениям множества признаков. В рамках анализа с использованием логистической регрессии для каждой из возрастных групп понадобилось 4 шага, чтобы включить все переменные, оказывающие влияние на зависимую переменную «Интеллигентность/Неинтеллигентность» и удовлетворяющие критерию включения в уравнение. В таблице пошагово видно, как менялась вероятность прогноза по мере усложнения модели, после вовлечения очередной новой переменной (табл. 9, 10).

Таблица 9

Классификации для возрастной группы до 25 лет (а)

Наблюдаемые			Предсказанные		
			Интеллигентность		Процент правильных
			1. Да	2. Нет	
Шаг 1	Интеллигентность	1. Да	846	580	59,3
		2. Нет	754	1 020	57,5
	Общая процентная доля				58,3
Шаг 2	Интеллигентность	1. Да	485	941	34,0
		2. Нет	315	1 459	82,2
	Общая процентная доля				60,8
Шаг 3	Интеллигентность	1. Да	684	742	48,0
		2. Нет	516	1 258	70,9
	Общая процентная доля				60,7
Шаг 4	Интеллигентность	1. Да	636	790	44,6
		2. Нет	364	1 410	79,5
	Общая процентная доля				63,9

а. Значение отсека — ,500.

Таблица 10

Классификации для возрастной группы от 40 до 55 лет (а)

Наблюдаемые			Предсказанные		
			Интеллигентность?		Процент правильных
			1. Да	2. Нет	
Шаг 1	Интеллигентность?	1. Да	834	510	62,1
		2. Нет	766	1 090	58,7
	Общая процентная доля				60,1
Шаг 2	Интеллигентность?	1. Да	481	863	35,8
		2. Нет	319	1 537	82,8
	Общая процентная доля				63,1
Шаг 3	Интеллигентность?	1. Да	679	665	50,5
		2. Нет	521	1 335	71,9
	Общая процентная доля				62,9
Шаг 4	Интеллигентность?	1. Да	498	846	37,1
		2. Нет	302	1 554	83,7
	Общая процентная доля				64,1

а. Значение отсечения — ,500.

Можно также проследить, какие именно переменные вовлекаются в анализ на каждом шаге и формируют модель (табл. 11, 12).

Таблица 11

Переменные в уравнении для возрастной группы до 25 лет

		В	Среднеквадратичная ошибка	Вальд	ст. св.	Знач.	Exp (В)
Шаг 1 ^а	Фактор_5	,680	,072	88,615	1	,000	1,973
	Константа	-,795	,113	49,591	1	,000	,452
Шаг 2 ^б	Фактор_2	,577	,073	62,499	1	,000	1,781
	Фактор_5	,694	,073	90,254	1	,000	2,001
	Константа	-1,677	,161	108,485	1	,000	,187
Шаг 3 ^с	Фактор_2	,588	,074	63,603	1	,000	1,800
	Фактор_4	,562	,074	58,096	1	,000	1,754
	Фактор_5	,707	,074	91,805	1	,000	2,027
	Константа	-2,551	,201	160,579	1	,000	,078
Шаг 4 ^д	Фактор_2	,597	,074	64,518	1	,000	1,817
	Фактор_3	,512	,074	47,485	1	,000	1,668
	Фактор_4	,570	,074	58,937	1	,000	1,769
	Фактор_5	,718	,074	93,090	1	,000	2,050
	Константа	-3,358	,237	200,635	1	,000	,035

Примечания: а. Переменные, введенные на шаге 1: Фактор_5 (Сомневающийся).

б. Переменные, введенные на шаге 2: Фактор_2 (Отношение к народу).

с. Переменные, введенные на шаге 3: Фактор_4 (Стремление к саморазвитию).

д. Переменные, введенные на шаге 4: Фактор_3 (Патриот).

Переменные в уравнении для возрастной группы от 40 до 55 лет

		B	Среднеквадратичная ошибка	Вальд	ст. св.	Знач.	Exp (B)
Шаг 1 ^a	Фактор_5	,845	,073	132,517	1	,000	2,327
	Константа	-,930	,114	67,012	1	,000	,395
Шаг 2 ^b	Фактор_4	,534	,074	52,132	1	,000	1,706
	Фактор_5	,859	,074	134,467	1	,000	2,361
	Константа	-1,747	,163	115,402	1	,000	,174
Шаг 3 ^c	Фактор_3	,471	,074	40,056	1	,000	1,602
	Фактор_4	,541	,074	52,770	1	,000	1,718
	Фактор_5	,870	,075	135,981	1	,000	2,388
	Константа	-2,476	,202	149,904	1	,000	,084
Шаг 4 ^d	Фактор_1	-,282	,075	14,319	1	,000	,754
	Фактор_3	,473	,075	40,231	1	,000	1,605
	Фактор_4	,543	,075	52,999	1	,000	1,722
	Фактор_5	,874	,075	136,523	1	,000	2,397
	Константа	-2,065	,229	81,579	1	,000	,127

Примечания: а. Переменные, введенные на шаге 1: Фактор_5 (Сомневающийся).

б. Переменные, введенные на шаге 2: Фактор_4 (Стремление к саморазвитию).

с. Переменные, введенные на шаге 3: Фактор_3 (Патриот).

д. Переменные, введенные на шаге 4: Фактор_1 (Позиция по отношению к власти).

Таким образом, в модели для возрастной группы до 25 лет присутствуют 4 переменные — те же самые, что и в результате дискриминантного анализа. Фактор 1 «Позиция по отношению к власти» статистически значимо не влияет на вывод о принадлежности к группе интеллигентов. Отметим, что модель, состоящая только из двух переменных, — Фактор 5 (Сомневающийся) и Фактор 2 (Отношение к народу) — дает наиболее точный (82,2%) прогноз принадлежности к группе неинтеллигентов, т.е. на основании этих факторов можно наиболее точно делать вывод о том, что человек не является интеллигентом. В итоговой модели для возрастной группы 40—55 лет присутствуют 4 переменные — те же самые, что и в результате дискриминантного анализа. Фактор 2 «Отношение к народу» статистически значимо не влияет на вывод о принадлежности к группе интеллигентов.

Подводя итог, отметим, что данные дискриминантного анализа и логистической регрессии полностью подтверждают друг друга. Что касается данных, полученных в результате подсчетов индексов, отметим, что для группы до 25 лет показатель «Позиция по отношению к власти» также остался на периферии образа и не имеет значимого влияния. Для возрастной группы 40—55 лет «Позиция по отношению к народу» является статистически незначимым показателем, как и в случае с подсчетом индексов. Однако для данной возрастной группы в результате дискриминантного анализа значимым признаком выделяется «Позиция по отношению к власти», что подчеркивалось и на этапе подсчета индексов. В ходе проведенных подсчетов и различных типов анализа мы пришли к выводу, что данные, полученные методом виньеток, могут быть обработаны различными способами, но результаты будут коррелировать между собой и поддаются верификации. Для

небольшого массива может быть использован подсчет индексов и их интерпретация. Для больших объемов информации лучше применять методы дискриминантного анализа или логистической регрессии, которые позволяют получить точные данные и отследить каждый из факторов, степень его влияния и значимости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Кученкова А.В., Татарова Г.Г. Стратегия применения логико-комбинаторных методов в процедурах типологического анализа // Социология: 4М. 2013. № 36. С. 7—34.
- [2] Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г. Метод виньеток в социологических исследованиях: методологические принципы и методические решения // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. № 4. С. 44—57.
- [3] Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г. Технология обработки данных, полученных методом виньеток, в социологических исследованиях // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20. С. 16—18.
- [4] Тертышникова А.Г. Реконструкция социальных представлений об «интеллигенции» на основе исследования с использованием метода неоконченных предложений // Актуальные вопросы социологической науки: теория, методология, практика. Материалы третьей ежегодной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Под ред. Н.П. Нарбута, Д.Г. Подвойского. М.: Экон-Информ, 2013. С. 231—247.
- [5] Abric J.-C. A structural approach to social representations // *Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions* / Ed. by K. Deaux, G. Philogène. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. P. 42—47.
- [6] Moscovici S. The history and actuality of social representations // *The Psychology of the Social* / Ed. by U. Flick. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 209—247.

ANALYSIS OF VIGNETTE METHOD DATA IN SOCIOLOGICAL RESEARCH

Zh.V. Puzanova, A.G. Tertyshnikova

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The article considers the vignette method as a projective technique that can be an alternative for the traditional methods in mass surveys. The authors present an example of the study of the social representations of an intelligent man with the vignette method: identify the meaning of the concept 'social representations' suggested by S. Moscovici, a scientist who introduced its conceptualization and empirical interpretation; and describe the structure of social representations which consists of a 'core' and a 'periphery' according to the theory of J.-C. Abric. The article shows the process of creating vignettes, choosing their number and conditions for the tool application. The main emphasis is made on the analysis of data obtained through the vignette method by calculating indices, discriminant analysis and logistic regression, and the explanation for the application of these three techniques is given. The authors describe the research procedure, the creation of the tool and the sample; compare the results of each method of analysis. Discriminant analysis and logistic regression data confirm each other, which is an important verification of the results of different methods of analysis.

Key words: vignette method; social representations; an intelligent person; discriminant analysis; logistic regression; dichotomization; index

REFERENCES

- [1] Kuchenkova A.V., Tatarova G.G. Strategija primenenija logiko-kombinatornyh metodov v procedurah tipologicheskogo analiza [Strategy for the use of logical and combinatorial methods in procedures of typological analysis]. *Sociologija*: 4M. 2013. No. 36. Pp. 7—34.
- [2] Puzanova Zh.V., Tertyshnikova A.G. Metod vin'etok v sociologicheskikh issledovanijah: metodologicheskie principy i metodicheskie reshenija [Vignette method in the sociological research: methodological principles and technical decisions]. *Vestnik RUDN. Serija: Sociologija*. 2015. No. 4. Pp. 44—57.
- [3] Puzanova Zh.V., Tertyshnikova A.G. Tehnologija obrabotki dannyh, poluchennyh metodom vin'etok, v sociologicheskikh issledovanijah [The technology of analysis of the data obtained through the vignette method in the sociological research]. *Teorija i praktika obschestvennogo razvitiija*. 2015. No. 20. Pp. 16—18.
- [4] Tertyshnikova A.G. Rekonstrukcija social'nyh predstavlenij ob “intelligencii” na osnove issledovaniija s ispol'zovaniem metoda neokonchennyh predlozhenij [Reconstruction of the social representations of ‘intelligentsia’ on the basis of ‘unfinished sentences’ technique]. *Aktual'nye voprosy sociologicheskoi nauki: teorija, metodologija, praktika. Materialy tret'ej ezhegodnoj nauchnoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh*. Pod red. N.P. Narbuta, D.G. Podvojskogo. M.: Ekon-Inform, 2013. Pp. 231—247.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

THE CAUSES OF ISLAMIC FUNDAMENTALIST VIOLENT MOVEMENTS IN POSTCOLONIAL NIGERIA

A. Kumsa, J. Šubrt*

Charles University, Prague, Czech Republic

Nigeria is one of the first African states to be confronted with the violent Islamist fundamentalist group popularly known as Boko Haram. It declared war on the Nigerian secular state in 2009, and implements a program, if successful, to transform the country into an Islamic theocratic state led by *sharia* (Islamic law), in the country where only half of the population are Muslims. The article starts with clarification of the structure of the Nigerian society from the linguistic perspective, and from the point of view of political cultures of different societies, which were colonized and came under one British colonial rule to 1960. This study analyses the history of Islamist fundamental movements starting from the late 1970s, and focuses on the latest such group — Boko Haram. The authors examine the social, economical, and political causes of the brutal violent conflict in the northeastern Nigeria, which was the heartland of the pre-colonial Kanem Bornu state and the center of Kanuri national culture. Finally, the authors identify social and political causes of the developmental chain of Salafist movements, particularly from 2009 when Boko Haram declared war against the Nigerian state in order to transform it into an Islamic caliphate; thus, there was a catastrophic human rights violation by the Nigerian Army in the name of fighting the Boko Haram terrorists. The authors do not suggest any decisions and do not provide any final conclusions — they admit the uncertainty of the current situation in Nigeria and call for the further research of internal politics tendencies under the new government led by President Buhari, who can either continue to solve the problems of the country by aggressive military means as two previous presidents of Nigeria, or, on the contrary, can prefer peaceful and conciliatory measures.

Key words: conflict; violence; post-colonialism; fundamentalism; military means; religion; government; Nigeria; Boko Haram

THE BACKGROUND OF THE CONTEMPORARY NIGERIAN SOCIETY

Nigeria is the most populous country in Africa with almost 182 million inhabitants (in 2016). Linguistically, Nigeria is a diverse state with around two hundred fifty ethno-national groups, but the four largest national groups make up 62.6% of the population (Hausa — 18.2%, Igbo — 17.9%, Yoruba — 16.6%, and Fulani — 9.9%); if we add five other comparatively small groups (Kanuri — 4.2%, Ibibio-Efik — 2.7%, Tiv —

* © A. Kumsa, J. Šubrt, 2016.

2.2%, Nupe — 1.1%, and Ijaw — 1.1%) the population of the nine largest national groups of the country represents 73.9% [10. P. 35]. A country with vast oil reserves Nigeria is the seventh largest oil producer in the world and of course the largest in Africa daily extracting 2.2 million barrels. Nigeria is a leading economic power of the continent. From the religious point of view, Nigeria is the fourth largest member of the Organization of Islamic Conference (OIC) after Indonesia, Pakistan and Bangladesh, and together with Turkey and Iran has the sixth largest number of Muslims in the world. Only Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, and Egypt have a larger Muslim population [30. P. 3]. Muslim fundamentalist movements were part of the violent conflict in postcolonial Nigeria, and the latest of these movements is Boko Haram, which forms part of the topic of this article from the historical sociological perspective. Nigerian population is approximately equally split between Muslims in the north and Christians in the south; according to some estimates the composition of the Nigerian people is Muslims 50%, Christians 40%, and Indigenous 10%; consequently, ethno-linguistic and religious diversity make Nigeria one of the most complex countries in the world.

The name 'Nigeria', like many other state names in post-colonial Africa, was invented by colonial powers [6. P. 44; 24. P. 9]. Almost all African territories were colonized by western European states; Britain colonized this part of Africa in 1900 and Nigeria was a British colony from 1900 to 1960. The map of the contemporary state known as Nigeria was created in 1900 amalgamating both northern and southern British territories in one entity [29. P. 2]. Islam reached this part of the continent through traders from the east Africa in the late eleventh century [12. P. 29]. The first king of Kanem to accept the new religion was Humai ibn Salamna, who ruled the kingdom from 1068 to 1080. Islam gradually spread to the west into the Hausa states, which also received Islamic influences from their western neighbours, beginning from the fourteenth century from the kingdoms of Mali and Songhay, as well as through the pastoralist Fulani, who moved into the region from the west in the fifteenth century. The new religion first penetrated the region through the acceptance of various kings' courts, but coexisted with African indigenous religion for many centuries. The Muslims were only small minority groups in non-Muslim states by 1800 [40. P. 3].

Nigeria as one territory was governed by the British colonial government only from 1914 to 1960, for just forty-six years. Post-colonial Nigeria faced various types of internal violent conflicts and military dictatorship for long periods; in this article, we concentrate on violent religious conflicts between the Nigerian state and Islamic sectarian groups in northern Nigeria and analyze in detail the latest Islamic Jihadist movement, which calls itself "Jama'atu Ahlus-Sunnah lidda'Awati Wal Jihad" meaning "People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and Jihad", but which is popularly known as Boko Haram. 'Boko' in Hausa language means "Western education" or "Western influence" and 'haram' in Arabic means "sinful" or "forbidden".

Nigeria is the country of 923,768 sq. km territory. Northern Nigeria covers a large mass of land, about 469,000 sq. km, 51% of the Nigerian land mass, and account for 38% of country's population. The region is located mainly in the Sahelian belt, and is mostly arid with a low population density of 113 inhabitants per sq. km². Nigeria is home

to three out of four African language families. The northern part of the country is inhabited mainly by the Hausa nation, which belongs to Chadic sub-group of Afro-Asian language family. The northeastern region of the country belongs to the Kanuri people, who speak the Saharan sub-group of Nilo-Saharan language family. The vast central and southern region of Nigeria is home to many groups of the Niger-Congo language family. The Yoruba nation in the western and the Igbo people in the eastern regions are the most populous of the last-mentioned language family [14; 15].

The fundamental problem of contemporary Nigeria was embedded in the formation of the federal system during the process of independence achievement. Under the decolonisation negotiations the British Colonial Government refused to accept the demand of the Yoruba people for their own independent state and surrendered them and other peoples to the domination of northern Nigerian traditional authoritarian Muslim rulers led by Fulani families, forming the Federal state in 1960 from three regions (Northern, South-Western and Eastern), in which Northern Nigeria would have more than half of the Federal Parliament members [29. P. 6]. The northern political elite (military and civilian) practically dominated the political landscape of Nigeria until the death of President Yar'adua (who was also from aristocratic Fulani family) in 2010, when vice president and southerner, Goodluck Jonathan, became the President. One may ask how the former president Olusegun Obasanjo, a Yoruba man from Southwest Nigeria, had ruled from 1999 to 2007. His critics assert that he was nominated not by his nation's party but by the northern party, because he was a former military head of the state (1976—1979), and the majority of Nigerian military officers are from the north. Thus (it is said) they nominated and elected him to save themselves from political problems during his presidency.

By contrast, the process of Islamization by the northern elite throughout Nigerian independence alarmed the non-Muslim minorities of the north and Christian migrants from the south. This expansion of Islam affected the relationship between the Muslim and Christian communities. The fear of Islamic hegemony was one of the reasons for the first military coup against the northern-dominated federal government in January 1966. This coup was led by Christian Igbo officers from the south-eastern region, and many northern political and military leaders were killed, including Ahmadu Bello. Immediately the remaining northern elite reorganized themselves and counter attacked, taking political power back into their hands in a July 1966 military counter-coup. The January military coup had a devastating effect on Igbo people living and working in the northern region of the country. A spate of massacres, many conducted by northern soldiers, took the lives of 80,000 to 100,000 easterners during this period, the worst occurring in September 1966 [11. P. 174; 17. P. 20—21].

The Eastern Regional Government tried to negotiate with the federal military government to restructure the federal system of Nigeria, but when the central government refused their demand the Eastern Province declared its independence from Nigeria and established the Biafra Republic. The Federal Military Government, controlled by northerners, declared war against the Biafra state, which lasted from 1967 to 1970, a two-and-half-year war “that rent the country along regional and ethnic lines, and killed between one and three million people, and nearly destroyed the fragile

federal bonds that held together the Nigerian state” [11. P. 158]. The war ended with the defeat of Biafra due to the starvation caused by the Federal Army seaport blockade. Anthony Smith illustrated the problem of the Biafra and Kurdistan national movements as follows: “unlike Greece and Bangladesh movements like Biafra or Kurdistan have so far failed to gain independence not so much for lack of unity or leadership, but mainly because they have failed to find superpower sponsors willing to protect their cause” [17].

The military government led by northerners defeated the Biafra Republic in 1970. They controlled the military and political power of the country and its economic power through the state-owned petroleum wealth, which brings the lion’s share of national income to the state treasury. One of the military dictators, General Babangida, gravitated Nigeria to the International Islamic organizations. Babangida, a military dictator of Nigeria in 1985—1993, was a leading figure in the drift of the Nigerian politics into the open conflict between Muslim North and Christian South and the longest military ruler after Gowon in Nigerian history. General Babangida brought into public the Islamization project, which had been simmering for a long time when, following secret communication with the Organization of Islamic Conference (OIC) in 1985, he sent a delegation of high officials of the military government to the OIC Morocco January 6—10 1986. Nigeria became a full member of the OIC in 1986, and this move instigated prolonged Muslim-Christian tensions and the rhetoric of inter-religious warfare. The state-led Islamization of Nigeria intensified between 1999 and 2002, when twelve Northern states imposed Shari’a law. Although this was unconstitutional according to the Nigerian Federal Constitution, the Government of President Olusegun Obasanjo did not act against this group of states to respect the Federal Republic of Nigeria’s Constitution [7. P. 6—7].

BOKO HARAM ORIGIN AND DEVELOPMENT

There had been many sectarian Islamic movements before the establishment of Boko Haram, among them Jamaat Izalat al-bida wa Iamat al-Sunnah (“Society for the Eradication of Evil Innovations and Re-establishment of Sunna”), which was founded in 1978 and is known as the Izala movement officially registered in 1985 (opposes the Sufi tradition, which it considered a ‘bida’ (innovation) practised by the Sufi brotherhood) [23. P. 14], the Izala movement primarily attacked Sufi Muslim groups, accusing them of innovation and apostasy. It fought against innovations such as the Sufi genuflection in greeting elders, the keeping of concubines by traditional leaders, the celebration of the prophet’s birthday, the recital of praise songs to the prophet, a range of local customs and traditions, the submission of the faithful to the authority of Sufi Sheikhs, the visiting of the graves and tombs of dead scholars, and the promotion of women’s rights [3. P. 15]. Izala and other Islamic reformist groups in the north shared the broadly common stated goals of promoting a purist version of Islam based on Shari’a, eradicating heretical innovations, and, in many cases, establishing an Islamic state in the north. Among the Islamic organizations which joined Izala was the Muslim Students Society of Nigeria (the MSS, based in universities, established in 1954

to protect interests of Muslim students attending Christian missionary schools; its aim and membership have expanded significantly over the years), which is widely regarded as a platform for young radical preachers, and the Islamic Movement of Nigeria.

As Izala was established, another more radical Islamic movement emerged, nicknamed “Maitatsine” (meaning “the one who curses” in Hausa language), led by Mohammed Marwa, a young preacher from northern Cameroon. Marwa and his followers refused to accept the legitimacy of the secular state. His popularity increased and his followers’ ranks were swelled by unemployed urban youths, as relations with the state authorities deteriorated. Violent conflict between Maitatsine and the police broke out in December 1980, at an open air rally in Kano city in which many hundreds of people including Marwa died, and it spread to other states. The movement was suppressed by the state but pockets of violence continued for several years [11. P. 208].

The latest wave of the Islamic Jihadist movement, which wants to change Nigeria from a secular to an Islamic state under Shari’a is Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad known as Boko Haram, which first appeared in 2002 [27. P. 2]; however, many authors trace its roots back to 1995 [1. P. 98]. Boko Haram’s first known leader was Abubakar Lawan, but when he left to study at the University of Medina, Mohammed Yusuf became leader of the movement. Yusuf was a charismatic and popular *Malam* (Quranic scholar) who spoke widely throughout the north. His interpretation of the Quran led him to oppose Western education, particularly the basic theories of natural science, which according to his view contradict the holy book: “evolution, the big bang theory of the universe’s development and elements of chemistry and geography should be forbidden” [8. P. 7]. Mohammed Yusuf was a member of the Borno state Shari’a Implementation Committee under Governor Mallah Kachallah (1999—2003), but he was not satisfied with the official implementation of Shari’a and called for an authentic Islamic revolution: this is one reason, apparently, why the group became a violent movement.

Before we discuss the particular economic, social and political situation in North-Eastern Nigeria first let us cite Falola’s description of the civil and military governments of his country: “Three different regimes, two military and one civilian, oversaw the growth of the oil economy in the period between 1970 and 1983, but all three mismanaged government funds and contributed to the development of a kleptocracy that continues to plague Nigeria today. While a small class of politicians and entrepreneurs has become exceedingly wealthy via the oil economy, the majority of Nigerians remain mired in perpetual poverty” [11. P. 181]. Nigeria is a very rich country in terms of natural resources, industrious human resources, water resources and fertile soil. Nigeria has become a ‘king’ of petroleum: oil and gas exports account for more than 98% of export earnings and about 83% of federal government revenues and also provide 95% of foreign exchange and about 65% of government budgetary revenues. Nigerian oil reserves are estimated at between 22 and 35.3 billion barrels. Its reserves make Nigeria the tenth most petroleum rich state, and the most affluent in Africa. Nigeria’s crude oil production averages more than 2.2 million barrels a day.

The problems of Nigerian (military and civil) government are not limited to mentioned above; the chronic one is the corruption of state officials, in the hierarchy of

state administration. One Nigerian scientist characterized his country's leadership in the following words: "Unfortunately, the political class saddled with the responsibility of directing the affairs of the country have been the major culprit... Regrettably, since independence a notable surviving legacy of the successive political leaderships, both civilian and military, that have managed the affairs of the country at different times, has been the institutionalization of corruption in all agencies of the public service, which, like a deadly virus, has subsequently spread to the private sector of the country" [25. P. 3]. This institutionalised corruption in state structures suffered by the population of Nigeria is one of the main causes of country's problems.

The civilian and military governments were no different on the question of exploiting state properties for private gains. The Second Republic came into existence after a long period of military governments (1966—1979) with the election of President Shehu Shagari (from former Sokoto caliphate Fulani aristocratic family with the title of *Turakin Sakwato*), but he was not interested in stopping the looting of state properties by elected government officials. "It was estimated that over \$16 billion in oil revenues were lost between 1979 and 1983 during the regime of President Shehu Shagari. It became quite common for federal buildings to mysteriously go up in flames, most especially just before the onset of audits of government accounts, making it impossible to discover written evidence of embezzlement and fraud" [9. P. 27]. President Shehu Shagari was incapable of stopping his officials from embezzling state monies, and finally in 1983 he was removed from the state power by another group of military men led by General Muhammadu Buhari, delivering the economy from the grip of the corrupt politicians of the Second Republic. The aim of this military coup was to halt corruption and restore discipline, to foster integrity and dignity in public life. The Military Government of Muhammadu Buhari promised to bring corrupt officials and their agents to the court of law. To fulfill its commitment, it arrested and brought the government state governors and commissioners to face tribunal inquiries.

The uprooting of corruption in Nigeria faces many enemies; the General Buhari government was toppled by General Ibrahim Babangida in a bloodless palace coup on 27th August 1985, and he became the longest-serving military ruler after Gowon. His government did not attempt to stop corruption; on the contrary, corruption reached an alarming level and became institutionalized during his rule. Government officials found guilty under anti-corruption military leaders (Generals Mohammed Murtala and Buhari) found their way again to government positions and recovered their seized properties. As one observer pointed out: "Not only did the regime encourage corruption by pardoning corrupt officials convicted by his predecessors and returning their seized properties, the regime officially sanctioned corruption in the country and made it difficult to apply the only potent measures, long prison terms and seizure of ill-gotten wealth, for fighting corruption in Nigeria in the future" [13. P. 5]. General Babangida was forced out of power by intense public opposition to his rule, handing over state power to a non-elected military-civilian Interim National government on 26th August 1993. This group, however, was soon removed from power by the worst military dictator and the head of kleptocracy, General Sani Abacha on 17th November 1993. General Sani Abacha further deepened the corrupt practices which had become institutionalized during General Babangida's rule, and under his leadership he and his family, along

with his associates, looted Nigeria's coffers with reckless abandon. As one author comments: "The extent of Abacha's venality seems to have surpassed that of other notorious African rulers, such as Mobutu Sese Seko of Zaire. It is estimated that the embezzlement of public funds and the corrupt proceeds of General Abacha and his family amounted to USD 4 billion" [9].

General Sani Abacha ruled Nigeria from 1993 to 1998, ruined the economy of the country, and is said to have died of a heart attack. He was replaced by General Abdulsalami Abubakar, who within a year handed power over to a democratically elected civilian government led by President Olusegun Obasanjo, former military ruler of Nigeria (1976—1979). The period between the Second and Third Republics was an era when corruption was practically institutionalized as the foundation and essence of governance. The Third Republic was not able to free itself from corruption and mismanagement. According to Transparency International report of 2013 [20], Nigeria is consistently ranked as one of the most corrupt countries. Former World Bank Vice President for Africa Obiageli Ezekwesili reported that Nigeria has lost more than \$400 billion to large scale-corruption since independence in 1960 [22]. This money was stolen from government coffers instead of building the country's economy for the betterment of the people of Nigeria.

The political elite of the country are from different national groups, political and religious communities; when they agree on how to share the spoils all is well, but when they disagree, they politicize, manipulate and instrumentalize ethno-religious and regional differences. With the failure of governance and development, an ever increasing number of ethnic militias, separatist groups and millenarian religious movements are being mobilized, both for self-defense and for pressing ideological and practical goals [8. P. 1]. Bad governance, continuing economic deterioration, rising inequality and social insecurity are fertile ground for radical extremist groups. The origin of Boko Haram can be seen from this background of the social-political problems of North-Eastern Nigeria. To point out some empirical facts about the economic situation in North-Eastern Nigeria: the breeding ground of Boko Haram is Borno state in the North East, which has the highest poverty rate (86.4%), whereas Niger state in North Central has the lowest (43%). The North East, Boko Haram's main operational field, has the worst poverty rate in the whole country. The people are living in grinding poverty, while Nigerian legislators are among the world's best paid parliamentarian: a Nigerian legislator earns about \$189,000 per year.

The Nigerian state failed to fulfill its basic responsibility, particularly in the North, where key human development sectors — education, health, the judiciary as well as the security agencies — are underfunded or underperforming. In the north of the country, millions of *Almajiri* (Qur'anic) students are sent to Quranic schools far from their families and have to beg for alms or work as domestic help to pay for their upkeep. Rapid urbanization and increasing poverty may lead to the abuse of this practice and foster criminality. In northern cities like Kano and Kaduna many *Almajiri* have graduated into *Yandaba*, adolescent groups that once socialized teenagers into adulthood but have in many cases become gangs. "In 2005, the National Council for the Welfare of the Destitute estimated there were 7 million *Almajiri* children in northern Nigeria,

mostly in the far northern states” [8. P. 4]. The way in which the Nigerian state has robbed the future of its young generations is indicated by Education Minister Ruqayyatu Ahmed Rufai’s statement that “Nigeria had an estimated 10.5 million out-of-school children in 2012, 3.6 million in 2000 and 42% of the primary school-age population” [8. P. 4]

The health system of Nigeria is also in bad condition: in 2013 the Mo Ibrahim Governance Index ranked Nigeria’s health-care system 40th of 53 African states. Senior government officials were not interested in developing the health system for their people because they have power and money from tax payers to go overseas for their treatment. For this privileged ruling elite Nigeria spends \$200 to \$500 million annually on foreign medical care. Alienation from the economic privileges and the hopelessness of periphery groups has manifested itself at different times and in different areas of the country. Some groups have organized themselves on ethno-national and religious identities as their unifying ideology.

VIOLENT CONFLICTS BETWEEN THE NIGERIAN ARMED FORCES AND BOKO HARAM

The aim of Boko Haram is to create an Islamic state in Nigeria that it believes would address the ills of society including corruption and bad governance. Abu Qaqa, the group’s spokesman, explained the plan as follows: “Our objective is to place Nigeria in a difficult position and even destabilize it and replace it with sharia”. He went on to say that the group’s agenda is “to take Nigeria back to the pre-colonial period when the Shari’a law was practised.” “Yusuf (the late leader of the organization) was always political, wanting an Islamic government, but not violent” [37. P. 5], so what turned this group into a brutal and violent organization, which butchers Muslims and non-Muslim people? The brutality of Nigerian law-enforcement authorities was among the main causes of the radicalization of Boko Haram which counter-attacked the state because security forces killed the movement’s leader Mohammad Yusuf. As Ola Bello argues: “First, the response of Nigerian law-enforcement authorities to Boko Haram’s activities has been heavy-handed; the 2009 military crackdown in which the group’s spiritual leader, a charismatic preacher, Muhammed Yusuf, and his followers were brutally confronted by the police and army Joint Task Forces (JTF), marked a watershed in a group’s already escalating violence. Initially detained, then extra-judicially executed in police custody, Yusuf’s demise fueled local sympathy towards his sect. Other extreme tactics in pursuit of Boko Haram have also alienated segments of Nigeria’s northern elite” [4. P. 2].

The reorganized Boko Haram took as its mission the fight against the “unjust” secular state, and they could rally behind the brazen execution of their leader. For example, in September 2010 a Boko Haram member told the BBC’s Hausa radio service that “we are on a revenge mission, as most of our members were killed by the police” [28]. Boko Haram declares: “Our war is with the government that is fighting Islam, with the Christian Association of Nigeria (CAN) that are killing Muslims,... and those who helped to fight us even if they are Muslims. Anyone who is instrumental to the arrest

of our members is assured that their own is coming” [36. P. 10]. Since July 2009, the jihadist movement has claimed responsibility for many actions taken in its name, such as the killing of Muslims, Christian clerics and worshippers, politicians, journalists, and lawyers, as well as police and soldiers. The jihadist movement has also reached the capital city — Abuja — bombing the United Nations building and National police headquarters and claiming responsibility for these actions. The group has expanded its targets to other institutions, such as churches, school buildings, newspaper offices and prisons, freeing hundreds of its member prisoners.

Most of the people said to have been killed by Boko Haram were members of security forces (soldiers, police, and SSS (State Security Service), local government officials, clerics and Islamic scholars, lawyers, journalists and traders, as well as unarmed civil defence and immigration officials [36. P. 11]. The killings have taken place wherever their targets were found: in market places, in the street, in people’s homes and outside mosques, by guns or explosives wielded by perpetrators escaping on motorbikes or tricycles. They have claimed responsibility for gun and bomb attack on churches, shopping centers and bars. Boko Haram has also targeted individuals, because “they were said to have given information to the security forces about Boko Haram members, or assisted in the arrest of members. Boko Haram has itself used warnings to people against passing information to the security forces” [36. P. 11].

Boko Haram declared that one of its enemies is the Christian Association of Nigeria (CAN), it has targeted the spiritual meetings centers of Christians. According to numerous reports published in 2012, more than 20 churches had been attacked and over 200 people killed in the attacks on churches across central and northern Nigeria since 2010. Boko Haram has claimed responsibility for many such attacks and has on numerous occasions explicitly stated its intention to target Christians. Boko Haram also uses suicide bombers to target churches, for example on 10 June 2012 they used a suicide bomber to drive a car into a church in Jos (capital of Plateau State). Boko Haram took responsibility for this action by a statement sent to journalists: “We are responsible for the suicide attack on a church in Jos... The Nigerian state and Christians are our enemies and we will be launching attacks on the Nigerian state and its security apparatus, as well as churches, until we achieve our goal of establishing an Islamic state in place of the secular state” [36. P. 12].

In terms of religion, Nigeria is divided into three main regions. The southern part of the country is dominated by a population of Christian faith and the northern part of the country’s population are Islam believers, while between lies a ‘middle belt’ in which various violent conflicts have taken place. These fall into two categories: first, there have been attacks by Muslims to influence the population of the region and expand their religion, and there have also been counter-attacks by Christians; secondly, there is conflict between different ‘ethnic’ communities, which in Nigeria were categorized as autochthony, or ‘indigenes’ and ‘non-indigenes’ or ‘strangers’ [19. P. 47—48]: since 1999, over 10,000 people have been killed in inter-communal violence in the north and middle belt. In the central part of Nigeria in Plateau state, the sight of some of the most protracted communal and sectarian violence, there have been significant incidents of violence in 1994, 2001, 2004, 2008, 2010, and 2011, resulting in the deaths of more

than 2,000 people. The United States Commission on International Religious Freedom in its 2012 report summarizes the violence acts between Muslims and Christians: “Since 1999, more than 14,000 Nigerians have been killed in religious related violence between Muslim and Christians” [38. P. 107]. The same Commission, according to its annual report of 2015, says that the violent conflict between Christians and Muslims in the country, particularly in the Middle Belt states, has resulted (1999—2015) in more than 18,000 people being killed, hundreds of thousands displaced, and thousands of churches, mosques, business, homes and structures damaged or destroyed.

On 14 April 2014, Boko Haram attracted the International Community’s attention when it abducted a total of 276 school girls from Government Secondary School in Chibok, a rural town in Borno state. Of these 57 have escaped, while 219 are unaccounted for. The Chibok Secondary School girls were nearly all Christian, according to Christian leaders in the area. Boko Haram leader Abubakar Shekau declared that the young women and girls from Christian homes would be sold as slaves in the market. On a video obtained by AFP news agency, Abubakar said that “the girls should not have been in the school in the first place, but rather should get married... God instructed me to sell them, they are his properties and I will carry out his instructions” [26]. The worldwide campaign to free these students, in which the US President’s wife Michelle Obama participated, took the slogan “It’s time to bring back our girls” and increased the awareness of the World community about the brutal Jihadist movement. Boko Haram’s victims were believed to be held in the large Sambisa Forest reserve and around the Gwoza hills in northeast Nigeria on the border between Nigeria, Cameroon and Chad. The horrific suffering of these women and girls was narrated by some who escaped from Boko Haram captivity, describing how “for refusing to convert to Islam, they and many others... were subjected to physical and psychological abuse, forced labor, forced participation in military operation, including carrying ammunition or luring men into ambush; forced marriage to their captors, and sexual abuse, including rape” [37. P. 1].

Boko Haram uses many methods of terrorizing such victims to convert from Christianity to Islam. These include placing a noose around their necks and threatening them with death until they renounce their religion; others are repeatedly threatened with whipping, beating, or death unless they convert to Islam, stop attending schools, and comply with Islamic dressing rules, such as wearing veils or the hijab. Boko Haram, according to a video released by its leaders in 2013, suggested three key motives for the initial abductions: 1) to retaliate against the government for its alleged detention for family members, including the wives of the group’s leaders; 2) to punish students for attending Western schools and forcefully convert Christian women and girls to Islam; 3) for tactical reasons, such as to lure security forces into an ambush, force payments of ransom, or for prisoner exchange [37. P. 3—4].

Other researchers revealed that collective punishment was started by the Nigerian Government, and that “security forces’ actions often increased the death toll. Security forces are accused of excessive use of force, committing extra-judicial killings, mistreating detainees in custody, arbitrary arrests, and using collective punishment” [2. P. 103], which supports the claim of Boko Haram’s leaders that the government has impris-

oned many of their family members. According to one study, in 2012 Abubakar Shekau cited the arrest of wives and children of Boko Haram members as one reason for Boko Haram's specific violence against Christian women and children, and this was likely a personal issue for him: "more than 100 women and children detained by security forces in 2012 included Shekau's wife, the wife of the commander in Kano, the wife of the commander in Sokoto who gave birth while in prison, and the wife of the suicide vehicle bomber who attacked the *ThisDay* [Nigerian newspaper] media house in Abuja" [3. P. 18].

The aim of Boko Haram is to expand its ideology by cruel force, particularly targeting the weakest groups of the society, specifically Christian women and children. According to the research published in 2013 [3] Christian women and children suffered from different kinds of gender-based violence in six states of Northern Nigeria. The main forms of violence perpetuated against this group were: first, kidnapping and forced marriages, with compulsory conversion to Islam; second, domestic violence, in the case of a Christian convert, to punish un-Islamic practices like Christian prayers, Bible readings, attending Bible study groups or church activities. Third, there is also some evidence of rape as mean to deflower (deprive of virginity) Christian girls and force them to marry Muslim old men. Fourth, Christian girls are physically abused in some places for not covering their heads, abuse which includes beatings, rape or even having acid thrown in their unveiled faces, which is becoming a common form of assault. The oppression of women is many-sided, for instance, to weaken them economically: Christian women's shops and business premises have been burnt, a practice based on the Islamic principle that the role of the woman is at home. Additionally there is the marginalization or exploitation of women who are either widowed or left on their own because of their husbands' imprisonment, disappearance or death [3. P. 18].

The activities of Boko Haram are not limited to Nigeria; on February 19, 2012 it kidnapped a seven-member French family, who were working for the French GDF Suez gas firm in Cameroon, transferred them to Borno (Nigeria) and issued two proof-of-life videos showing the family. In the second video, a Boko Haram leader, Shekau said: "We are holding them hostage, because the leaders of Cameroon and Nigeria detained our women and children under inhuman conditions". The abducted French citizens were freed, after one year at a village in Borno state near the Cameroon border, in return for a \$3 million ransom and the release of 16 members of Boko Haram from a Cameroon prison [5].

The magnitude of the Boko Haram horror against identified groups, specially targeting Christian women and children, has been studied and published in Abuja by three authors in six Northeastern Nigerian states (Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba and Yobe). This identifies what is commonly called Gender-Based Violence (GBV), such as the killing of Christian women and children, the rape of Christian women and children, the destruction of the properties belonging to Christian women and the abduction of women and children [3. P. 26].

The main question is how to solve the devastating violent conflict between Boko Haram and the Nigerian state? As many researchers show, and Wole Soyinka, the Nigerian poet and political activist, the first African Nobel Laureate in literature in 1986,

in his interview with Al Jazeera, discussed in detail, the finger of blame points to the northern Nigerian political elite who conceived Boko Haram as foot soldiers to discredit the ruling elite, but now the Jihadists are out of their control and they ask the government to defeat them [35].

We are waiting to see what model of conflict resolution the new government will use under the new President Muhammadu Buhari, a Muslim by creed and a former strong military ruler from the opposition party, who was elected from Northern Nigeria and assumed the presidency on 29 May 2015. However, further research is needed on the ongoing war between Boko Haram and the new government of Nigeria led by President Buhari. Time will tell if the tendency of the two previous presidents to solve the internal problems by aggressive military means continues, or if attempts will be made to solve it in a peaceful and conciliatory manner, through addressing the grievances of the people, particularly in the North East. The new government must ask itself, who benefits from the violent conflict and how Boko Haram managed to spiral up from a small Islamic sect in Maiduguri to one of the most brutal radical movements in the world in 2015.

REFERENCES

- [1] Abimbola Adesoji. The Boko Haram uprising and Islamic revivalism in Nigeria. *Africa Spectrum*. 2010. Vol. 45. No. 2.
- [2] Asuelime Lucky E., Ojochenemi D.J. *Boko Haram: The Socio-Economic Drivers*. New York: Springer, 2015.
- [3] Barkindo A., Gudaku B.T., Wesley C.K. 'Our Bodies, their battleground. Boko Haram and Gender-Based Violence Against Christian Women and Children in North-Eastern Nigeria since 1999. Nigeria's Political Violence Research Network (NPVRN) Working Paper. No.1. Netherlands: Open Doors International, 2013.
- [4] Bello Ola. Nigeria's Boko Haram threat: How the EU should act. FRIDE — A European Think Tank for Global Action. A Policy Brief. 2012. No. 123.
- [5] Bremmer C. 2013. Kidnapped French family freed by Boko Haram in Cameroon. *The Times Africa*. 2013. April 19.
- [6] Coleman J.S. *Nigeria: Background to Nationalism*. Berkeley and Los Angeles: University of California, 1958.
- [7] Cook D. Boko Haram: Prognosis. 2011. URL: <http://bakerinstitute.org/files/735>.
- [8] *Curbing Violence in Nigeria (III): The Boko Haram Insurgency*. African Report. No. 216. Belgium: Brussels, 2014.
- [9] Dash L. Mysterious Fires Plague Nigerian Investigation. *Washington Post*. 27 February 1983.
- [10] Diamond L. Nigeria: Pluralism, statism, and the struggle for democracy. Diamond L., Linz J.J., Lipset M.S. (eds.). *Democracy in Developing Countries*. Vol. II: Africa. Colorado, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1988.
- [11] Falola T. *Violence in Nigeria: The Crisis of Religious Politics and Secular Ideologies*. New York & London: Rochester University Press, 1998.
- [12] Falola T., Heathon M. *A History of Nigeria*. Cambridge: Cambridge University, 2008.
- [13] Gboyega A. *Corruption and Democratization in Nigeria*. Ibadan: Agba Areo Publishers, 1996.

- [14] Greenberg J.H. Linguistic classification. Ki-Zerbo J. (ed.). General History of Africa. Vol. I: Methodology and African prehistory. Paris: UNESCO, Heinemann, 1981.
- [15] Heine B., Nurse D. (eds.). African Languages: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [16] Kane O. Muslim Modernity in Postcolonial Nigeria: A Study of the Society for the Removal of Innovation and Reinstatement of Tradition. Leiden and Boston: BRILL, 2003.
- [17] Kumsa A. Experience of Nigerian federalism'. Oromo Commentary: Bulletin for Critical analysis of current Affairs in the Horn of Africa. 1999. Vol. IX.
- [18] Maier K. The House has fallen: Nigeria in Crisis. Colorado, Boulder: Westview Press, 2002.
- [19] Mustapha A.R. Identity boundaries, ethnicity and national integration in Nigeria. Nnoli O. (ed.). Ethnic Cconflicts in Africa. Dakar, Senegal: CODESRIA, 1998.
- [20] Nigeria ranked 144th of 177 countries. URL: <http://www.transparency.org/gcb2013/report>.
- [21] Nigeria: Trapped in cycle of violence. London: Amnesty International, 2012.
- [22] Nnochiri Ikechukwu. Nigeria loses \$400bn to oil thieves-Ezekwesili. Vanguard, 28 August 2012.
- [23] Northern Nigeria: Background to conflict. Africa Report No. 168. Belgium: Brussels, 2010.
- [24] Nwankwo A.A., Ifejika S.U. The Making of a Nation: Biafra. London: C. Hurst & Company, 1969.
- [25] Ogbeidi M.M. Political leadership and corruption in Nigeria since 1960: A socio-economic analyses. Journal of Nigerian Studies. 2012. Vol. 1. No. 2.
- [26] Oladipo Tomi. Boko Haram, 'to sell' Nigeria girls abducted from Chibok. May 5, 2014. URL: <http://www.bbc.com/news/world-africa-27281315>.
- [27] Olojo Akinola. Nigeria's trouble north: Interrogating the drivers of public support for Boko Haram. International Centre for Counter-Terrorism. The Hague ICCT, 2013.
- [28] Olugbode M. Boko Haram claims killings in Borno. This Day (Lagos). September 22, 2010.
- [29] Osaghae Eghosa E. Crippled Giant: Nigeria since Independence. Bloomington and Indiana polis. Indiana University Press, 1998.
- [30] Paden J.N. Faith and Politics in Nigeria: Nigeria as a Pivotal State in Muslim World. Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2008.
- [31] Paden J.N. Muslim Civil Cultures and Conflict Resolution: The Challenge of Democratic Federalism in Nigeria. Washington, D.C. Brookings Institution Press, 2005.
- [32] San Abacha of Nigeria. 2011. URL: https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publications/dfid_brochure_final_version_for_print.pdf.
- [33] Smaldone J.P. Warfare in the Sokoto Caliphate: Historical and Sociological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- [34] Smith M. Boko Haram: Inside Nigeria's Unholy War. London: I.B. Tauris & Co Ltd. Transparency International, 2013.
- [35] Soyinka W. Talk to Aljazeera: Islam is not in danger. 2014. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=e--njgcStNc>.
- [36] Spiralling violence: Boko Haram attacks and security force abuses in Nigeria'. New York: Human Right Watch, 2012.
- [37] Those Terrible weeks in their camp: Boko Haram violence against Women and girls in Northeast Nigeria'. New York: Human Right Watch, 2014.
- [38] United States Commission on International Religious Freedom. March 2012. Annual Report. URL: [http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012\(2\).pdf](http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012(2).pdf).
- [39] Uwechue R. Reflection on the Nigerian Civil War: A Call for Realism. London: O.I.T.H. International Publishers, 1969.
- [40] Webster J.B, Boahen A.A., Idowu H.O. The growth of African Civilization: The Revolutionary Years. West Africa Since 1800. London: Longmans, 1969.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ ИСЛАМСКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ НИГЕРИИ

Э. Кумса, И. Шубрт

Карлов университет, Прага, Чехия

Нигерия первой из африканских стран столкнулась с проявлениями агрессивного исламского фундаментализма — со стороны группы, широко известной как Боко Харам. Она объявила войну нигерийскому светскому государству в 2009 г., и с тех пор стремится воплотить в жизнь программу превращения страны в исламское теократическое государство, жизнь которого будет регулироваться мусульманским правом (шариатом), несмотря на то, что лишь половина населения исповедует ислам. В начале статьи авторы описывают структуру нигерийского общества с лингвистической точки зрения, а затем и в контексте политических различий тех обществ, которые длительное время существовали как отдельные британские колонии и только в 1960 г. стали единым независимым государством Нигерия. Далее авторы переходят к анализу истории исламских фундаменталистских движений, которые появились в Нигерии в конце 1970-х гг., фокусируясь в основном на последней по времени возникновении подобной группе — Боко Харам. Авторы перечисляют социальные, экономические и политические причины жестокого насильственного конфликта на северо-востоке Нигерии, где находился центр доколониального государства Канем-Бору и сердце национальной культуры канури. Авторы называют социальные и политические причины, давшие импульс постепенному развитию салафитских движений, в частности причины того, почему в 2009 г. Боко Харам объявила войну нигерийскому государству и заявила, что превратит его в исламский халифат; отвечая на этот вызов, нигерийская армия совершала чудовищные преступления, нарушая права человека во имя борьбы с террористами из Боко Харам. В заключение статьи авторы не предлагают конкретных решений и не делают окончательных выводов, а наоборот, признают неопределенность нынешней ситуации в Нигерии и призывают к дальнейшему изучению внутренней политики страны под руководством нового правительства во главе с Президентом Мохаммаду Бухари, который может пойти либо путем двух своих предшественников на посту президента Нигерии, применяя насильственные военные меры, либо, наоборот, избрав мирный путь.

Ключевые слова: конфликт; насилие; постколониализм; фундаментализм; военные средства; религия; правительство; Нигерия; Боко Харам

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ*

М.С. Куропятник

Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия

В статье локальное и глобальное представлены не двумя уровнями социального взаимодействия, уподобляемыми микро- и макроуровням общественной жизни, а комплементарными перспективами осмысления современности. Новая «антропологическая матрица» Бруно Латура позволяет переходить от локального к глобальному, от репрезентаций культурных форм как аутентичных (досовременных) к их современным интерпретациям. Таким образом, культурная непрерывность понимается как следствие реализации множества «частичных включений», а также как результат комбинации множества переходов от контекста к контексту, от локального к глобальному, от внутреннего (своего) к внешнему (чужому). Один из значимых модусов конституирования этой непрерывности — практики перевода. Применительно к коренным народам можно говорить о двух совокупностях практик перевода, таких как перевод устно-дискурсивного опыта культуры в текст, а также реверсивный перевод культурных нарративов, созданных в их бытность бесписьменными народами. Практики реверсивного перевода предполагают перевод в контекст культуры коренного народа форм и идей, изначально сформированных во внешних по отношению к исходным паттернам контекстах. Такие культурные формы, как этнографические самоописания, важны не только для выявления круга актуальных культурных референций коренных народов, но и с точки зрения их вовлеченности в производство новой культурной реальности.

Ключевые слова: локальное и глобальное; культура коренных народов; культурная непрерывность; практики перевода; этнографическое самоописание; глобализация; идентичность; культурная антропология; саамы Кольского полуострова

Социальные и культурные изменения, повсеместно наблюдаемые сегодня в контексте жизни коренных народов (*indigenous peoples*), могут показаться не столь значимыми и драматичными, как глобальные вызовы культуре, формируемые в условиях массовых миграций, экологических рисков и угроз терроризма. Однако и здесь интенции неконфронтации, самоопределения и преобразования внешних импульсов постепенно консолидируются в феномены, приобретающие фундаментальное значение. Они сопряжены со способами вовлеченности коренных народов в конституирование собственного образа жизни, предполагающими «высокий уровень кооперации в продуцировании культурных и правовых артефактов» [17. Р. 537], а также с их способностью заново интегрировать прошлое в современные конфигурации культуры и идентичности в качестве инструмента трансформации своего культурного и правового статуса в национальном или глобальном контекстах.

В настоящее время коренные народы переходят от приверженности логике «свободы усваивать» (Мишель де Серто), подразумевающей инверсию смыслов, присущих доминирующим дискурсам, к способам концептуализации собственной культуры, содержащим потенциал развития как в направлении комплементарно-

* © М.С. Куропятник, 2016.

сти, так и культурной инкапсуляции. Эти перспективы являются не столько альтернативными по отношению друг к другу, сколько сопряжены с вовлеченностью локальных сообществ и индивидов во «множественные» контекстуальные сценарии культурного взаимодействия, посредством которых актуализируются или перемещаются социальные границы с «разнообразными другими» [1. С. 154], а также подвергаются пересмотру контуры собственной культуры через ее реинтерпретацию. Так возникает смещение фокуса дискурса с культуры, заключаемой в холистские конструкции устойчивых взаимосвязей территорий, культурных форм и смыслов, на социальные процессы, которые конституируют множественные версии культуры, выражающие интересы и точки зрения различных акторов.

В современных социальных науках тема коренных народов включена в проблематику глобализации. При этом концептуализация глобализации в терминах взаимодействия глобального — локального, где глобальное понимается как трансформирующее локальное, воспроизводит эпистемологию социальной действительности, расщепляемой на дуальные социальные процессы, структуры и уровни. Подобные точки зрения и манипуляции воплощаются в социологических и антропологических моделях, «привязывающих» этнические группы и социальные характеристики к территориям [18. Р. 128], тем самым эссенциализируя их. Именно в этой перспективе в фокусе научных дискуссий оказывается проблема воздействия глобализации на определенные социальные группы — локальные сообщества, коренные народы — или предметные области, такие как идентичность или развитие [16. Р. 30]. При этом специфика социально-антропологического подхода, по мнению Х. Инда и Р. Розалдо, заключается в исследовании культурно-специфических реакций различных субъектов на процессы глобализации, посредством которых мир становится все более взаимосвязанным [14. Р. 5].

Как заметил Юрген Хабермас, «антропология достаточно долго не сводила взгляд с локальных культур, которые под давлением коммерческой гомогенизации якобы лишились корней и пресловутой подлинности» [10. С. 291]. Во многом эта ситуация была обусловлена устойчивой приверженностью социальной антропологии идее синхронного изучения локальной общины в качестве приоритетной (так называемому принципу 4S — *synchronous single-society study* [12. Р. 1], которая в контексте глобализации сменилась фокусом на трансформации локальных сообществ.

Понимание глобализации как процесса нивелирования культурных различий, с одной стороны, и индигенных локальных сообществ как стабильных во времени дискретных этнических групп, с другой, стимулирует дискурс коренных народов как «обреченных на исчезновение» [15. Р. 560]. В этом дискурсе исчезновение коренных народов сопрягается с разрушением традиционного образа жизни, специфических культурных конфигураций или отдельных признаков (например, языка), соотносимых с определенной этнической группой или категорией «коренного народа» в целом.

В свою очередь концептуализация коренных народов как подверженных трансформации в силу воздействия внешних факторов — будь то проекты развития,

политики национальных государств или глобализация — способствует осмыслению любых социальных изменений, также как и опыта межкультурного взаимодействия, преимущественно в негативном ключе [13. Р. 7]. Тем самым дискурс «судьбы» коренных народов, подпитываемый патерналистскими идеями, оборачивается артикуляцией моральной ответственности одной из сторон взаимодействия — национальных государств, и продуцированием паттернов виктимизации — другой.

Однако если сместить фокус проблемы в сферу репрезентации, то «неизменное и повторяющееся „исчезновение“ социальных форм в момент их этнографической репрезентации должно анализироваться в качестве нарративной структуры» [3. С. 109].

Бруно Латур стремится обнаружить «непрерывность», позволяющую переходить «от локального к глобальному» [5. С. 200]. Согласно новой «антропологической матрице», локальное и глобальное представляют собой не два уровня социального взаимодействия, уподобляемые микро- и макроуровням, а комплементарные перспективы осмысления современности. Другими словами, любой феномен может быть осмыслен либо как локальный, либо как глобальный в зависимости от контекста или выбранной аналитической перспективы [6. С. 267—269; 18. Р. 124—128]. В этой же логике разворачивает свои аргументы Т. Левеллен, который понимает глобализацию не как процесс распространения или навязывания определенных идей и культурных паттернов, а скорее как контекст или даже как один из аспектов целостного контекста [16. Р. 24], подразумевающего и культурную преемственность, и формирование новых культурных различий.

В этой перспективе способность коренных народов переосмыслить свои неблагоприятные отношения с национальными государствами, в границы которых они были включены исторически, переопределяя свои проекты в глобальном пространстве охраны окружающей среды и прав человека [15. Р. 560], демонстрирует принятие ими ответственности за собственную судьбу.

Стремление коренных народов к самоопределению часто выражается на основании ряда культурных стратегий, в том числе апелляциями к культуре как инструменту самоконцептуализации, а также посредством выдвижения культурных аргументов для обоснования своих политических и социальных проектов в различных контекстах современности. Многие из них тем или иным способом вовлекаются в социальные технологии продуцирования индигенности, в том числе и потому, что концепт индигенности позволяет артикулировать идею «прикрепленности» этнической группы к земле, культуре и языку в условиях глобализации.

Культура традиционно выступает эвристическим инструментом для концептуализации Других. Однако в западных культурных контекстах подобные точки зрения все чаще воспринимаются как проявление прежней колониальной риторики, посредством которой поддерживаются и воспроизводятся структуры политического, экономического и символического доминирования. Исходя из этого Президент Исламской Республики Иран Мохаммад Хатами, например, предлагал пересмотреть сложившееся в востоковедении отношение к Востоку как к объекту изучения, а не как ко «второму участнику диалога» [11. С. 401].

Эпистемологические и моральные основания концептуализации Другого как объекта научного описания и исследования сформировались в рамках асимметричного подхода (Б. Латур) к культуре, когда «своя культура» и «другая культура» объяснялись разными способами. В контексте коренных — ранее бесписьменных — народов подобные социальные практики приводили не только к тому, что их культура представлялась и интерпретировалась в категориях культуры внешнего наблюдателя или исследователя, но и способствовали разделению двух параллельных форматов концептуализации культуры (только описания, которые становились частью европейской культуры или научной системы знания, и только культурная реальность, воплощаемая в ходе бесконечных повседневных «переговоров» местных акторов по поводу значений и легитимности предпринимаемых ими действий). Тем самым поддерживалось «двойное отделение» [9. С. 240] — коренных народов как отличных от западных (современных), с одной стороны, и письменных репрезентаций культуры от ее устных версий, с другой.

Однако культура может реконтекстуализироваться акторами, использующими ее для самоописания [18. Р. 130]. Вовлечение Другого — коренных народов, этнических меньшинств, сообществ мигрантов, Востока в целом — в процесс самоопределения и самоописания приводит к его переквалификации исключительно как объекта исследования, как пассивного реципиента культурных импульсов, сформированных во внешних контекстах. Вместе с тем интеллектуальное движение в этом направлении трансформирует изначальную дихотомию мы — они, уподобляемую субъект-объектным схемам, и приводит к частичному совмещению дискурсов внешних наблюдателей и дискурсов, конституируемых от имени наблюдаемых, то есть «объекта» в той или иной форме. По мере осознания «усиливающих связей между объектами и субъектами» [18. Р. 135] в современном мире, социальные науки утрачивают свою прежнюю монополию на конструирование объекта исследования. Мэрилин Стрэттерн заметила, что когда антропологи выявили искусственную или этноцентристскую природу многих своих аналитических разделений, они обнаружили себя живущими в «культурном мире», все более толерантном к «смешанным нарративам» (mixed narratives) [19. Р. 519].

В этом плане представляется весьма перспективной идея «частичного соединения» (partial connections — М. Стрэттерн) между разными людьми или группами людей, а также «внутри одного и того же человека» [7. С. 136], через призму которой Джон Ло рассматривает множественные, смещающиеся и частично соединенные идентичности. Таким образом, культурная непрерывность может пониматься как следствие реализации «множества частичных связей, частичных включений, частичных отношений» [7. С. 137], как результат комбинации множества переходов от контекста к контексту, от локального к глобальному, от внутреннего (своего) к внешнему (чужому). Один из значимых модусов конституирования этой непрерывности — практики перевода, или в терминах Б. Латура «работа перевода», которая приводит не только к умножению «культурных гибридов», но также к установлению новых «ассоциативных связей» и событийных последовательностей [5. С. 71—72, 184].

Применительно к коренным народам можно говорить о двух совокупностях практик перевода, таких как перевод культуры в текст, подразумевающий самописание, а также реверсивный перевод культурных нарративов, созданных в их бытность бесписьменными народами. Практики реверсивного перевода предполагают перевод в контекст культуры коренного народа форм и идей, изначально сформированных во внешних по отношению к исходным паттернам контекстах.

Другой случай перевода означает смещение от репрезентации культурной формы как сакральной к ее артикуляции в качестве профанной. Обозначенные выше практики перевода тесно взаимосвязаны друг с другом и могут быть представлены как дискретные только в аналитических целях. И если для Латура вопрос заключается в том, можно ли от записной книжки этнографа перейти к «культуре» конкретного народа [6. С. 235], то нам представляется возможным сместить фокус внимания на способы интеграции научных — и не только — версий культуры в пространство реализации коренными народами практик самопонимания и самоописания.

Такие культурные формы, как этнографические самоописания, чрезвычайно важны для выявления круга актуальных культурных референций коренных народов постольку, поскольку они совмещают описание реальности, сопряженное с переводом устно-дискурсивного опыта культуры в ее письменную версию [3. С. 110], и интерпретации ими уже существующих версий культуры. Тем самым самоописания, создаваемые от лица коренных народов, представляют собой интертекстуальность (Юлия Кристева) с точки зрения не только «пермутации» [4. С. 136] научных (антропологических, этнографических, исторических) и научно-популярных текстов (записки путешественников, миссионеров и т.д.), но также и соединения в рамках одного текста прежде разъединенных форматов артикуляции культуры.

При этом цитирование как способ «заново интегрировать» в контекст культуры формы и значения, однажды осмысленные как древние и аутентичные, придает текстам индигенных авторов коннотации подлинности и сакральности. Соприсутствие в рамках создаваемых ими текстов реминисценций не только точек зрения на культуру, но также и способов ее репрезентации, релевантных социальным и научным дискурсам различных исторических периодов, приводит к «синхронизации диахронии». Одновременно подобные практики способствуют репрезентации собственной культуры в логике ее генерализации и культурной гомогенизации, наделяя локальные традиции, попавшие в поле зрения этнографа или путешественника, общекультурным — в границах того или иного народа — статусом.

Для многих коренных народов специфика ситуации заключается в крайне незначительном временном интервале между процессом текстуализации собственного культурного опыта и переходом к практикам репрезентации своей культуры on-line. В ряде случаев имеет место «одновременность» этих процессов, что, в свою очередь, подразумевает глубинную трансформацию социальных и культурных оснований формирования групповой идентичности. Речь идет не только о «сжатии» во времени процесса овладения коренным народом новыми инструментами осмысления собственной культуры, но и о смешении контекстов, а также о прида-

нии статуса «прозрачных» границам, отделяющих внешнее от внутреннего. Другими словами, для дигитальной версии культуры, по-прежнему артикулируемой как аутентичной и «укорененной» в границах определенной территории, не существует каких-либо установленных пределов репрезентации [17. Р. 548—549]. Подобные культурные практики отсылают одновременно к примордиальному и социально конструируемому, «укорененному» в древней культуре и использующему современные технологии ее репрезентации, эссенциализируя социальные феномены и группы, а затем стирая культурные различия.

Вот уже несколько десятилетий наблюдается растущий интерес саамов Кольского полуострова к своей культуре. Не в последнюю очередь об этом свидетельствуют многочисленные работы современных саамских авторов, непосредственно вовлеченных в создание «паутины нарративов» (Х. Арендт), конституирующих их образ жизни. Собственный культурный опыт автора, будучи облеченным в форму дескрипции, выстраивается через совмещение версий культуры, уже легитимированных в различных научных, международно-правовых и временных контекстах, посредством избирательного отбора комментируемых текстов, фрагментированных заимствований или цитирования, а также включения «голосов» коренных жителей, чья идентичность частично совпадает с идентичностью автора.

Так, например, в книге современного саамского писателя Надежды Большаковой «Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем» [2] используется очень широкий круг источников — от статей, посвященных саамам, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и работ российских этнографов Н. Харузина, В. Чарнолуского до путевых заметок и незначительных публикаций.

«Прочтение» собственной культуры сквозь призму уже состоявшихся ее версий не только способствует насыщению пространства культуры формами и значениями, однажды осмысленными в письменной (в том числе и научной) традиции как саамские, но также имплицитно локализирует последние в контексте современности.

Как известно, «всякое чтение модифицирует свой объект» [9. С. 285]. В ряде случаев имеет место перевод личного культурного опыта автора, сформированного в контексте устной традиции, в текст. Речь идет, например, о записи фольклорных форм — сказок, пословиц [2. С. 368—378, 388—389] или об описании конкретным мастером известных ему приемов изготовления и декорирования вещей [8] как способах внутрикультурной транскрипции, превращающих «устное в письменное» [9. С. 274]. При этом вариативность устной традиции преобразуется в инвариативность письменной.

Вовлекаясь в практики этнографических самоописаний, любой автор в той или иной мере выступает и как коренной житель, постигающий свою культуру, и как «наивный этнограф», описывающий «то, что творится здесь и сейчас неиссякающей изобретательностью участников взаимодействия» [6. С. 235—236], и как человек, выражающий интересы определенных социальных кругов. Идея «частичного соединения» (М. Стрэтерн) или «включения» (Дж. Ло) релевантна

логике трансформаций, подразумевающих культурную непрерывность. В этой логике, например, тексты современных саамских авторов, представленные на русском, параллельно на родном и русском языках или только на родном языке, адресованы разным аудиториям.

Итак, принимая во внимание идею Б. Латура и Дж. Ло о вовлеченности научных практик в производство реальности [7. С. 36], можно полагать, что этнографическое самописание — это и описание культуры, и ее производство. Равно как и создание коренными жителями предметов, изначально предназначенных для демонстрации на выставках и при этом наделяемых статусом аутентичных, или же перемещение артефактов из контекста повседневности в пространство музеев, осуществляемое их владельцами, также продуцируют новую культурную реальность и новые социальные отношения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Берк П. Что такое культуральная история? М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.
- [2] Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем. Мурманск: Кн. изд-во, 2005.
- [3] Клиффорд Дж. Об этнографической аллегории // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 3.
- [4] Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004.
- [5] Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2006.
- [6] Латур Б. Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.
- [7] Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
- [8] Мозолевская А.Е., Мечкина Е.И. Саамские узоры. Мурманск: Рекорд, 2011.
- [9] Серто М. Изобретение повседневности: 1. Искусство делать. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2013.
- [10] Хабермас Ю. Политические работы. М.: Практика, 2005.
- [11] Хатами М. Ислам в современном мире. Фрагмент // Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. М.: Альфа, 2006.
- [12] Eriksen T.H. Introduction // Globalisation. Studies in Anthropology / Ed. by T.H. Eriksen. L.: Pluto Press, 2003.
- [13] Hansen L.I., Olsen B. Hunters in Transition: an Outline of early Sami history. Leiden & Boston: Brill, 2014.
- [14] Inda J.X., Rosaldo R. Introduction: A world in motion // The Anthropology of Globalization: A Reader / Ed. by J.X. Inda and R. Rosaldo. Cambridge: Blackwell Publishing, 2002.
- [15] Kearney M. The local and the global: The anthropology of globalization and transnationalization // Annual Review of Anthropology. 1995. Vol. 24.
- [16] Lewellen T. The Anthropology of Globalization. Cultural Anthropology Enters the 21st Century. Westport: Bergin & Garvey, 2002.
- [17] Niezen R. Digital identity: The construction of virtual selfhood in the indigenous peoples' movement // Comparative Studies in Society and History. 2005. Vol. 47.
- [18] Nustad K. Considering global/local relations: Beyond dualism // Globalisation. Studies in Anthropology / Ed. by T.H. Eriksen. L.: Pluto Press, 2003.
- [19] Strathern M. Cutting the network // The Journal of the Royal Anthropological Institute. 1996. Vol. 2. No.3.

INDIGENOUS PEOPLES IN THE CONTEXT OF CULTURAL CONTINUITY

M.S. Kuropjatnik

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

The article defines local and global rather as two complementary perspectives for interpreting the modernity than as two levels of social interaction — micro- and macro-. Following Latour's new 'anthropological matrix' the author shows the way to move from local to global, from representations of cultural forms as authentic (premodern) to their modern interpretations. Cultural continuity is understood as a consequence of the implementation of a multiple 'partial inclusions', and as an outcome of the combination of multiple transitions from local to global, from inner context to the outer. One of the most important modes of this continuity constitution is the practice of translation. Regarding indigenous peoples we can speak of two collections of translation practices such as translation of oral-discursive experience of culture into the text, and a reverse translation of cultural narratives created in their being non-literate peoples. Practices of reverse translation consist of the transformation of the ideas initially formed in the outside contexts into the context of the indigenous people's culture. Such cultural forms as ethnographic self-descriptions are important not only to identify the actual cultural references of the indigenous peoples but also in terms of their involvement in the production of new cultural reality.

Key words: local and global; indigenous culture; cultural continuity; practices of translation; ethnographic self-description; globalization; identity; cultural anthropology; the Sami of the Kola Peninsula

REFERENCES

- [1] *Burke P.* Chto takoe kulturalnaia istoriia? [What is Cultural History?]. M.: Izd. Dom VSE, 2015.
- [2] *Bolshakova N.P.* Zhizn', obychai i mify kolskikh saamov v proshlom i nastoiaschem [Life, Customs and Myths of Kola Sami in the Past and Present]. Murmansk: Kn.izd-vo, 2005.
- [3] *Clifford G.* Ob etnograficheskoii allegorii [On Ethnographic Allegory]. Sotsiologicheskoe obozrenie. 2014. Vol. 13. No. 3.
- [4] *Kristeva J.* Izbrannyye trudy: Razrusheniie poetiki [Selected Works: The Destruction of Poetics]. M.: ROSSPEN, 2004.
- [5] *Latour B.* Novogo vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoi antropologii [We have Never been Modern. Essays on Symmetrical Anthropology]. SPb.: Izd-vo Evropeiskogo universiteta, 2006.
- [6] *Latour B.* Peresborka sotsialnogo: Vvedenie v aktorno-setevuiu teoriuu [Reassembling the Social: Introduction to Actor-Network-Theory]. M.: Izd. Dom VSE, 2014.
- [7] *Law J.* Posle metoda: besporiadok i sotsialnaia nauka [After Method: Mess in Social Science Research]. M.: Izd-vo Instituta Gaidara, 2015.
- [8] *Mozolevskaia A.E., Mechkina E.I.* Saamskiiie uzory [Sami Patterns]. Murmansk: Rekord, 2011.
- [9] *Certeau M.* Izobreteniiie povsednevnosti: 1. Iskustvo delat' [The Invention of Everyday Life. 1. The Art of Making]. SPb.: Izd-vo Evropeiskogo universiteta, 2013.
- [10] *Habermas J.* Politicheskiie raboty [Selected Political Works]. M.: Praksis, 2005.
- [11] *Khatami M.* Islam v sovremennom mire. Fragment. [Islam in the Modern World. A Fragment]. *Dmitriev A.V.* Migratsiia: konfliktnoe izmerenie. M.: Al'fa, 2006.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕЖНИЕ МАРКЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ: ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ*

А.К. Мамедов, Э.Д. Коркия, С.Г. Малашонок

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

В статье представлен анализ трансформации роли образования как ценностнообразующего элемента культурного поля общества потребления; дан теоретический обзор истории становления общества потребления; выявлены направления исследования образования как социокультурного феномена, включенного в рыночные отношения. В статье использован культуросоциологический подход к выявлению паттернов потребления образовательных услуг, который открывает возможности для методологического расширения исследований проблем социальной стратификации: рассмотрены теории социального неравенства и принципы социальной стратификации; показаны причины социальной нестабильности и сформулирована оценка социального неравенства в обществе потребления. На основе работ зарубежных и отечественных специалистов в статье анализируется институциональная среда формирования и воспроизводства социального неравенства: по результатам многочисленных сравнительных исследований к таким институтам чаще всего относят централизованную систему отношений в сфере образования. В статье анализируются категории образования и воспитания, глобализации и глобализма в современном обществе; рассматриваются аспекты становления потребительского общества в России и особенности поведения российского потребителя в свете глобальных потребительских трендов. Таким образом, подчеркивается, что общество потребления в целом деструктивно, замкнуто на себе, однако это вектор глобального развития капиталистических стран и его не получится отрицать, следует изучать тенденции его развития с учетом исторических аспектов становления потребительства и предпринимать адекватные меры по нормализации общественной жизни.

Ключевые слова: знание; образование; общество потребления; консьюмеризм; социальная стратификация; квантификация; коммерциализация культуры; потребление

Системная интеграция культуры в систему «производство—потребление» делает ее важной частью разного рода социальных процессов, а значит, включает в процесс оформления социального устройства уже не в качестве его производной (или инертной надстройки над социально-экономическим базисом), а как одного из ключевых механизмов социальной дифференциации. Говоря иначе, система отношений индивида с продуктами культуры, которые он приобретает, становится маркером его социального положения наравне с материальным благосостоянием, семейным положением, уровнем запросов и т.п. Цель данной статьи — обоснование аргументов, подтверждающих, что образование, являясь одной из ключевых социодемографических характеристик индивида, в условиях общества потребления становится продаваемым и покупаемым элементом культуры, который необходимо исследовать (в первую очередь) культуросоциологическими методами для выработки нового понимания образования как маркера социальной стратификации.

* © А.К. Мамедов, Э.Д. Коркия, С.Г. Малашонок, 2016.

Безусловно, образование подвержено временным трансформациям (вплоть до кризисных), как и иные социальные структуры: весьма успешно действующие модели образования в рамках одних культурных реалий оказывались архаичными и неэффективными в процессе дальнейшего социогенеза. Современная система образования (в первую очередь высшего) основана на трех базовых моделях университета, выработанных на рубеже XVII—XIX веков, как то: англосаксонская модель, где университет понимается как институт передачи знания от производителя к потребителю; наполеоновская модель — университет концентрирует свое внимание и подготовку кадров на актуальных проблемах общества; модель Гумбольдта — университет как актор и субъект культурной деятельности. Однако уже в начале XX века социальная теория осознала отстающее положение перечисленных моделей относительно реальных потребностей общества (Х. Ортега-и-Гассет) [16]. Образование столкнулось с реалиями массового и потребительского общества, а следовательно и принципиально иной системой координат (Э. Фромм) [20]. Как отмечает А.И. Неклесса, «XX век ознаменовался социокультурной революцией, выдвинувшей и продвинувшей в сферу практики ряд новых версий прочтения цивилизационного текста. Секуляризация, выступив как надконфессиональная форма христианского мировоззрения, создала культурную оболочку глобальных пропорций,.. прямо или косвенно способствуя расцвету мультикультурности, возрождению различных религиозных и культурных кодов, обустроив, таким образом, пространство открытой конкуренции мировоззренческих систем» [17. С. 18].

На фоне обозначенных трансформаций, берущих начало в прошлом столетии, к сегодняшнему дню в развитом мире оформились важные цивилизационные «сдвиги»: 1) глобализм, универсальность, социальная гомоморфность; 2) становление нового суверена — активной творческой личности, сообщества личностей, получивших доступ к невиданным до сих пор технологическим богатствам. Их смешение или комбинация может дать совершенно неожиданные социальные конструкции и метаморфозы. Одной из них стало появление культуры эклектического типа: свободные ассоциации и гибкие структуры заменяют устоявшиеся институты, социальный транзит незавершен, постоянно изменяется, что, безусловно, пока не исследовано в должной мере и потребует в скором будущем глубоких научных (в первую очередь социологических) построений.

Однако в рамках процессов консьюмеризации общества зреют и иные, не столь рациональные тенденции. Для формирования теоретического конструкта общества потребления важно провести различие между потреблением как социальным феноменом, свойственным всему человечеству (по умолчанию) с момента зарождения капитализма (появление прибавочного продукта, добавочной стоимости, рынка), и консьюмеризмом — явлением, свойственным развитым обществам, имеющим дело со зрелыми формами капитализма. Современные авторы, как правило, сходятся во мнении, что культура потребления обязана своим становлением драматическим изменениям характера производства, имевшим место в конце XIX — начале XX веков (1880—1920) [7. С. 9]. Экспоненциальное увеличение объемов производства и расширение (по всем параметрам) рынков сбыта сделали возмож-

ным распространение потребительского стиля жизни сначала в Западной Европе и Северной Америке, а затем и во всем мире. Потребительство стало в какой-то степени аналогом и критерием «цивилизованности». Немаловажно, что консьюмеризм как образ жизни общества потребления и как система общественных отношений может быть не характерен отдельной стране в целом, но может в то же время доминировать в какой-то ее части, как, например, в мегаполисах Индии и Китая, в больших городах России и иных стран традиционной культуры.

Английские исследователи Я. Габриэл и Т. Ланг [2] утверждают, что в 1920-е гг. в США потребление приобретает принципиально новые функции: расширяется его социальное значение и статус — от банального удовлетворения потребностей к превращению его в своего рода смысл (иногда единственный) человеческого существования. Исследователи связывают оформление консьюмеризма в качестве новой определяющей эпохи ценности с теми сложными социально-экономическими процессами, которые в конечном итоге закономерно привели к кризису перепроизводства и Великой депрессии 1930-х годов. Изучение формирования общества нового типа Габриэл и Ланг начинают с анализа феномена фордизма, указывая на далеко неоднозначные последствия его распространения как для экономики обществ, принявших новый способ производства, так и для их социальной структуры, претерпевшей значительные изменения. Среди этих последствий авторы выделяют следующие: снижение себестоимости производимого продукта; сокращение количества рабочих мест вследствие введения конвейерного производства, результирующее в увеличении конкуренции на рынке; изменение отношения рабочих на местах к результатам своего труда, вызванное распространением механизма финансовой стимуляции; увеличение доходов рабочих при сокращении рабочего времени, что привело к росту потребительской способности населения и увеличению количества свободного времени; увеличение объемов производства и рост покупательной способности стимулировали укрупнение национальных рынков и интенсифицировали международную торговлю; развитие теории и практики маркетинга и рекламы как неотъемлемой части системы производства.

Под влиянием идеологии фордизма, диктующей и тотально внедряющей новый способ организации производства, к середине XX века консьюмеризм перестает быть уникальной и исключительной чертой высших классов и становится (в век «масс») массовым явлением. Однако XX век, в терминологии британского историка Э. Хобсбаума [21], принадлежит к эпохам «быстрой» (или «короткой») истории, когда возрастает скорость всех проявлений человеческой жизнедеятельности: труда и его интенсивности, перемещений в пространстве, усвоения информации, чередования циклов — экономических, социально-политических, войны и мира и т.д. Поэтому неудивительно, что фордизм, положив начало процессам коммерциализации и стандартизации всех сторон общественной жизни, скоро (как и все социальное) уступил место новому типу социально-экономического устройства, для которого характерна большая подвижность и гибкость моделей поведения (как производственного, так и, главное, потребительского). Представляется

возможным заключить, что эпоха конвейерного производства дала обществу инструмент потребления, а следующая за ней эпоха «пост-фордизма» [5] научила людей им пользоваться и попытаться «оконсумерить» свой жизненный мир.

Размышляя в этом ключе, английский антрополог Д. Харви выделяет две основные тенденции [4. С. 285—286], оформившие социально-экономические перемены середины прошлого века. Во-первых, Харви обращает внимание на тот факт, что, начиная с 1950-х годов в систему массового потребления включаются помимо товаров широкого потребления такие стороны общественной жизни, как отдых, спорт, искусство и образование. Иными словами, потребление превращается в полноценный и самостоятельный способ организации общественной жизни. Во-вторых, «время жизни» произведенных товаров, как и ценность оказываемых товаров и услуг, все в большей степени регулируется механизмом моды, который обретает тотальный характер: новинки во всех сферах жизни устаревают все быстрее, теряют конкурентоспособность, а следовательно, дешевеют, уступая место на рынке новым (а главное необычным) продуктам [13].

Как пишет Б. Массуми, описывая логику современного общества, «чем разнообразнее, эксцентричнее — тем лучше. Норма утрачивает свою власть. Правильность, системность постепенно сдают позиции. И этот отказ от нормальности есть часть динамики капитализма. Это не просто освобождение, а форма господства самого капитализма. Миром перестает править дисциплинарная институциональная власть — по мере насыщения рынков ей на смену приходят власть и способность капитализма производить многообразие. Создай ассортимент — и ты найдешь нишу на рынке. Сгодятся самые странные и аффективные из замыслов — ведь они за это платят. Капитализм начинает интенсифицировать или диверсифицировать аффект, но лишь затем, чтобы извлечь сверхприбыль. Он присваивает себе аффект, чтобы увеличить потенциальный доход. ...Капиталистическая логика производства прибавочной стоимости усваивает поле относительности, которое является также областью политической экологии, полем этического сопротивления идентичности. И этот процесс представляется очень смутным и тревожным, потому что... в динамике капиталистической власти и динамике сопротивления было своеобразное сходство» [6. С. 224].

Обозначенные Харви и Массуми черты новой эпохи потребителей прослеживаются и в работах других теоретиков второй половины XX века. Так, З. Бауман называет наступившую эпоху потребления «жидкой» или непостоянной («liquid modern society of consumers») в противовес ушедшему «твердому» модерну («solid phase of modernity») [1. С. 27—31]. Последний унес с собой такие потребительские ценности, как долгосрочное использование и надежность покупаемого товара, его полезные свойства и практичность. В фазе «жидкого» общества модус потребления направлен на имманентные желания потребителя, которые имеют свойство меняться под влиянием крайне динамичной массовой культуры, в которую потребитель неизбежно погружен, будучи социализирован в рамках общества потребления.

Задолго до З. Баумана термин «общество потребления» применил социолог франкфуртской школы Э. Фромм [20], который, опираясь на традиции фрейдизма

и марксизма, описывал его через два главных компонента, вытекающих друг из друга. Первый из них — человеческая природа, выраженная в стремлении обладать. Обладание в разные эпохи, по Фромму, принимает разные формы: от патриархальной власти отца над детьми до условного доминирования потребителя услуг над теми, кто оказывает услуги («мой дантист», «мой юрист», «мой депутат»). Второй компонент, на котором настаивает Фромм, — зрелый капитализм, характеризующийся тотальным отчуждением, драматическим ростом показателей производства и потребления, ростом доходов, сменой систем ориентаций потребителей, массовым характером производства благ и услуг, социокультурными переменами в стандартизированном социуме и маркетинговой революцией [14]. Под маркетинговой революцией понимается такой поворот в моделях производства, характерных для развитого западного мира, когда прежде чем произвести объем услуг производитель обеспечивает стабильный рынок сбыта. Кроме того, маркетинговая революция делает возможным такое положение вещей, когда к добавочной стоимости продукта непременно прибавляется условная стоимость бренда, зачастую превышающая себестоимость товара. Возникает феномен демонстративного потребления «лакшери и брендов». В самых общих чертах маркетинговая революция представляет собой тотальную коммерциализацию всех сфер жизни, сопровождающуюся институционализацией новых социальных практик, ранее имевших место лишь в качестве единичных. Речь идет о возникновении маркетинга как самостоятельной науки и прикладной дисциплины, которая становится третьим компонентом в, казалось бы, закрытой и устоявшейся связке «производство—потребление».

Начало этому было положено в начале двадцатого века, когда в престижных американских университетах были организованы первые курсы маркетинга. К середине двадцатых годов в США начала действовать Национальная ассоциация маркетинга и рекламы, вскоре преобразованная в Американскую ассоциацию маркетинга, которая объединила ведущих специалистов и преподавателей в этой области. Функционируя сегодня практически в том же виде, что и на момент основания, АМА (American Marketing Association) определяет маркетинг как особый вид деятельности: «это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [22]. Иными словами, это теория и практика продвижения товара на рынок — создания потребности в товаре у потенциальных потребителей и, в конечном итоге, обеспечения рынка сбыта.

На сегодняшний день специалисты в области маркетинга составляют изрядную часть рынка рабочей силы по всему миру (в профессиональной социальной сети LinkedIn.com на февраль 2015 года свыше 9% пользователей указали «маркетинг» в числе своих ключевых навыков). Происходит метаморфоза маркетинга: возникнув как инструмент обслуживания рынка, он становится доминантой рынка. Рост этого показателя за последние полстолетия иллюстрирует расцвет общества потребления в том смысле этого термина, в каком его впервые употребил Фромм, а затем популяризировал французский представитель постмодернизма Ж. Бодрийяр [9]. Он поэтапно разрабатывает концепцию социального устройства, осно-

ванную на приобретении членами общества знаков социальной дифференциации. Уже в работе «Система вещей» Бодрийяр анализирует динамичные взаимоотношения потребителя с объектами потребления, указывая на то, каким образом социальная структура определяется системой организации вещей, которые предстают в качестве знаков социокультурной реальности (а в дальнейшем становятся маркерами социальной дифференциации) [15]. Он указывает на различия в системном использовании «вещей»: в традиционном обществе «вещи» по своей природе монофункциональны, выполняют строго очерченный круг функций, несменяемы в течение долгого времени. Общество потребления превращает «вещи» в многофункциональные объекты [11], которые быстро устаревают, новые модели сменяют старые на более удобные и функциональные.

Но что представляется ключевым изменением в способе организации материального мира, так это то, что кроме утилитарных свойств потребляемых товаров и услуг все большую значимость приобретает их символическая суть. Так, счастье (которому Бодрийяр приписывает социоисторическую идеологическую природу, сравнивая его с идеями спасения и равенства) и благосостояние приобретают количественные характеристики, которые формируют «иллюзию демократии» [9. С. 57—60] — равенства всех с точки зрения возможности приобретения предметов роскоши, которые становятся знаками успеха и создают иллюзию преодоления отрыва социального большинства от высших классов общества. При таком социальном устройстве вся политическая игра «демократического западного мира», согласно Бодрийяру, сводится к попытке преодоления социального неравенства через увеличение объемов производства, что по определению невозможно (очередная утопия).

В своих рассуждениях на тему «иллюзии демократии» Бодрийяр оспаривает позицию известного американского ученого, одного из авторов теории конвергенции, Дж. Гэлбрейта, утверждающего, что неограниченный рост производства в конечном итоге ведет к социальному равенству и устранению бедности, которую он называет остаточной и объясняет несовершенствами системы (такими как, например, приоритет сфер производства, не направленных на всеобщее благосостояние, — вооружение, продукты эксклюзивного потребления и т.д.). Гэлбрейт однозначно видит в росте производства ключ к гармоничному перераспределению благ: «все закончится тем, что всего будет достаточно для всех» [9. С.58]. Несогласие Бодрийяра с постулатами «Общества изобилия» Гэлбрейта главным образом коренится в явной «несоциологичности» выводов американского экономиста и, кроме того, в их утопичности. Бодрийяр видит в социальной дифференциации ядро экономического роста (условие увеличения объемов производимых благ), так как рост — лишь динамический показатель, характеризующий отставание субъектов экономических отношений от темпов роста производства.

Подвергая критике постулат Гэлбрейта, Бодрийяр не соглашается практически со всей американской социологической мыслью середины прошлого века, признающей уравнительный характер отношений общества изобилия, сформированных вокруг фигуры среднего потребителя. «Ни один продукт не имеет шанса стать

широко распространенным, ни одна потребность не имеет шанса быть удовлетворенной в массовом порядке, если только они не были уже частью высшей модели и не были там заменены каким-нибудь другим благом или различительной потребностью — так, чтобы дистанция была сохранена» — пишет Бодрийяр [9. С. 63]. Иными словами, уравнение снизу вверх, как оно представлено у Гэлбрейта и его американских единомышленников, на деле представляет собой обратный процесс, названный Бодрийяром «законом обновления различительного материала».

Кроме взглядов Бодрийяра на природу потребления, в рамках статьи следует обратить внимание и на теорию техноструктуры современного общества, разработанную его оппонентом Гэлбрейтом [3]. Последний, в частности, описывает механизм «перевернутой последовательности» в системе отношений производства — потребления: поведение на рынке контролируется предприятием-производителем, которое всецело управляет социальными позициями и моделирует их, создавая потребности, делающие реальными рынки сбыта производимых благ. В модели «классической последовательности» инициатива считалась принадлежащей потребителю и влияла через свободный рынок на производителей. Проще говоря, с развитием маркетинговых инструментов система классической экономики А. Смита и Д. Рикардо, где «спрос рождает предложение», трансформируется в систему «производство создает спрос, чтобы предложение было востребованным».

Вернемся к связке производство–потребление, но сместим фокус анализа с социально-экономических механизмов ее трансформации к культурно-ценностным. Двадцатый век трансформировал не только способы потребления, но и само понятие производства, или индустрии. В научной и популярной литературе часто звучат термины «индустрия моды», «индустрия красоты», «индустрия здоровья» и т.п. Начало такому использованию термина было положено коллегами Э. Фромма по франкфуртской школе — М. Хоркхаймером и Т. Адорно [8. С. 16—60]. Вводя термин «индустрия культуры», авторы понимали под ним целый промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок в искусстве, живописи, образовании, литературе, кино и др. Культура понимается ими как разновидность товара, у которого есть производитель и потребитель. В качестве потребителя выступают массы, которые посредством стандартизированного искусства становятся объектом манипулирования в капиталистическом обществе. В поле индустрии культуры функцию маркетинга берут на себя средства массовой информации, формируя потребности социальных масс через трансляцию ценностей определенного типа. Культура в таком ключе более не направлена на духовное обогащение и просвещение, являясь по сути развлекательным бизнесом, который, как и любой другой бизнес в обществе потребления, делает создание рынка сбыта частью процесса производства.

Однако формирование индустрии культуры не ограничивается коммерциализацией отношений производства и потребления в сфере искусства — она пронизывает все уровни «надстройки» современного общества. Одним из таких ценностно-образующих уровней является образование, которое за последние полстолетия также превратилось из традиционного социального института в капиталистическую индустрию.

Социальная суть образования в ее традиционном понимании сводилась, прежде всего, к адаптации индивида к социально-культурным условиям среды, т.е. к передаче социально-культурного опыта поколений, чтобы человек гармонично встроился в социальную систему. Образование как социальный институт призвано удовлетворять потребности общества в квалифицированных кадрах, разделяющих ценности этого общества. Кроме того, образование, наравне с церковью и армией, входит в число традиционных социальных лифтов — механизмов, позволяющих индивидам вертикально перемещаться внутри иерархически организованной социальной структуры от низшего класса (или слоя) к высшему. Включение образования в рыночные отношения не могло не затронуть его функциональные характеристики, а, следовательно, традиционное понимание образования как маркера социальной стратификации также претерпело изменения. Во-первых, свидетельством приобретения образованием нового качества — продукта — стал его выход на рынок, чему сопутствовало появление термина «образовательная услуга». Сложно отследить, когда именно такая формулировка была впервые официально использована в мировой образовательной практике, но в нашей стране уже в Законе «Об образовании» 1992 года, а вслед за ним и в новой редакции Закона в 2012 году [18] именно образовательная услуга фигурирует как основной предмет государственного регулирования в сфере образования.

В России трактовка образования как совокупности приобретаемых услуг была связана с переходом страны от плановой экономики к рыночной. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, количество вузов с 1992 по 1997 годы увеличилось на 252 учреждения в результате образовательной реформы 1985—1992 годов, давшей свободу негосударственным учебным заведениям (рис. 1). Появление большого числа вузов, принимавших студентов на коммерческой основе и не предъявлявших высоких требований к «входным данным» и успеваемости абитуриентов, сделало образование общедоступным продуктом. В результате в 1990-е годы наблюдается не только скачок в численности студентов, но и намечается сдвиг в соотношении числа студентов заочного и очного отделений, который также является свидетельством изменения отношения населения к образованию — оно начинает восприниматься в качестве услуги уже самими гражданами.

С появлением негосударственных вузов растет численность студентов заочного отделения, которые обращаются в учебные заведения именно для того, чтобы приобрести образовательную услугу: растет число людей, желающих переквалифицироваться или повысить квалификацию, увеличивается доля студентов, совмещающих учебу и профессиональную занятость. Анализируя обозначенную тенденцию, необходимо обратить внимание на то, что в традиционном понимании образование является одним из ключевых социальных институтов, которые *конституируют* социальную жизнь индивида: учащиеся организуют все свои действия вокруг процесса обучения на протяжении нескольких лет. Выступая в новом качестве — товара или услуги, образование во многом теряет это свойство, взамен приобретая функцию вспомогательного *ресурса*, позволяющего добиваться профессиональных целей, но не конституирующего социальную жизнь потребителей.

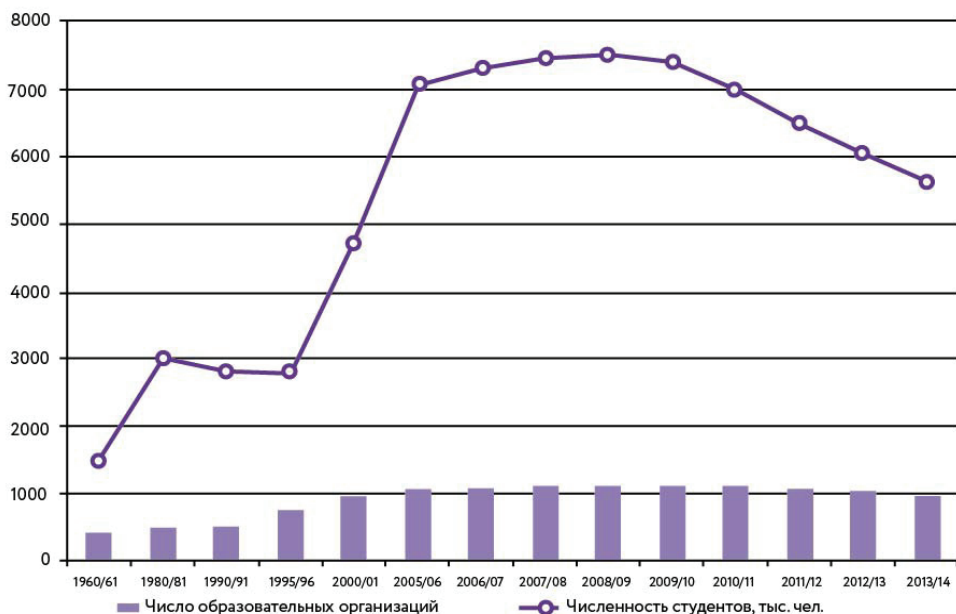


Рис. 1. Динамика числа организаций высшего профессионального образования и численности студентов с 1960 по 2013 гг.

По данным www.gks.ru

Знание как таковое мировым сообществом давно признано продуктом. Уже в середине прошлого века в США, а затем и в Европе появляется концепция «общества знания» [10; 18], а в докладе ЮНЕСКО за 2005 г. утверждается: «Сегодня общепризнано, что знание превратилось в предмет колоссальных экономических, политических и культурных интересов настолько, что может служить для определения качественного состояния общества, контуры которого лишь начинают перед нами вырисовываться» [13].

Важно подчеркнуть, что эпоха, наступившая вслед за двумя мировыми войнами, не просто изменила отношения по поводу производства и распределения культуры, а квантифицировала их, присвоила всем продуктам культуры цену, в том числе образовательным услугам. Квантифицировать — значит сделать измеряемым, чтобы быть принятым в социуме. В конце прошлого столетия начали появляться системы оценки учебных заведений, действующие на международном уровне и выполняющие функцию измерения качества образовательных услуг. К самым известным системам такого рода относится Шанхайский академический рейтинг (Academic Ranking of World Universities) и рейтинг Таймс (Times Higher Education World University Rankings). Само появление рейтинговых систем является сигналом (зачастую тревожным), что образование оценивается потребителями не так, как это было в предыдущие эпохи. Потребители образовательных услуг при выборе профессии и учебного заведения рассчитывают, насколько выгодным окажется их выбор в будущем. Образование становится инвестицией в прямом смысле этого слова: если раньше учащиеся, поступая в учебное заведение, инвестировали преимущественно свое время и силы, а плата за учебу варьировала лишь условно,

то теперь люди готовы вкладывать целое состояние в обучение себя и своих детей, если вуз или школа занимают высокое положение в мировом рейтинге. Обращаясь к рынку образовательных услуг, потребители ищут не столько знаний и умений, сколько диплом определенного образца [12], наличие которого позволит им в дальнейшем занять ту или иную социальную позицию. Образование пусть и не утрачивает своих традиционных функций — социального лифта и социального института, обслуживающего нужды общества, однако, в первую очередь, оказывается продуктом, который продается и покупается, а цена устанавливается рынком. Такое положение образования в общей системе производства и распределения делает его новым маркером социального статуса и престижности.

Описанные трансформации открывают новые возможности для объединения двух областей знания: социологии культуры и теории социальной стратификации. Использование культуросоциологического подхода для выявления паттернов потребления образовательных услуг позволит оснастить исследования социальной стратификации более точным инструментом оценки, разработка которого, однако, выходит за рамки данной статьи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Адорно Т., Хоркхаймер М.* Диалектика просвещения. М., СПб., 1997.
- [2] *Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
- [3] *Бодрийяр Ж.* Система вещей. М., 1995.
- [4] *Дракер П.* Посткапиталистическое общество // Новая индустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999.
- [5] *Иванова И.* Потребление образовательных услуг. Саратов, 2004.
- [6] К обществам знания: всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж, 2005.
- [7] *Коркия Э.Д., Васильев А.В., Васильев Д.А.* Перформанс в современном культурном пространстве: постмодернистский контекст. Якутск, 2014.
- [8] *Коркия Э.Д., Мамедов А.К.* Стандартизация как контекст отчуждения современного «urban-society» // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 5.
- [9] *Мамедов А.К., Лунай Т.П.* Социальная стигматизация: социокультурные аспекты // Труд и социальные отношения. 2008. № 11.
- [10] *Неклесса А.И.* Эпоха Постмодерна и новый цивилизационный контекст. М., 2008.
- [11] *Ортега-и-Гассет Х.* Миссия университета / Пер. с исп. М.Н. Голубевой; ред. пер. А.М. Корбута; под общ. ред. М.А. Гусаковского. Мн., 2005.
- [12] *Райх Р.* Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века // Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999.
- [13] *Фромм Э.* Иметь или быть. М., 2000.
- [14] *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). М., 2004.
- [15] *Эванс Дж.Р., Берман Б.* Маркетинг. М., 1993.
- [16] *Bauman, Z.* Consuming Life. Cambridge, 2007.
- [17] *Gabriel Y., Lang T.* The Unmanageable Consumer: Contemporary Consumption and Its Fragmentation. L., 1995.
- [18] *Galbraith J.K.* The Affluent Society. N.Y., 1998.
- [19] *Harvey D.* The Condition of Postmodernity. Oxford, 1989.
- [20] *Lash S., Urry J.* Economies of Signs and Space. L., 1994.
- [21] *Massumi B.* Navigating Movements. In “Hope”. M. Zournazi (ed.). N.Y., 2002.
- [22] *Smart B.* Consuming: Historical and Conceptual Issues. Consumer Society: Critical Issues and Environmental Consequences. L., 2010.

OLD MARKERS OF SOCIAL STRATIFICATION IN THE CONSUMER SOCIETY: A NEW ROLE OF EDUCATION

A.K. Mamedov, E.D. Korkiya, S.G. Malashonok

Lomonosov Moscow State University

The article considers the fundamental transformation of the role of education as a value-forming element of the cultural field in the consumer society, provides a historical overview of consumer society theories, and outlines approaches to the study of education as a social-cultural phenomenon within the market economy. The authors apply the cultural sociology approach to identify patterns of educational services consumption that allows to broaden the methodology of social stratification research; consider the theory of social inequality and the principles of social stratification; identify causes of social instability and give estimates of social inequality in consumer society. Based on the works of foreign and Russian experts the authors analyze the institutional environment of social inequality (re)production: according to the results of numerous comparative studies the key such institution is the centralized system of institutional relations in the field of education. The article considers the categories of education and training, globalization and globalism in today's society; main aspects of the consumer society development in Russia, especially the behavior of Russian consumers in the context of global consumer trends. Thus, the authors emphasize that the consumer society in general is destructive, self-focused, however, this is a vector of global development in the capitalist countries that is impossible to deny; we are to study its trends taking into account the historical aspects of consumerism and take adequate measures to normalize social life.

Key words: knowledge; education; consumer society; consumerism; social stratification; quantification; culture; commercialization of culture; consumption.

REFERENCES

- [1] Adorno T., Horkheimer M. Dialektika prosveshcheniya [Dialectic of Enlightenment]. M., SPb., 1997.
- [2] Baudrillard J. Obshchestvo potrebleniya. Ego mify i struktury [The Consumer Society: Myths and Structures]. M., 2006.
- [3] Baudrillard J. Sistema veshchey [The System of Objects]. M., 1995.
- [4] Druker P. Postkapitalisticheskoye obshchestvo [Post-Capitalist Society]. Novaya industrialnaya volna na Zapade. Pod red. V.L. Inozemtseva. M., 1999.
- [5] Ivanova I. Potrebleniye obrazovatel'nykh uslug [Consumption of Educational Services]. Saratov, 2004.
- [6] K obshchestvam znaniya: vsemirnyy doklad UNESCO [Towards the Knowledge Society: UNESCO World Report]. Paris, 2005.
- [7] Korkiya E.D., Vasilyev A.V., Vasilyev D.A. Performans v sovremennom kulturnom prostranstve: postmodernistskiy kontekst [Performance in the Contemporary Cultural Space: Postmodern Context]. Yakutsk, 2014.
- [8] Korkiya E.D., Mamedov A.K. Standartizatsiya kak kontekst otchuzhdeniya sovremennoy "urban-society" [Standartization as a context of the alienation in the contemporary "urban-society"]. Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty sovremennoy nauki. 2015. No.5.
- [9] Mamedov A.K., Lipay T.P. Sotsialnaya stigmatizatsiya: sotsiokulturnyye aspekty [Social stigmatization: Social and cultural aspects]. Trud i sotsialnyye otnosheniya. 2008. No.11.
- [10] Neklessa A.I. Epokha Postmoderna i novyy tsivilizatsionnyy kontekst [Postmodern Epoch and the New Civilizational Context]. M., 2008.

- [11] *Ortega y Gasset J.* Missiya universiteta [Mission of the University]. Per. s isp. M.N. Golubevoy; red. per. A.M. Korbut; pod obsch. red. M.A. Gusakovskogo. Mn., 2005.
- [12] *Reich R.* Trud natsiy. Gotovyas' k kapitalizmu XXI veka [The work of nations. Preparing for the XX century capitalism]. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade. Pod red. V.L. Inozemtseva. M., 1999.
- [13] *Fromm E.* Imet' ili byt' [To Have or to Be?]. M., 2000.
- [14] *Hobsbawm E.* Epokha kraynostey: Korotkiy dvadtsatyy vek (1914—1991) [The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914—1991]. M., 2004.

THE VOLUNTARY WORK BASED VILLAGE ACTIVISM IN CONTEMPORARY FINLAND

I.V. Kopoteva*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russia

The article considers the voluntary based village activism in contemporary Finland. The author sees the roots of nowadays village activism in the traditional voluntary work: cultivation of common fields called for cooperation, and decision making on common issues required organisation of village meetings to make a collective decision. As a large social movement the village activism started in 1970s in the course of protest actions driven by the diminishing rural population and abandonment of arable lands. A large-scale establishment of village committees was also determined by the reduction of importance of traditional rural productive cooperation and by the changing role of countryside in the era of industrialisation. Nowadays Finland has a well-developed system of village associations, and its structure consists of three levels: village level, regional level and national level. At the local level, there are more than 4200 villages. In 2013, about 3100 villages had a registered village association and about 930 villages had a non-registered village association. Approximately 200 villages in Finland still do not perform any village activities of the considered type. As a rule, village activism generates in response to the specific needs of the village and aims to guarantee its residents' well-being. At the regional level, there are 19 regional village associations. The most important tasks for the regional rural organisations are to ensure the villages' interests and to work as a cooperative body for the rural development at the regional level. The top of the system under consideration is the Village Association of Finland. It is an umbrella organisation for the state, regional and local rural actors. The current development of rural movement in Finland could be evaluated in the framework of several theoretical conceptions: social capital and networking, entrepreneurial culture, and institutionalisation.

Key words: Finland; rural development; voluntary activism; village association; village movement; village activism; social action; rural settlements

Finland has a large proportion of rural areas that compose approximately 95% of the total area of the country; one third of population (1,6 million) live in rural areas. The Finnish countryside has experienced dramatic changes as many other countries in the last decades: ageing of population and outflow of younger generations have reduced the scope of the business activities of many rural municipalities, quite often work commuting is the only possibility for getting an income. The loss of population led to the radical reduction of services in rural areas: municipal transport connections between regional centre and villages reduced strongly; to get many municipal social services rural dwellers have to visit urban centres. The state and regional services are under changes too, and the most tragic change for the village is closing of rural schools, which are often centres of rural live and all activities. The main reason for such tendency is difficult economic situation and attempts of municipal authorities to reduce the expenses. Many small departments of different services were merged into bigger entities; railway stations, police stations, tax offices, post offices were closed in villages and small towns. The same tendency can be found in the private sector too: the number of rural shops, repair shops, etc. has reduced strongly in rural areas. Thus, village communities have to adapt to the new situation even if in some villages there is a growth of population.

* I.V. Kopoteva, 2016.

Villages are different and differently cope with the situation. Villages have long histories, the population dynamic differs as well as the economic development, so there are significant differences in villages' goals depending on how the villagers define their common will. There is a variety of ways to create a village administration and determine a way to implement organisational activities. For many villages the development effort become more and more difficult because of demographic, economic, and political situation. On the other hand, the changing funding conditions open new opportunities for villages but require learning new management skills for implementing projects at different levels.

In this paper, I focus on village activism, voluntary based rural development in Finland. The first section presents a short overview of the history of Finnish village activism; the second part — the structure and goals of the Finnish village movement and village associations; the third part — analysis of two cases (local and regional) to see the current activities and tendencies in the work of village associations in Finland.

The village activism has a long tradition in Finland. The history of activism and its trajectories can be written through different perspectives: the most common is probably the perception of village activism as a form of traditional rural voluntary work, see for example, work of Torsti Hyyryläinen [6]; village activism roots can be found in the history of village administrative structures — this approach is supported by Anttila [2], Holmila [5], Katajamäki [7]. For this article the first interpretation of rural activism serves the best.

So, the roots of village activism can be seen in the traditional voluntary work. According to Hyyryläinen [6], Finnish village actions or village movement in its modern form of village committees appeared in the mid-1970s. A large-scale establishment of village committees was determined by the reduction of importance of traditional rural productive cooperation and by the changing role of countryside in the era of industrialisation. This led to the reduction of livelihood opportunities in rural areas and to the deterioration of services, as well as to the demographically negative tendencies. In the 1960s the rural birth rate declined strongly, outmigration from rural to urban areas increased considerably, the number of pupils in rural schools declined and the demand for services was contracted [6].

Although the village actions emerged only in the 1970s, the self-identification of villagers as responsible citizens by non-governmental organisations was mentioned already in the XVIII century. In 1860—1870's the first voluntary organisations were the fire brigades, which were based on the principles of equality and self-management. The gentry and the peasantry worked side by side in such brigades [6. P. 31—33]. The principles of association and the growth of individual citizens' awareness were transferred to other local organisations to use. In rural areas, the most contributing organisations were farmers associations, sport clubs, temperance organisations, work-class organisations as well as youth clubs. Through these associations the local cooperation and contribution to the political principles and common ideals became significant. In 1979 there were 424 village committees; in 1982 already 1700 [6. P. 28, 50—51]. The development of village activism depended on the general increasing interest to the rural development from the state and research institutes in the 1970s. Many new parties for the rural development emerged in Finnish countryside at that time. In the 1990s the new stage of village activism started when the European Union introduced new funding opportunities

for municipalities to secure rural services. More and more village committees were registered as associations or cooperatives so that they would be able to take the financial responsibility and seek funding for development projects. The number of unregistered village committees continued to decrease. Thus, Finland has more than 4200 villages, and in 2013 about 3100 villages had a registered village association and about 930 village had a non-registered village association.

There are three levels in the structure of village movement in Finland: at the national level there is the Village Association of Finland, an regional level — 19 regional associations, at the local level — more than 3000 registered and 900 non-registered village association. The Village Association of Finland (in Finnish: Suomen Kylätoiminta ry, or SYTY) is an umbrella organisation for the state, regional and local actors of rural development (in 2013 more than 130 member organisations). The membership in the Village Association of Finland is open only for organisations not for individuals. This Association includes not only rural sector actors, but many others too, for example, at the national level they are Pension Association, Rural Education Association, Forestry Development Centre Tapio, Finnish Local Heritage Association, Finnish Local and Regional Authorities Association, Finnish Hunters' Association, Finnish Youth Association, Finnish Taxi Association, etc. At the regional level, there are 56 Local Action Groups (LEADER groups), 19 regional rural associations and other organisations, such as Regional Council of South Karelia, South Ostrobothnia Federation of Municipalities, Regional Council of Kainuu, Regional Council of Lapland, etc. At the village level, a rural association can be a member of the Association though regional organisations or can directly join the national level organisations. Basically the national level organisations are a kind of forums for the sub-regional, regional and local association; village associations tend to belong to the regional level. At the webpage of the Association there is a full list of its members: through its three levels' membership the Association unites 4000 villages and their 3 million permanent and 1.7 million temporal inhabitants.

The Village Association of Finland was established in 1997 when the European Union activities and the LEADER approach for rural development just started to work in Finland. At the same time eight regional village associations were established in Finnish regions — nowadays there are 19 of them. The party politically independent Association works in cooperation with the key rural developers like Finnish Parliament, different ministries, research institutes and the rural sector's other organisations. It also has strong links with ERA (European Research Area Coordination Programmes) and ERCA (European Rural Community Alliance); through the LEADER Program the Association established relationship with ELARD (European LEADER Association for Rural Development). The Village Association of Finland has an elected board of ten people, the chairman and ten vice-members to substitute each member of the board if necessary. The board is elected at the annual general meeting with "the one third principle" in the election procedure: one third of members represent the national level organisations, mainly non-governmental; one third — regional organisations; the last one third — other rural development organisations with the priority of Local Action Groups. Besides, one member has to represent the Swedish speaking minority. Each member of the board is elected for two years.

Regional village associations were created in the period from 1989 to 2000 in each region, and the last — in Eastern Uusimaa and Southwest Finland, thus this village activities for the first time embraced the whole country with the exception of the Åland Islands. Regional associations are independent NGOs operating in alliance with the Association at the national level. Each regional association is an organisation in its own right and not a branch of the Association. It is not a hierarchical structure, rather a forum for cooperation between villages and those concerned with their development. The most important tasks for the regional level rural organisations is to work as a co-operative body in the interests of rural development at the regional level. Regional associations promote and support the activities of the villages by providing training, advice and a variety of events. Members of regional associations are villagers, village and other associations, municipalities, and other partners.

All regional associations are different, there is no typical model: each of them has its own charter, structure, composition, and priorities. They are different because territories they work at have different histories, number of villages and rural population, local and regional organisations participating in rural development. Regional associations were established through the village associations (three members are enough for that). Usually board of regional organisations has from 6 to 10 members, the chairman and 6—10 vice-members to substitute each member of the board; some regional organisations have a secretary; every regional organisation has a so-called rural agent (in Finnish: kyläasiamies). Membership in regional organisations can be different, but all members must be a registered body. The main members of regional organisations are village associations; municipalities, other rural development or local organisations also can be a member of a regional association, and individuals as well (usually of non-registered village associations).

There are about 4200 villages in Finland, and majority of them have registered or non-registered village associations. Table 1 shows that the number of registered associations grows while the number of non-registered associations declines primarily due to the reduction of the funding opportunities through national programmes, the LEADER and the European Union. In many programs only registered bodies can participate, and there is not many grantors to support projects of non-registered organisation though some municipal, regional and national program provide small grants for non-registered associations and working groups. For example, the Arts Promotion Centre of Finland (Taite) in the framework of “Good Village”-project distributed grants for the art activities in rural areas.

Table 1

Village associations in Finland, 2007–2013

№	Types of associations	2007	2008	2009	2010	2011	2013
1.	Registered village associations	2 730	2 800	2 900	2 810	2 989	3100
2.	Non-registered village associations	1 170	1 100	1 000	1 033	981	930
3.	The total value of the project funding for the development of villages (including private money and voluntary work), million EUR	17	13	25	38	45	n/a

Often village activism is defined as a traditional voluntary or social organisation, however, village associations possess specific functions that makes their work more challenging. A village association is not a stakeholder but rather a geographical agent; it is more an idea than organisation; it is a residential community and locality-bounded identity. Thus, the majority of village activities are localised and implemented in response to the specific needs of a village and aims to support its residents' well-being. Organisational forms of village activism can be different, there are no rules what it should be — only good examples. For instance, the Village Action is voluntary; people are involved in its activities freely as in all other non-profit organisations. This leads to the fact that its resources are scarce but optimally used. In different activities of Finnish village associations a huge number of volunteers participates, and this is one of the basic principles of the system together with democracy for any undemocratic village association is by definition sentenced to death.

Finnish village associations are characterised by independence and cooperation; their soul and strength depends on the autonomy of actions not only formally but also in practice. No one can speak on behalf of the villages except the villagers themselves, aims and interests of the village are crucial though village associations often have strong links. Independence does not lead to isolation, on the contrary — to cooperation with other villages, local authorities, even with the EU, to strengthen the village. Unfortunately, due to the ageing of rural population the village activism is ageing too: about 40% of volunteers are older than 60 years; 20% are 50—60-year old.

In 2013 in Finland there were 68 rural agents (in Finnish: kyläasiamies) whose role was to act as messengers between villages and decision-makers. Rural agents are working on sub-regional (33 rural agents), regional (19) and in some cases municipal level (16). The system of rural agents emerged in 2002, when each regional association got at least a part-time employee through the national network project “Equal” of the Village Association of Finland. Next year the idea was supported by the state, and since 2003 regional rural agents were partly paid by the state subsidies. In 2016 the state subsidies for rural associations were reduced, which influenced on the number of paid working hours of rural agents. However, there are funding opportunities through different projects.

Many rural agents believe that policymakers should dare to rely on the expertise of villagers on everyday life and general issues more, and the interaction between the city management (municipal and regional government) and the villages should be more active. In many cases villagers have the best expertise in local affairs of their own village and know better what is good for the village. So rural agents work as a linkage between authorities and rural inhabitants. In order to communicate with the authorities, rural agents have to know very well every possible situation in their region; they participate actively in rural local development. The villages develop not on the basis of top-down instructions but on the basis of interaction with local and non-local actors to meet local needs and support community's well being and positive mood. Rural agent bring a positive spirit into villages, invent and provide tools to meet villages' needs; advise, guide and organise trainings according to the needs of villages, thus, carefully listen to the voice of villages. Another task for rural agents is to help villages to make a plan or update

an old one, to make a financial plan, to write applications, to help with organisation of events, to register a new village associations, etc. Besides, rural agents participate in many village events in their region. So, if to speak about different roles a rural agent plays they are: an enthusiast, creator, traveller, specialist, project manager, treasurer, networker, trainer, self-employed coach, communicator, interpreter, rock-star, etc.

Let us consider two cases: one is from the local level, the second is a regional level organisation. At the lower level, I will take Vitsiälä village association which celebrated this year the 25th anniversary and consists of a few small villages forming a part of a larger Mikkeli municipality, Etelä-Savo region. On this example one can see that the process of integration of municipalities did not influence the local activities: small villages were not lost within the bigger urban area due to the active rural population. At the regional level, I will consider a Pohjois-Savon kylät ry — North Savo villages association.



Logo of the Vitsiälän village association

Vitsiälä village society (non-registered association) was founded in 1980 and includes several villages: Heimari, Löytö, Sattila, Vihkko and Vitsiälä. At that time residents of these villages decided to join forces and set up a Vitsiälä village society. At the village meeting in February 1980, the first Chairman and nine members of the board were elected; besides, a list of improvement and development proposals was made. In 1987 one village was elected as the best village of the year in Ristiina municipality — Löytö village. The explanatory memorandum stated that the village society used its own merits and funds for its development. In 1991 Vitsiälä village society was registered as association. In 1992, Löytö-Vitsiälä-Sattila-Heimari village was elected as the best village of the Mikkeli municipality. At that time there were about 320 permanent inhabitants and about 65 summer residents. When making the selection the jury emphasized the recent developments of the villages and the effectiveness of planning activities. Over years the village association has been active in numerous projects; many proposals of the first meeting of the village society in 1980 were implemented. For example, improvement of the Saimaa lake shore by the villagers: or after closing the rural school village associations organised a children day care.

In 2009 Ristiina municipality donated to the village association about a hectare of land and a barrack located next to the former school. For the reconstruction of an old barrack into a village hall, the village association applied for and got funding from the Mainland Finland Rural Development Programme; supplementary money of private persons and local enterprises were collected; and with the help of volunteers the village hall was opened at the end of 2009. Before that the majority of village events took place in Löydön Kartano (a historical manor house built in 1890's in Ristiina, Mikkeli). The village hall provided the rural inhabitants a space for the community needs. In 2011 the village association celebrated its 20th anniversary in their own village hall Sampola. In the same year a village book about history of the villages and village association was

published. In the next years the village hall has been renovated: the ceiling was raised, a new storage space was constructed, an additional room was made — last works were completed in May 2015.

Except reconstruction and improvement works (village hall, lake shore and pier) village associations organise a lot of events for the local population. Last year these were: African cooking course, several art exhibitions, pop-up restaurants, market days, collection of local stories and photos for the village historical book, celebration of different events, for example, Independence day, Christmas, Easter, etc. Some of these events brought money in the village association budget, for instance, when villagers organised several pop-up restaurant days for rural inhabitants and their guests, make real restaurant food and took good price for it (about 25 Euros per lunch per person). So the entrepreneurship culture has developed in the recent years of association active life. The norms and values of the market economy have become a part of the local development work. Thus, in 2016 the village association was again selected the best village but on much wider territory — Etelä-Savo region.

This year the association celebrates its 25th anniversary, the status of the best village of the region, and publishing a new Village Book. However, the tasks of the village association have not changed over years and include the representation of collective interests and belonging to the municipality in the decision-making process, increasing of comfort and well-being of villages.

North-Savo Villages Association is a regional level organisation founded in 1993 to unite villages of North-Savo region, to promote cooperation between rural dwellers, to support their self-reliance. There are 18 rural municipalities and about 300 villages on the territory. As an ordinary member of the regional association a village



Logo of the North Savo
Village association

association or even a person interested in North-Savo Villages Association's activities can be approved. A person or a legal entity that wishes to support the activities of the association can be accepted as supporting member. Nowadays the association includes 65 village associations, 16 individual members and one supporting member (a local pharmacy). The main activities of the association are communication and information distribution among villages and other stakeholders, organisation of meetings and seminars, introducing regional development projects, implementation of North-Savo village Program, contacts and networking with regional and national authorities and other organisations involved in the rural development.

The activities of the associations can be divided into several levels: at the village level the regional association usually does not organise events but can help (distribution of information about village events through its website, for instance). The activities of the associations are mainly focused on the regional level — there are seminars and workshops for village associations like tax workshop; cultural, sport and other activities like regional virtual hobby trial for North-Savo villages; distribution of information about the association annual plans, about villages with links to the villages' websites or facebook pages, links to municipalities websites. Majority of villages have own websites

or at list a group in the Facebook with a list of summer amateur theatres in which rural inhabitants can participate.

A very interesting part of the Association website is “Village activity tools” — some useful tips and links to help village activities be put together. It starts with an information how to register a new village association; there is an information about free of charge legal help and advices, which the Village Association of Finland gives its members; a questionnaire model for collecting general information about villages, village plan form as an instrument of village development, form of a rescue plan, important information for village halls, etc.

North-Savo Villages Association maintains a regional village registry at its website, in which the basic information about villages and contacts can be found (of about 300 villages). Through the electronic letter and members’ newsletter the Association reminds to notify about changes in the village life. The village register also collects information about village halls, youth clubs and other spaces, rooms, which the locals can use for common needs.

North-Savo Villages Association participates in the national events such as trainings, seminars and annual meetings organised by the Village Association of Finland. Usually the board of regional associations make a decision about participation in national events according to the availability of resources. One of the most important annual events is the “The village of the year” which starts at the regional level — North-Savo Villages Association as all other regional associations organised the selection of the best village of the region on the basis of information about activities during the year, participation in different projects, cooperation with different actors, fundraising initiatives, etc. At the next level the best regional villages participate in the national competition (in 2016 it was already the 32nd selection of the best village). The “The village of the year” generates ideal models and criteria, which represent an active village — planning, projects, village as a welfare producer, cultural heritage and the spirit of the village, management techniques within development projects and creation of rural products and services. In the long history of this contest the criteria has not changes in general, but some additional points were added to evaluate the village activism (cooperative spirit, open attitude in local operations; local activities became more commercialised, entrepreneurial culture become more visible).

Another important national event is “Open village” that started only in 2013 and in 2015—2016 spread across the country and engaged more than 400 villages. North-Savo Villages Association participated in this event in all three years with the dancing evening, flea markets, village walks, village tourism, family day, dinner at the village hall, the auction, sport activities, etc. — to attracts visitors to explore the village activities and business destinations. In 2017, a year of 100 years of Finland independence celebration more than 800 villages will participate on the “Open village”.

Thus, Finland has well structured system of voluntary rural organisations thanks to its historical economic and rural development. With the deterioration of economic and social situation in rural areas, the local population started to defend its own interests in 1970s, however, some roots of village activism can be found even in 1880s. The current development of rural movement in Finland should be considered in the framework of several theoretical concepts: social capital and networking, entrepreneurial culture,

and institutionalisation. The social capital concept helps to focus on the interpersonal and intergroup relations and their impacts on the collective activities [11. P. 285]. The main idea is that social capital improves well-being of communities and societies, for example, makes collective problem solving and interaction easier [10]. In the Finnish village movement one of the most important things is activities of local population that is ready to protect its interests, express its opinion on local development issues, rise a voice in order to be heard, consolidate resources, forces, and voices to solve local problems and improve situations. Besides, active villages are not isolated, they are usually closely linked with each other. Partnership and cooperation became indispensable part of everyday life of rural dwellers and their associations and gave an additional impulse to the rural development.

Activities of the local population promote the entrepreneurial culture, so the norms and values of market economy have become a part of local development work. Entrepreneurial culture is the core value of neoliberal society, in which the citizens are considered irresponsible and autonomous consumers and entrepreneurs, so that competitive spirit extends to all areas of life [3. P. 576—577; 4; 12. P. 66]. On the one hand, villagers and their associations are autonomous, their decision making processes are based on the needs of particular villages. On the other hand, they are a part of the wider world, they live in the competitive surroundings and need an entrepreneurial spirit to adapt to the changing environment, to improve situation in the villages, to improve their well-being.

The institutionalisation of village activism started from the some actions to protect interests of rural inhabitants, from the step-by-step increasing of village associations and generated a massive village movement and a strong three-level system of village associations in the country. The local institutionalisation of village activism, on the one hand, means increasing structures and mechanisms of cooperation among different agents of rural development and formation of their well-organised system (village associations become more effective and powerful). On the other hand, it means bureaucratisation of practices, formation of more official attitudes [8. P. 3]. Nevertheless, the village movement nowadays develops as a social and political institution. In the 1970s there were protest actions driven by the decline of rural population and abandonment of arable lands; the movement was not a political one, but the rural areas also launched a political counterattack, which widened the area of village action [13. P. 50—51]. Currently with the development of entrepreneurial culture the village movement could be seen also as an economic institution.

REFERENCES

- [1] Alapuro R., Stenius H. Kansanliikkeet loivat kansakunnan. Teoksessa Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds & Henrik Stenius (toim.) *Kansa liikkeessä*. Jyväskylä: Gummerus, 1987.
- [2] Anttila V. Kyläyhteisöjen kulttuurinen integraatio. Teoksessa Päiviö Tommila ja Ismo Heervä (toim.) *Muuttuva kylä*. Vaasa: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1980.
- [3] Dean M. Governing the unemployed self in an active society. *Economy and Society*. 1955. Vol. 24. No. 4.
- [4] Harvey D. *Uusliberalismin lyhyt historia*. Tampere: Vastapaino, 2008.
- [5] Holmila M. Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa. *Yhteisöelämän muutos ja jatkuvuus*. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001.

- [6] Hyyryläinen T. Toiminnan aika. Tutkimus suomalaisesta kylätoiminnasta. Vammala: Line Sixtyfour Publications, 1994.
- [7] Katajamäki H. Suomen maaseudun evoluutio. URL: www.ruralstudies.fi.
- [8] Kumpulainen K. Village Action and the Production of an Active Village. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012.
- [9] Kumpulainen K. Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisua. Alueiden kehittäminen. 2014. No. 33.
- [10] Putnam R.D. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- [11] Ray C. Neo-endogenous development in the EU. P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (eds.). Handbook of Rural Studies. London: Sage, 2006.
- [12] Saastamoinen M. Riskitodellisuus ja aktiivisen kansalaisuuden ihanne. Teoksessa Mikko Saastamoinen & Pekka Kuusela (toim.) Kansalaisuuden ääriviivoja. Hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla ajalla. Helsinki: Yliopistopaino, 2006.
- [13] Uusitalo E. Finnish rural policy and local initiatives. Finnish Journal of Rural Research and Policy. 1999. No. 2.

СЕЛЬСКИЙ АКТИВИЗМ И ЕГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ИСТОКИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНЛЯНДИИ

И.В. Копотева

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия

Статья посвящена развитию добровольческого сельского движения в Финляндии. Корни сельского активизма можно увидеть в традиционной добровольческой работе — обработка общих полей требовала сотрудничества, совместного принятия решений, проведения сельских сходов. Начало сельского движения в Финляндии относится к 1970-м гг., когда прошли первые массовые сельские акции протеста вследствие массового оттока населения из сел в города и отказа от пахотных земель. Масштабному созданию сельских комитетов предшествовало снижение значимости традиционного сельского хозяйства и изменение роли села в эпоху индустриализации. В результате сегодня Финляндия имеет хорошо развитую систему сельских ассоциаций, функционирующую на трех уровнях: местный или сельский уровень, региональный уровень и государственный/национальный уровень. В настоящее время в Финляндии насчитывается более 4200 деревень, и в 2013 г. зарегистрированные сельские общественные организации существовали в 3100 из них, еще 930 деревень имели незарегистрированные сельские общественные организации. Сельский активизм повсеместно развивается в ответ на конкретные потребности деревни и направлен на улучшение социально-экономической ситуации и обеспечение благополучия ее жителей. На региональном уровне существует 19 региональных сельских ассоциаций, главная задача которых — помощь организациям низшего уровня и работа в качестве связующего звена организаций, заинтересованных в участии в сельском развитии на региональном уровне. Возглавляет систему финского сельского активизма Финская сельская организация — зонтичная для государственных, региональных и местных акторов, прилагающих усилия для развития сельских территорий. Для социологической оценки современного сельского движения автор предлагает использовать три концептуальные модели: социальный капитал и создание сетей взаимной поддержки, развитие и распространение культуры предпринимательства за рамки сугубо рыночной деятельности, разные формы и стратегии институционализации добровольческой деятельности.

Ключевые слова: Финляндия; сельское развитие; добровольческая активность; сельская ассоциация; сельское движение; сельский активизм; социальное действие; сельские поселения.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ

О.В. Аксенова*

Институт социологии Российской академии наук, Москва, Россия

В статье рассматривается отношение современных российских профессионалов к инновациям, основанное на ценностях, сложившихся в течение трех столетий модернизации. Уточнено понятие современности: постмодерн в профессионально-управленческой сфере представлен гибкой технологической системой, глубоким разделением труда и высокой специализаций, формализованными человеческими взаимодействиями, а также лимитированной субъектностью человека. Нормы и ценности определяются как внешние и внутренние регуляторы действий профессионалов. Ведущую роль в технологической системе постмодерна играют внешние регуляторы, тогда как в российском и советском индустриализме приоритетным является ценностное регулирование. Показана исторически сложившаяся трактовка российскими профессионалами модернизации как развития, которое включает в себя научно-технический прогресс и всестороннее развитие человека. Выявлена прогрессистская традиция профессиональной деятельности, в которой профессиональные и гражданские ценности связаны практически неразрывно. Современные институциональные инновации, внедряемые в ходе реформирования различных отраслей, можно разделить на те, что профессионалы принимают, и те, что ими категорически отвергаются. Определены основные критерии оценки данных инноваций. Главными из них являются сохранение субъектности человека в сфере профессионально-управленческой деятельности, а также осмысленность и ценностное обоснование его действий.

Ключевые слова: модернизация; инновации; реформа; технологическая система; традиция; профессионалы; ценности

Институциональные и ценностные перемены в российском обществе находятся в центре социологического дискурса, связанного с проблемами модернизации. Важной, с нашей точки зрения, особенностью исследований этих трансформаций является их нормативность, неизбежная по причине заранее заданной цели, которой является состояние современности, достигнутое в развитых западных странах (модерн или постмодерн в зависимости от эпохи). Ценности становятся одним из главных препятствий на пути общества к достижению данной цели, так как в отличие от институтов они меняются трудно и медленно [4; 5; 9]. Институциональные изменения нередко вызывают отторжение на ценностном уровне, в том числе у профессионалов и управленцев, которые должны их осуществлять. Это неприятие перемен, с нашей точки зрения, нельзя свести к противостоянию возникающего нового и отживающего старого. В этой связи необходимо разобраться в том, что представляет собой традиция, какие инновации ею принимаются и какие отвергаются, по каким причинам это происходит, наконец, что именно следует изменить: ценности, реформы или саму цель реформ.

В данной статье представлены результаты анализа, направленного на выявление ценностей и основанных на них установок российских профессионалов (ин-

* © О.В. Аксенова, 2016.

женеров и врачей), которые делают неприемлемыми или, наоборот, желательными инновации, внедряемые в ходе современной модернизации (1).

Прежде чем перейти к рассмотрению ценностей российских профессионалов, нужно уточнить ряд категорий. Прежде всего сама цель трансформаций, современность, здесь не связана с привычным социально-политическим набором свойств (выборная власть, гражданское общество, права человека и т.п.). Постмодерн в профессионально-управленческой сфере представлен гибкой технологической системой, глубоким разделением труда и высокой специализаций. Человеческие взаимоотношения в этой системе формализованы и функционализированы, субъектность человека если не исчезла полностью, то существенно лимитирована, поскольку необходимость строгого следования технологическому алгоритму не оставляет человеку свободы профессионального действия [10]. Ценностное регулирование этого действия сомнительно, несмотря на наличие раздела «корпоративные ценности» на сайтах транснациональных компаний. Главными регуляторами в указанной сфере скорее являются нормы.

Следует отметить, что четко определенной границы между ценностью и нормой нет. Часто эти понятия используются практически как синонимы. Общепринятым определением ценностей является предложенная Н. Смелзером и Э. Гидденсом их трактовка как идеальных целей и принципов, способов их достижения или реализации, детерминированных культурой или являющихся ее элементами (2). В свою очередь нормы — это правила, предписывающие или запрещающие определенный тип поведения, их действие обеспечивается различного рода санкциями [7]. Э. Гидденс полагает, что ценность есть абстрактный идеал, а норма определяет конкретно, что можно, а что нельзя [2].

Специфика системы, в которой действуют профессионалы, диктует иное разграничение ценности и нормы. В рамках представленного здесь анализа норма определяется как внешний ограничитель действий профессионала, как инструкция, правило, алгоритм, приказ и т.п. Ее интериоризация сводится к выучиванию наизусть. Ценность рассматривается в соответствии с указанным выше определением как идеальная цель или жизненный принцип, как регулятор внутренний в том смысле, что он требует понимания и эмоционального переживания. Высокоразвитая технологическая система строится на внешних ограничителях. Они, в отличие от ценностей, поддаются исчислению, предсказуемы, а потому надежны. Ценности в ней предельно редуцированы: жизненным принципом здесь может быть лишь безоговорочное выполнение алгоритма, не подразумевающее его осмысление или понимание.

Наши исследования показали, что одной из главных особенностей российского модерна является сохранение субъектности профессионала на всех этапах его становления, начиная от реформ Петра I. Российский и советский профессионал должен был обладать фундаментальными научными знаниями, умением самостоятельно мыслить и принимать решения. При всей значимости норм ценности играли ведущую роль в регулировании его деятельности. Главными из них являются следующие: ценность своего дела и установка на достижение мастерства

в нем, свобода профессионального действия и ответственность за его выполнение, прогресс, понимаемый как развитие науки, техники и всестороннее развитие самого человека [1]. Кроме того, профессиональные ценности неотделимы от гражданских. Наши респонденты в число профессиональных принципов своей деятельности включают порядочность, совесть, справедливость, активную жизненную позицию и ряд других.

Ценности российских профессионалов формировались в течение трехсот лет российской модернизации, а потому их можно считать традиционными. Практически все реформы в России начинались с попыток «клонировать» западную организационно-технологическую систему. Последняя была предпринята в период советской индустриализации. Институциональные трансформации были ориентированы на подготовку узкого специалиста, выполняющего строго определенную функцию. Однако уже в конце 1930-х гг. традиционный подход к профессиональной деятельности был реставрирован [7]. Индустриализация, проводившаяся в экстремально сжатые сроки, требовала профессионала-универсала, способного действовать автономно, при необходимости отступать от инструкции, но так, чтобы это не привело к катастрофе. Для этого ему нужны были достаточно глубокие научные знания.

Современная ситуация во многом близка к той, что имела место почти сто лет назад. Модернизация в очередной раз носит догоняющий характер. Так же, как и в начале 1930-х гг., предпринимается попытка создать в России технологическую систему западного типа, с ее приоритетом внешних нормативных регуляторов, с формализованной парадигмой управления. Главным источником такого рода трансформаций в профессионально-управленческой сфере снова является управляющий центр.

Отношение профессионалов к осуществляемым реформам нельзя охарактеризовать как однозначно положительное или отрицательные. Есть целый ряд инноваций, которые они отвергают категорически, но есть и те, которые они принимают.

Прежде всего, все без исключения наши респонденты отрицательно относятся к реформированию образования. Неприемлемыми являются переход к очень узкой специализации, к тестовой проверке знаний, а также коммерциализация университетской подготовки. Например, наш респондент, инженер, на практике знакомый с работой коллег в Австрии, Германии, Чехии, уверен, что для России копирование их модели опасно, и свою позицию аргументирует. Его сопоставление западной и советской инженерных школ мы приводим почти полностью: *«Наше образование приближается к западноевропейскому. У них цепочка подготовки начинается в детском саду, потом продолжается в школе. Дети сами ничего не решают, за них решения уже в начальной школе принимают, проверяют по методикам, если есть предрасположенность к техническим наукам, будет специалистом технической направленности. Ближе к высшей школе корректируют, сужают специализацию и учат дальше. Прежде чем поступать в университет, необходимо найти рабочее место, заключается контракт между университе-*

том, студентом и будущим работодателем. В университете они получают очень конкретные компетенции, заканчивают университет в 25 лет, идут на конкретное рабочее место. Специалист в результате настолько узок, что переместить его на другую специальность невозможно. Если не нашел себя, не вписался, то это катастрофа для всех. Если может уйти к конкуренту, должен заплатить своей компании. У советской инженерной школы широкие знания позволяют понять любой процесс, адаптироваться к любой системе. Для обороноспособности страны — это очень хорошо. Потери во время войны компенсировались, приходили специалисты, которые осваивались на новой работе после короткого промежутка времени. У нас сложился отдельный уклад, не надо перенимать модели Западной Европы. Молодые специалисты уже немного другие, у них другая реализация жизненной программы, а жизненная программа задается семьей и системой образования. Приходит специалист по-европейски узкоспециализированный, узкозачоченный, его приходится переобучать. Нет нужды в такой предельно узкой ориентации, в 90% все равно надо адаптироваться к предприятию. К тому же у них система образования платная. Россия страна бедная, у нас почти нет среднего класса, а молодежь — наше будущее. Платность закрывает образование способным детям из множества семей, которые не могут заплатить за учебу. У советской системы образования была человечность, ориентированность на социум. Не было цели производить услуги. Цель была дать образование детям из как можно более широких слоев населения. На Западе нет ориентированности на социум. Сейчас заказчики системы образования — корпорации, часто глобальные. В каждой стране они оставляют заявки, сколько и какого образования им надо, а все остальные по остаточному методу. Бюджетных мест с каждым годом все меньше, они сокращаются. Все это подрыв обороноспособности страны».

Тестовая система проверки знаний ведет к катастрофе, по мнению профессионалов старших поколений, а это обширная возрастная группа 35—80 лет), с ними согласны и респонденты из числа молодых инженеров и врачей (25—30 лет), некоторые студенты (20 лет). Например, студент-медик характеризует обучение в своем вузе следующим образом: «Как учились мои родители, и как учимся мы — это небо и земля. Мы в яме. Их учили думать, а нас — вы зубрить и ответить». Такую же оценку дает инженер среднего возраста: «Сейчас выпускники технических вузов не понимают истинных, глубинных процессов. Когда я на пальцах им начинаю рассказывать, они удивляются, что это можно так объяснить. Я говорю, что можно представить собственное тело как конструкцию, тогда многое станет понятно». С ним солидарен его восьмидесятилетний коллега: «Молодежь чудесная, прекрасно разбирается в программах, я и сам их все освоил, но программы очень плохо работают в узлах конструкции, а ребята не понимают физических процессов, которые в них происходят, и это опасно».

Практически все респонденты медики говорили о важности клинического мышления, определяя его так же, как известный невропатолог Л.Б. Лихтерман: «Клиническое мышление — это реализация высшей формы отражательной деятельности мозга, человеческого познания, мыслительных операций (анализ и син-

тез, сравнение и различение, суждения и умозаключения, абстракции, обобщения и др.) применительно к задачам медицинской диагностики, прогностики и тактики лечения. Исходя из этого общего определения полагаю, что клиническое мышление врача есть способность охватить, проанализировать и синтезировать все данные о больном, полученные различными путями, при одновременном сравнении с ранее встречавшимися наблюдениями, книжными знаниями и интуицией (опытом) для установления индивидуального диагноза, прогноза и тактики лечения» [3]. На языке бытового клиническое мышление есть умение думать, опираясь на знания фундаментальных законов природы, используя интуицию.

По мнению врачей, реформа образования не позволяет данному типу мышления сформироваться: *«У врача должно быть клиническое мышление. Люди, которые выросли на тестах, не умеют разговаривать с пациентом и не умеют думать. В клинической задаче нет вариантов ответа, более того, в медицине вполне возможно, что дважды два не четыре, а десять. Медицина, она конечно доказательная, но организмы разные бывают»* (из интервью с заведующей отделением).

Неприятие вызывает и формализация труда, а также разрушение целостности его предмета. С этими процессами тесно связано и вымывание гражданских ценностей, на необходимости которых настаивают наши респонденты. Особо наглядно традиционные ценностные ориентации российских профессионалов проявляются в реакции участковых терапевтов на реформу городских поликлиник в Москве: *«У нас убрали вызовы. Я работаю в поликлинике 17 лет, для меня это страшно. Я знаю своих бабуль-хроников много лет. Сейчас к бабушке приходит дежурный доктор, который ее видит первый раз. Ему надо за пятнадцать минут про нее все понять. Потом придет совсем другой врач. Потом ко мне придут ее родственники: «Бога ради, назначьте что-нибудь!». Я не имею право назначать заочно. Значит, либо ты бежишь в свободное время, либо должен сказать им, чтобы выкручивались сами. Поэтому, несмотря на то, что участковый врач сохраняется, я считаю, что больные брошены. Дело не в том, что на вызовы плохие врачи могут ездить, просто вникнуть во все им не реально»; «Нужно вернуть прежний прием и вызовы. Я своих бабушек не вижу. Имею право четырех больных раз в месяц посетить (патронаж), должна выбрать кого, этого совершенно недостаточно»* (из интервью с участковыми терапевтами).

Участковый терапевт был центральным звеном советской системы здравоохранения, созданной Н.А. Семашко на основе опыта земской медицины. Установка на ответственность за своих больных сохранилась в полной мере до настоящего времени. Опрошенные нами терапевты говорили о профессиональной совести, которая заставляет работать в свободное время, об ответственности за больных на своем участке. Ответственность не делает жизнь комфортной, в то же время врачи испытывают дискомфорт от ее нормативной, институциональной отмены.

В то же время есть составляющие реформы, которые одобряются врачами. Прежде всего, это упорядочение приема и облегчение записи пациентов на прием. Сейчас в Москве это можно сделать через Интернет, пользуясь смартфоном. Устраивает врачей и ограниченное количество пациентов. При этом они негативно

относятся к восьмичасовому рабочему дню, так как, по их словам, внимание доктор может концентрировать в течении максимум шести часов.

Есть еще один элемент реформы, который может быть принят, но при определенных условиях. Московские терапевты уже обязаны лечить пациентов самостоятельно, направлять их к узким специалистам лишь в случае, если в течение определенного срока не смогли справиться с болезнью. Кабинет врача общей практики, пока еще не созданный, предполагает и наличие необходимого оборудования, включая офтальмологическое. Идея менее специализированного подхода к лечению больного соответствует традиционным установкам: *«Я не люблю передавать своих пациентов узким специалистам. Я многое готова лечить сама, поэтому я не против быть врачом общей практики. Это здорово: сам думаешь и сам принимаешь решение»* (из интервью с терапевтом). Условие, при котором данная инновация может быть привлекательна и оценивается как перспективная для России: наличие клинического мышления. Доктор должен уметь думать.

В то же время стандарт оценивается положительно, если он определяет, например, ряд общих обязательных действий, которые нельзя нарушить. Выпускник медицинского вуза эту последовательность обязан знать наизусть. Этот алгоритм служит своего рода «защитой от дурака», и уж точно защитой от рисков, которые рождены неопытностью молодого врача. Одновременно, заданная и заученная последовательность не должна распространяться на весь мыслительный процесс. Примерно так же оценивают необходимость стандарта и врачи скорой помощи. Они полагают, что стандарты деятельности, во-первых, нужны контролирующим организациям, во-вторых, минимизируют ущерб от действий человека, неспособного к профессиональной рефлексии: *«Любые стандартизованные рекомендации не возбраняют использование мысли, но коль мыслить не желаешь, так хоть веди больного по стандартам»* [6].

Технические инновации необходимы. В цитируемой выше статье Л.Б. Лихтермана их приемлемость обосновывается следующим образом: *«Инструментальные находки расширяют количество признаков, используемых для распознавания патологии и чрезвычайно облегчают задачу, однако никак не могут сузить или подменить клиническое мышление. Врач всегда предпочтет безопасный и кратчайший (прежде всего в интересах больного) путь к диагнозу, а он, конечно, лежит через методы неинвазивного экспресс-видения патологии. Значит ли это, что техницизм угрожает клиническому мышлению? Нет, если не подменяет, а обогащает его «картинками». Проблема сводится не к замене клинического мышления инструментальными находками, а к освобождению клинического мышления для оперирования этими же находками в интересах диагноза и, в конечном счете, больного»* [3].

Точно так же видят роль технических инструментов, программ или нормативных инноваций практически все опрошенные нами профессионалы. Подобные инновации нужны, но они не должны заменять собой мыслительный процесс, не должны вытеснять ответственность и совесть.

Итак, образ модернизации, прошедшей через фильтр традиционных ценностей, вырисовывается достаточно четко: в центре формирующейся системы дол-

жен оставаться профессионал, обладающий универсальной подготовкой, умеющий думать, то есть анализировать, сопоставлять, делать выводы, используя при этом знание законов природы и собственную интуицию. Формальная норма необходима, однако до определенного предела, которым и является свободное профессиональное мышление и профессиональные ценности. Точно такую же роль должны играть технические инновации: они расширяют возможности профессионала, а не редуцируют их к функции. Кроме того, модернизация не должна разрушать целостность предмета профессиональной деятельности. Деструкция этой целостности воспринимается крайне болезненно. Таким образом, инновация институциональная будет одобрена традицией, если она усиливает субъектность человека в процессе труда, увеличивает его возможности, позволяет актуализировать его ценности.

Постоянное воспроизводство такого подхода к модернизации и устойчивость традиционных профессиональных ценностей обусловлены сложностью, неопределенностью и разнообразием среды, в которой осуществляется профессиональная деятельность, отсутствием тотальной унификации, необходимой для успешного функционирования технологической системы. Для профессионалов старой школы характерно, во-первых, четкое понимание постоянного наличия факторов, которые нельзя предсказать и учесть; во-вторых, целостное восприятие предмета своего труда, сохраняющееся даже у относительно узких специалистов.

Передача функций субъекта действия на уровень системы, как это происходит в технологически развитых странах, неприемлема и вызывает сопротивление. Нормативное регулирование просто и надежно. Действия профессионала абсолютно предсказуемы, так как каждый его шаг предписан. Однако в норме невозможно предусмотреть всего, в итоге в сложных ситуациях ускользает не только профессиональная, но и бытовая логика. Система теряет результативность, а в иных случаях становится опасной. Так, по словам участковых терапевтов, призванная улучшить качество новая система привела к его падению.

До сих пор в России успешной была модернизация, которая проходила через фильтр традиции, причем традиции не архаической, но прогрессивной по своей сути. Предсказать итоги современных реформ трудно, так как давление глобальной экономической и технологической системы велико. Но следует иметь в виду, что традиционные ценности российских профессионалов не допускали инновации, которые на самом деле могли затормозить развитие страны.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Анализ выполнен на основании данных, полученных в ходе исследования роли профессионала-актора в функционировании системы управления, которое было осуществлено автором в 2009—2016 гг. Основными методами сбора данных были глубинные интервью (103 интервью), анализ воспоминаний, опубликованных (в том числе в Интернете) и хранящихся в домашних архивах, письмах, публикации в СМИ, связанные так или иначе с деятельностью советских и российских профессионалов, с проявлением их профессионального и гражданского активизма (70 источников). Был проведен также вторичный анализ отечественных исторических исследований российских реформ XVIII—XX веков.

- (2) «Ценности — это общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. Они составляют основу нравственных принципов...» [5. С. 50]; «Фундаментальными для любой культуры являются представления о том, что должно считаться важным, стоящим и желательным. Эти абстрактные идеи, или ценности, помогают человеку направлять свою жизнь в нужное русло и придавать ей смысл» [2. С. 34].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Аксенова О.В.* Парадигма социального действия: профессионалы в российской модернизации. М.: ИС РАН, 2016.
- [2] *Гидденс Э.* Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005.
- [3] *Лихтерман Л.Б.* Что такое клиническое мышление. Размышления опытного врача // Медицинская газета. 2000. № 41.
- [4] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Мировосприятие российской молодежи: патриотические и геополитические компоненты // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4.
- [5] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Страхи и опасения российского студенчества: возможности эмпирической фиксации // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2.
- [6] Неформальный сайт врачей скорой помощи // URL: <http://www.forum.feldsher.ru/topic/5378-standarti-03>.
- [7] *Смелзер Н.* Социология. М.: Феникс, 1994.
- [8] *Тимошенко С.П.* Инженерное образование в России. Люберцы: ВИНТИ, 1997.
- [9] *Catton W.R., Danlop R.E.* Environmental sociology and new paradigms // The American Sociologist. 1978. № 13.
- [10] *Latour B.* Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005.

TRADITIONAL VALUES OF RUSSIAN PROFESSIONALS UNDER THE MODERNIZATION

O.V. Aksenova

Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The paper considers the attitudes of the Russian professionals to the innovations based on the values that developed during three centuries of modernization. The author defines the concept 'modernity' as a flexible technological system with the deep labor division and high specialization, formalized social interaction and limited individual agency. The article considers norms and values as external and internal regulators of the professionals' choices and activities. The external regulation plays the key role in the technological system of the postmodern type, while the Russian and Soviet industrialism gave priority to the regulation through the values. The author shows that the Russian professionals perceive modernization as both the scientific-industrial progress and the comprehensive development of a personality; such a progressivist interpretation of the professional work combines professional and civil values. Modern institutional innovations implemented under the reforms in different branches can be divided into two groups — accepted and rejected by the professionals. The main criteria of these innovations' estimates is preservation of the human agency in the professional-managerial sphere, and at the same time reflexivity and value-based social actions.

Key words: modernization; innovation; reforms; technological system; traditions; professionals; values

REFERENCES

- [1] *Aksenova O.V.* Paradigma social'nogo dejstviya: professionaly v rossijskoj modernizacii [Paradigm of social action: Professionals under the Russian modernization]. M.: IS RAN, 2016.
- [2] *Giddens A.* Sociologiya [Sociology]. M.: Editorial URSS, 2005.
- [3] *Lichterman L.B.* Chto takoe klinicheskoe myshlenie. Razmyshleniya opytnogo vracha. [What is the clinical thinking. Reflections of the experienced doctor]. Medicinskaya gazeta. 2000. № 41.
- [4] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Mirovosprijatie rossijskoj molodezhi: patrioticheskie i geopoliticheskie komponenty [The Russian youth outlook: Patriotic and geopolitical components]. Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika. 2014. No. 4.
- [5] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Strahi i opasenija rossijskogo studenchestva: vozmozhnosti empiricheskoj fiksacii [Fears and hopes of the Russian student youth: Possibilities of empirical study]. Teorija i praktika obschestvennogo razvitija. 2014. No. 2.
- [6] Neformal'nyj sajt vrachej skoroj pomoshchi [Non-official site of the ambulance doctors]. URL: <http://www.forum.feldsher.ru/topic/5378-standarti-03>.
- [7] *Smelser N.* Sociologiya [Sociology]. M.: Feniks, 1994.
- [8] *Timoshenko S.P.* Inzhenernoe obrazovanie v Rossii [Engineering education in Russia]. Lyubercy: VINITI, 1997.

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

MIGRATION POLICIES OF MOSCOW AUTHORITIES, AND MUSCOVITES' PUBLIC OPINION

A.T. Gasparishvili¹, A.A. Onosov^{2*}

¹Center for Social Technologies, Moscow, Russia

²Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The article considers basic directions of the migration policies in the Moscow Region as the main attractive area for international labor migrants in the Russian Federation. Based on the statistical and sociological data (the results of public opinion survey and interviews with experts) the authors describe the current situation with the migration in the city of Moscow and in the Moscow Region in general focusing on the multidimensional characteristics of the Muscovites' attitudes towards foreign labor migrants. The article shows that it the Muscovites' perception of migrants there are three relatively independent vectors: cultural, economic, and social-political. The article also considers the Russian population's assessments of the positive and negative contribution of labor migrants in the social and cultural dynamics of the Moscow Region on specific thematic lines. Within the framework of the existing scientific approaches to the study of labor migration, the authors analyze the current migration processes, identify future trends of their development and indicate positive and negative impacts of these processes on social stability at the regional and national levels. The article highlights perspectives for resolving major problems related to labor migration with the special attention to the issues of adaptation and integration of migrants into the metropolitan society. The authors indicate main vectors and frameworks of the Moscow authorities' migration policies, and emphasize the need to design the differentiated policy of integration that takes into account peculiar characteristics of different categories of migrants.

Key words: labor migration; migration policies; migration processes; foreign workers; public opinion; Muscovites; the Moscow Region; attitudes towards foreign labor migrants

The Moscow authorities' migration policy is guided by specific features of the Moscow metropolis which is a centre of attraction for internal and international migrants. The Moscow authorities' primary target within controlling migration processes under current conditions is to get the maximum positive economic and social effect from migration [3]. To meet this target, it is necessary to implement a system of measures to resist illegal migration, on the one hand, and create most favorable conditions for social adaptation and integration of legal migrants arriving in Russia's capital, on the other hand.

The Moscow region's labor market has been and, most likely, will stay for a long time especially attractive not only for residents of the Russian Federation's territorial

* © А.Т. Гаспаришвили, А.А. Оносов, 2016.

entities, but also for foreigners. Currently the State Program of the City of Moscow “Stimulating Economic Activity in 2012—2016” is under way. In general, in the regulation of labor migration the government of Moscow aims to achieve the following objectives: (a) to ensure the share of foreign labor migrants at the level of 3.2% of the total workforce; (b) to limit recruiting foreign workers in the wholesale and retail trade; (c) to counter the formation of mono-ethnic labor collectives and preferences for foreign workers at the expense of Russian citizens; (d) to reduce the number of low-skilled foreign workers to 30% of the total workforce; (e) to increase responsibility of employers for compliance with immigration, labor and tax regulations [5].

The particular emphasis in the Russian Federation’s Public Safety Conception is made on the problem of illegal migration. The Conception claims that “an illegal stay in the Russian Federation of foreign nationals and their labor in the country often worsens the social situation in the places they stay in and create conditions for the formation of terrorist organizations, political and religious extremism”. Illegal migration of foreigners and stateless persons, including those coming from countries with a complex social, political, economic and sanitary epidemiological situation, produces threats to the public safety. However, the Conception mentions not only with foreigners: “unfavorable trends can be also seen in the internal migration, where the main vector is migrants’ movement from the country’s east to the centre, in particular, to the Moscow Region” [4]. As a result, we witness not only an increased disbalance in population distribution across Russia, but also the growing social tensions, which contribute to the rise of xenophobia, national, racial and religious strives, and also an increased number of ethnic organized crime groups.

From this perspective, it is necessary to consider the attitudes of the Moscow Region’s residents towards foreign labor migrants. At present, three relatively independent vectors can be distinctly identified in how Muscovites and residents of the localities near Moscow perceive migrants: these are cultural, economic, and social-political vectors [1]. Our analysis is based on the data of the sociological research “The study of the ethnization of the mass consciousness of Russians in the context of massive labor migration” conducted in 2013. The study included a survey of 1000 residents of Moscow and the Moscow Region and interviews with 25 experts, political scientists, officials, journalists and social activists (the project received the government’s support in the form of a grant for the Institute of Social Projects according to the results of the 6th competition “The problems of the development of the present-day Russian society”).

In the cultural dimension, the attitudes towards migrants include alertness and enmity in the perception of the majority (62%) of locals. Discomfort and annoyance shown openly or covertly are explained by everyday communications between migrants in a strange, unfamiliar in sound and unintelligible in meaning language; an unusual mode of dressing contravening the habitual visual “dressing”, especially among the female part of the migrant “wagon train”; the migrants’ largely peculiar and different style of living; their neglect of the existing and accepted rules of local communities. The experts confirm that the overwhelming majority of Muscovites are extremely discontented with a non-Russian speech being heard more and more often in the streets of the Russian capital, with Central Asian natives’ peculiar ethno-religious attires flashing before their

eyes with increasing frequency, with representatives of migrant diasporas openly practicing their traditions, and with public manifestations of certain cults and rules of behavior generally accepted for them, but unusual for the Russian society. In other words, the local residents' alertness is rooted in cultural-linguistic differences of historically co-existing ethnic groups. This problem is exacerbated by the fact that most labor migrants lack a pronounced urge to master the Russian language, to integrate into the Russian society, and to become familiar with the Russian culture. These features are emphasized by the labor migrants or guest workers' strive not to go, unless flagrantly necessary, beyond their ethnic circle of contacts and to limit their communications only to the diaspora they belong to.

It should be noted that the local residents' negative attitude towards migrants from the Central Asia was initially and largely formed under the influence of negative stereotypes associated with distinctly different migrants, natives of the North Caucasus and South Caucasian countries. The experts say that big problems constantly emerge today with Caucasian diasporas, their negative image in the local residents' public consciousness being formed by the "second-echelon" mass media and social nets in the web. The locals tend to extend it to quite innocuous groups consisting of Central Asian countries' migrants. Certainly, as the familiarity with and the recognition of peculiarities of working migrants' worldview increases, such an a priori negative attitude changes to a more tolerant and good-minded; the locals who have personal contacts with migrants, as a rule, get rid of alertness after having seen them as hard-working and peace-loving people. However, still a considerable proportion of experts (nearly 40%) estimate local residents' attitude towards labor migrants from Central-Asian countries as being initially tolerant and amiable, especially towards those workers who ensure cleanliness and good amenities in the city. Moreover, many Muscovites are thankful to migrants for their dutiful activities which Muscovites themselves would not like to fulfill; those activities as a rule are fraught with hard and menial work in the sphere of housing and public utilities. Local residents who pay special attention to migrants' work show interest to its results and largely confirm that the migrants work dutifully.

In the second, economic, dimension, Muscovites' and Moscow Region residents' attitude towards migrants is, according to experts, on the whole inimical. Migrants are blamed for narrowing the capital city's labor market taking jobs away from the locals due to the lowered wage requirements and voluntary rejection of social protection measures, that is, migrants are as a sort of "strike-breakers". Our experts confirm that migrants do take jobs which could otherwise have been taken by Muscovites. So, the authorities' reassurances that labor migrants are of a vital importance for the Russian economy are perceived by the locals with skepticism. The Muscovites cannot understand what caused such a stance of the government and attempts to find a "real" explanation for today's migration policies, which leads them to the conclusion that the government cannot control the migration processes and tries to reduce social tensions, to moderate and quiet the public which starts to rebel against spontaneous migration and an uncontrolled growth in the number of migrants. However, "economic expediency" slogans work poorly here, even given the fact that the "domination" of migrants can only be seen in those spheres where, as a rule, simple and unskilled labor is used.

Finally, in the third dimension, social-political, the local residents' attitudes towards migrants are determined by the so called "migrant phobia". This term implies both alertness and dislike, and disrespect towards migrants; the locals treat foreign workers, in the first place males, sometimes with fright, sometimes with open enmity. The 'aliens' are looked at both as "second-class citizens" who can be treated with indignity, and as the "root of all evil" when it comes to finding the culprit in a problem situation. The latter is especially wicked, because an answer to the question of "Who is to blame?" can be suggested here by the interested "well-wishers". They point their fingers and say "Here's the outsider who's occupied your position and who's the source of the conflict". It is noteworthy that society's attitude towards migrants is situational, flexible, and formed at each moment of time depending on the current mass media's emphases. If the media approach changes in content and general tonality becoming, say, more tolerant and regardful towards migrants, the population attitude towards guest workers changes respectively.

When assessing positive moments of labor migrants' presence in the region, the Muscovites and the residents of localities near Moscow, in the first place, note that owing to the guest workers a labor shortage in unprestigious jobs decreases. This is the main motive for positive assessments for 40.9% of respondents. The next by importance cause of treating immigrant workers friendly is a chance to save on apartment renovation (28.3%). Finally, the third and the last statistically significant advantage of labor migration mentioned by the residents of Moscow and the surrounding area is saturation of the local market with cheap commodities (11.3%). As a result, an advantageous side in having migrant workers is seen by every second respondent (55.8%,) with regard to a simultaneous choice from several options. On the contrary, nearly one-third (31.1%) of local residents do not see any positive effects from guest workers' participation in their region's life-sustaining activity. Another 12.7% proved undecided on the issue.

The Middle-aged group with higher education see benefits in migrants' presence in the capital city's community more often. The older generation including those with the lower education level, on the contrary, tends to be more skeptical towards migrants. As for the rest, the distribution of estimates among the main social-demographic groups of the national sample show somewhat flexible but on the whole steady character.

To verify and weigh up the obtained opinions about migrants' positive role, the respondents were also asked about the guest workers' negative influence on city life. The distribution of answers to this question, as compared to the previous one, shows a dramatic dissymmetry of opinions; even the number of those failing to give a meaningful answer decreased twofold. Statistically significant reasons for an unkind attitude to foreign workers turn out more in number, and they are weightier. Thus, accusations of undercutting (an overall decrease in unskilled workers' wage rate) are brought by more than two-thirds (69.2%) of respondents and somewhat more often in the age group of 30—39-year olds; among those with religious faith; on the territory of the Moscow Region rather than in the city of Moscow.

Another migrants' feature that causes discontent of virtually half of the region's residents (48.5%) is insanitary conditions and diseases accompanying migrants' everyday life and creating discomfort and immediate threat to city dwellers' health. These

concerns are expressed more often by respondents who over 60, by people who are “free from faith” and residents of the Moscow Region. The worsening crime situation in the city is noted by 40.2%. The security threats are more often mentioned by young people with moderate means, and by residents of the Moscow Region. More than one-third (36.5%) accuse immigrant neighbors for the rise of residential rental payments. Such a point of view is more typical for the youth, well-to-do people, and those living outside the capital city. Yet another negative effect of migrants’ activities is, according to the Moscow Region residents (30.2%), is selling of low-quality goods, which is fraught not only with a loss of money, but also with other harms for local consumers. This is an object of complaints from representatives of the older generations, people with moderate means, and Moscow residents. As a result, such a point of view disavows and brings to nought the respondents’ positive perception of migration as supplying the population with cheap goods, as was noted above: the misbalance of benefits and harms in this case leads to the predominance of the latter. Finally, every fourth respondent (26%) perceives migrants as their job competitors, although the “aetiology” of such a conclusion is not always clear: the “competition” is somewhat more often mentioned not only by people with a low education level (which is quite explicable), but, on the contrary, by those with higher education and an academic degree, that is, having positions which labor migrants, owing to their well-known education level, can in no way lay claims to.

To draw a general conclusion from the survey data about migrants, it is necessary to express the following fact: nowadays the Russian part of the Moscow Region’s population expresses a unanimous opinion (93.8% of respondents) that getting migrants involved in municipal services creates problems for city dwellers, i.e. the costs of “economic expediency” are considered unacceptable for the population. Indeed, when weighing up all pros and cons the region’s residents ultimately express a generalized statement about labor migrants’ benefits or harms for their city. The final “verdict” of half the sample (49.9%) of the Moscow Region’s residents states: getting migrants involved brings more harm than benefits. This is, using technical terms, is an alarm button, which one will apparently would wish to press in order to prevent the dangerous development of the situation. The opposite point of view of the benefits of migration is expressed only by 8%. Besides, a considerable proportion (41.9%) of respondents proved to be undecided; still, even this category, having hypothetically given the green light to the labor migration can, at best, balance, and not outweigh the opponents of “labor varangians”.

The distribution of answers to the relevant questions breaks along basic social-demographic features of the sample. Thus, the opponents of getting foreign workers involved make up the majority among 30—39-year-olds (56.1%), among those with an atheistic orientation (53.2%), and people with a low education level (over 50%). The perception of the role of migrants changes in a predictable manner depending on whether there are representatives of another nationality and/or labor migrants among the respondent’s friends or acquaintances (see Table 1). We consider especially significant a spike (56%) in negative assessments of labor migrants’ participation in city life given the lack of normal, friendly communication with them. The presented distribution does not have a clear-cut differentiation by other social-demographic parameters.

Table 1

**How do you assess the role of migrants for the city:
do they bring more benefit or harm (%)?**

Answer	Average	Have friends of another nationality		Have friends among migrants	
		yes	no	yes	no
More benefit	8.0	15.0	6.3	12.1	6.7
More harm	49.9	45.7	51.5	32.7	56.0
Undecided	41.9	39.3	42.2	55.3	37.2

Keeping in mind that in the nearest future the highest tide of migrants will be ensured by natives of the countries with different cultural values and traditions, migrants' adaptation and integration into the host society acquires special attention. Social adaptation implies migrants' integration into the host society (often rather superficial), knowledge and behaviour with regard to traditions and norms accepted by the local residents. Social integration is the process of mutual movement of the host society and migrants' cultures towards each other, and a shift in the cultural norms and values which initially functioned separately and, possibly, contradicted each other [6. P. 5]. The migrant is expected to show more activity and more effort in this convergence than the Russian society; the latter, on its part, should become more hospitable and varied. Certainly, migrants must recon with the host society's culture, values, and traditions; on the other hand, local residents too should adopt from migrants such values as "family as a key value" and "respect for the older". As a rule, the line of confrontation between migrants and the locals accumulate in the social-cultural sphere: the Russians are convinced that the migrants' cultural "innovations" erode the local host communities' cultural nucleus. The residents believe that the inflow of migrants threatens social stability, instigates conflicts between them and the locals, and that migrants do not respect traditions and codes of conduct rooted in the host society [7].

Moscow needs to develop a differentiated integration policies, which would take into account the specific characteristics of various categories of migrants. Compatriot immigrants who have a good command of the Russian language and are acquainted with the Russian culture need integration to a lesser extent [2]. Serious problems are faced by immigrants coming to Moscow from former Soviet republics to become permanent residents but having a vague idea of the host community's language and culture; this is especially true for young people who grew up in the new independent states after the breakup of the USSR. Labor migrants need, at least, to have an elementary knowledge of the language, traditions, culture and norms of the host society. It should be noted, however, that some proportion of labor migrants does revise their projects of life to integrate into the society and obtain Russian citizenship.

To improve the interethnic and interreligious situation in Moscow, the city authorities in cooperation with civil society institutions have to propagandize migration's positive influence on the city life, to create councils on ethnic issues in the districts' heads offices and administrative boards of the city, to increase the number of nonprofit organizations engaged in resolving migration issues, to work more actively with the youth, to introduce educational curricula addressing interethnic problems, and to organize joint

cultural events of the representatives of migrant communities and the host society [7]. Interethnic and interreligious tensions in Russia's large cities (primarily in Moscow) can be reduced only if the authority's activity aim to prevent migrants' spatial segregation and social and labor discrimination, to oppose xenophobia and migrant-phobia, and to overcome ethnocentrism in the social discourse including mass media, and school and university curricula [8].

Over the last decades migration issues have been the subject of debates in the Russian society, and there is every reason to believe that such a situation will persist in the future. If interpretation of migration as a threat to the society prevails, the social risks of prohibitive measures in the migration policies and practices will increase. If, however, a shift occurs towards understanding migration as a dynamic and positive factor of social development, it will encourage improvement in the social and economic situation both in the countries of migrants' origin and those hosting migrants. The further development of Moscow and the Moscow Region should include the implementation of the responsive and consolidated migration policies that would allow to use migrants' labor effectively and their educational and intellectual potential in full in the interests of the capital city's economic and social success.

REFERENCES

- [1] *Alisov N.A., Gasparishvili A.T., Isayev A.K., Onosov A.A.* Trudovaja migracija v Moskve: fakty, mnenija, perspektivy. Situacionnyj analiz i modelirovanie nacional'noj migracionnoj strategii [Labour Migration in Moscow: Facts, Opinions, Perspectives: Situation Analysis and Modeling of the National Migration Strategy]. Moskva: Izdatel'stvo MGU, 2015.
- [2] *Andronov I.S.* Problema sociokul'turnoy adaptatsii migrantov v Rossii [The problem of social and cultural Adaptation of Migrants in Russia]. Contemporary Problems of Science and Education. 2013. No. 3.
- [3] Doklad o rezul'tatah i osnovnyh napravleniyah deyatel'nosti Upravleniya Federal'noy migratsionnoy sluzhby po gorodu Moskve na 2013 god i planovyy period 2014—2015 godov [A Report on the Results and Basic Directions in the Work of Federal Migration Service Directorate of the City of Moscow for 2013 and the period of 2014—2015]. M., 2013.
- [4] Kontseptsiya obshchestvennoy bezopasnosti v Rossiyskoy Federatsii [Conception of Public Safety in the Russian Federation]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/19653>.
- [5] Moskva i migranty. O sostoyanii trudovoy migratsii v stolitse [Moscow and Migrants. On the Situation with the Labour Migration in Moscow]. URL: <http://ria.ru/infografika/20130530/940216250.html>.
- [6] *Mukomel V.* Politika integratsii migrantov v Rossii: vyzovy, potentsial, riski: rabochaya tetrad' [Migrant Integration Policies in Russia: Challenges, Potential, Risks: A Workbook]. M.: Spetskniga, 2013.
- [7] *Mursaliev A.* Aktual'nye voprosy adaptatsii i integratsii migrantov [Urgent Issues of Adaptation and Integration of Migrants]. URL: <http://riavesti.com/society/aktualnye-voprosy-adaptacii-i-integracii-migrantov>.
- [8] Otchet mera Moskvy Sergeya Sobyana Moskovskoy gorodskoy Dume o rezul'tatah deyatel'nosti Pravitel'stva Moskvy v 2012—2013 godakh [The Report of the Moscow Mayor Sergey Sobyenin to the City Duma on the Work of Moscow Government in 2012—2013]. URL: <https://regnum.ru/news/1720717.html>.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МОСКОВСКИХ ВЛАСТЕЙ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА

А.Т. Гаспаришвили¹, А.А. Оносов²

¹Центр общественных технологий, Москва, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

В статье рассматриваются основные направления миграционной политики в Московском регионе как главном российском центре притяжения внутренних и международных трудовых мигрантов. На основе статистических сведений, данных опроса общественного мнения и экспертных оценок предложена оценка нынешней миграционной ситуации в Москве и Московской области, многофакторная характеристика отношения жителей московского региона к зарубежным трудовым мигрантам. Восприятие мигрантов москвичами и жителями Подмосковья описывается в системе трех относительно независимых векторов: культурно-бытовом, экономическом и социально-политическом. В частности, рассматриваются оценки русским населением позитивного и негативного вклада трудовых мигрантов в социокультурную динамику московского региона по отдельным тематическим пунктам. В рамках существующих научных подходов к проблеме трудовой миграции проведен анализ текущих миграционных процессов, выявлены тенденции их развития, определены возможные негативные последствия этих процессов для социальной стабильности в регионе и стране. Авторы обозначают и перспективы решения основных проблем, связанных с трудовой миграцией и мигрантами, определяя специфику мегаполиса, векторы и содержание миграционной политики московских властей. В фокусе внимания авторов — вопросы адаптации и интеграции мигрантов в столичный социум. Делается вывод, что Москве необходима дифференцированная политика интеграции, которая учитывала бы специфические характеристики различных категорий мигрантов.

Ключевые слова: трудовая миграция; миграционная политика; миграционные процессы; иностранные работники, общественное мнение; москвичи; московский регион; отношение к иностранным трудовым мигрантам

THE YOUTH OF RUSSIA AND SERBIA: SOCIAL TRUST AND KEY GENERATIONAL PROBLEMS*

U.V. Šuvaković¹, N.P. Narbut², I.V. Trotsuk^{2**}

¹University of Priština with the Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, Serbia

²Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The Sociological Laboratory of the Peoples' Friendship University of Russia has conducted a number of comparative studies using the method of mass surveys on the representative samples of student youth in different countries and different regions within them. The results of these surveys were presented in the articles in both Russian and foreign scientific journals, and we hope to establish a kind of tradition to publish two types of articles based on the comparative research data: in 2015 we focused mainly on methodological and technical issues to identify key problems of the comparative analysis in cross-cultural studies that become evident only if you conduct an empirical research yourself — from the first step of setting the problem and approving it by all the sides involved to the last step of interpreting and comparing the data obtained. From 2016 to the end of the Russian Foundation for Humanities' support in 2017 we will focus on the results of our comparative studies together with our colleagues that participate in the project and conduct surveys on the student samples in their countries using the same questionnaire (with the inevitable and predictable changes) as we do. The authors present only a small part of the empirical data revealing the perception of the Serbian and Russian student youth of their own situation through the identification of the key problems of the younger generations and the trust to the basic social institutions. This is a deliberate decision of the authors — to leave other topics (and corresponding questions) out in order to address them more thoroughly later in the further analysis and publications. The article considers the results of the empirical studies conducted on the representative samples of students of two Serbian universities — University of Belgrade and University of Pristina with the head-office in Kosovska Mitrovica, and on the representative sample of Moscow students (a part of the sample was recruited in the Peoples' Friendship University of Russia).

Key words: comparative analysis; quantitative approach; mass surveys; student youth; generational problems; level of social trust; social institutions; Russia; Serbia

“It is important to influence hearts and consciousness of youth in order to transform society”.

Barlow and Robertson (2003)

Sociological studies of the youth worldview are of a key importance for both scientific and practical aims for the data of such research allow to identify not only the “rebelliousness” of the youth, but also their fears and aspirations, intentions and hopes to change the existing social order, the values and priorities of the youth in different spheres of life, the problems the younger generations claim to face (and the major among them can turn into reasons and driving forces for rebellious forms of behavior and corresponding views and attitudes), etc. To consider the issues mentioned it is nec-

* In Serbia the research project III 47023 “Kosovo and Metohija between national identity and Eurointegration” was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia; in Russia the research project “The social well-being of the youth in post-socialist countries: Comparative analysis (on the example of Russia, Kazakhstan, China, Serbia and Czech Republic)” was supported by the Russian Foundation for Humanities. Grant № 15-03-00573.

** Šuvaković U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V., 2016.

essary first to clarify the very idea and concept of the “youth”: rather than a biological-psychological term that refers to a certain age and its features the younger people represent a collective social actor given that the society recognizes and accepts them as a specific social-demographic group focusing on the socialization and for that reason tends to positively discriminate them. “The phenomenon of the youth is therefore connected with modern societies that separate children and young people from the rest of the society by general and mass educational system” [27. S. 378]. In other words, it is crucial for every sociological research of the youth “to concretize the very idea of the ‘youth’, to define special groups of the youth (urban, rural, proletarian, school, student, etc.)” [25. S. 393]. In the article we do that by emphasizing the most important generational problems identified by the students and at the same time considering their perception of the key social institutions in the terms of trust. Sociological study of the student youth worldview through these two empirical indicators is of special importance for this part of the youth in the future will become the most educated part of society and consequently would claim the leadership in all social spheres. On the other hand, considering the methodological aspect of the sociological research, the students’ age is supposed to be old enough to have relatively broad outlook and be competent enough to answer the questionnaire seriously and responsibly.

Another important clarification we are to make is that we conduct a comparative research and are primarily interested in identifying differences between students’ samples both within and between the countries. Certainly, regional comparisons within the country are more easy to make for our Serbian colleagues due to the objective factors such as the size of the population and of the territory of the country, than for the Russian scientists dealing with a very difficult object even within the capital of the country and compelled to reject the within-country comparative perspective due to financial and administrative problems. However, regardless the comparative dimension — regional or international — the importance, utility and problems of the comparative research are as old as the sociological discipline itself, and already E. Durkheim insisted that “comparative sociology is not a particular branch of sociology; it is sociology itself, in so far as it ceases to be purely descriptive and aspires to account for facts... Although comparative research flourishes within this discipline, persistent methodological problems remain” [28. P. 619]. First, it is the ‘status’ of comparative orientation which is ambiguous: on the one hand, the term ‘comparative’ is not among the clearly defined in the sociological discourse (for instance, there is no way to draw a demarcation line between ‘comparative’ and ‘cross-cultural’); and the most famous comparative studies — World Values Survey [16] and European Social Survey [7] — are both criticized for not always equivalent samples and not valid cross-national comparisons despite endless attempts to eliminate their methodological, technical and interpretational errors and biases.

Second, there is an obvious quantitative preference in the tradition of cross-cultural studies though they started as qualitative: “most scholars understand cross-cultural comparison as the comparison of a social phenomenon in different societies, and perhaps at different historical times, with the aim of establishing the common ‘causal’ basis of shared features..., or the unique features of a particular culture or society, ...which does not imply that cross-cultural research should be quantitative” [19. P. 6]. Moreover,

“quantitative worldwide cross-cultural research... represents only one type of cross-cultural research... and many qualitative findings have led to the formulation and testing of new hypotheses through quantitative methods. In other words, qualitative cross-cultural research has long constituted a basis for the development of quantitative research” [19. P. 7], and ignorance of the qualitative tradition cannot be justified. Nevertheless, it is indisputable that the comparative orientation in sociology as a discipline that relies basically on the quantitative data obtained in different settings (represented by nation-states as a rule) offers great possibilities.

Third, the sociological discourse in the last few decades has been concerned rather with research administration and technology than with methodological issues such as parameters available for quantitative measurement. Let us briefly describe the comparative orientation’s difficulties and challenges relying on the long-term experience of the Sociological Laboratory of the Peoples’ Friendship University of Russia in cooperation with China Youth and Children Research Centre (Beijing), Belgrade University and University of Priština in Kosovska Mitrovica (Serbia) and Charles University in Prague (Czech Republic):

- (1) Under the cross-cultural work one always experiences difficulties in applying research techniques to another ‘milieu’ — both in translating and adapting them to different social realities and worldview. Unfortunately, even the most standardized tools (structured interviews or tests) do not guarantee an easy and correct export of the research technology for the identical stimuli (questions) are not necessarily functionally equivalent in different countries or cultures (even allegedly identical and absolutely neutral characteristics such as age, sex, education or occupation). There are no proofs that the standardization of the research tool does provide comparable data and help to overcome language barriers in the translation: “A translating team which is bilingual but not bicultural cannot completely understand cultural differences. In such a case, functional equivalence is difficult to achieve. Ideally, therefore, all roles in the translation team should be filled by persons with a bicultural background so that they can competently discuss the correct wording of a question” [15. P. 6, 7] — a condition which is hard if not impossible to fulfill in most sociological projects.
- (2) Under the comparative research one faces the challenge of choosing ‘right’ respondents to question: the best strategy seems to be a reduction of within-group variability of the groups compared; however, our research experience proves that the ‘artifacts’ of formal organization that negatively affect the results of survey are easy to overcome if heterogeneous groups are studied.
- (3) Researchers often miss or deliberately ignore the challenge of choosing the cases — cultures/counties/societies, which usually depends on the research aims and design but tends to be resolved within one of two widespread strategies: (a) to select cases in a way that they differ in several factors, especially in the one that interests researchers the most, which guarantees the minimum internal variability; (b) to select cases as similar as possible in several respects except for the one to be studied. Unlike anthropologists, who deny the right to compare traditional non-industrialized

communities and industrialized nation-states, question the right to treat a modern nation-state as a unit of observation and analysis, doubt the very interpretation of the nation-state as an integration of sub-institutional behavior forms, and consider comparative analysis impossible in general due to the problem of defining cultures as wholes and constructing cultural units for comparison, sociologists simply focus on methods of obtaining comparable data, take the internal heterogeneity of complex societies under cross-cultural consideration for granted and believe that individual features are inevitable mediated in different ways by the network of social structures and institutions. Our “choice lies between a small and a relatively large N (sample size), which each poses specific problems. In the case when the researcher chooses to include a large number of units (countries) with only scant, more general comparative variables he runs the risk of producing superficial though potentially statistically sound results. On the other hand, if the researcher chooses to include only a few units of analysis with numerous variables he takes the risk of having too many variables and too few cases to effectively test causal models” [28. P. 621; see also: 5].

Nevertheless, despite these challenges, there are still few sociological works on methodological rather than technical aspects of comparative analysis: most writings refer to the technology of research (difficulties of developing and enforcing comparable data collection routines), or to administering cross-cultural work. The best (most correct) strategy to conduct a comparative study is to begin with methodology, and then to go further to particular techniques as determined and justified by the chosen methodological framework. If such an approach is hard or impossible to implement another option is to choose a few key research questions and to consider them in the wider conceptual context emphasizing both comparative challenges and measurement difficulties. We will show the potential of such an approach on the example of a comparative Russian-Serbian project.

The research in Serbia was conducted on the sample of students of the largest Serbian University in Belgrade and in the university that exists in the most difficult conditions — University in Pristina with the contemporary head-office in Kosovska Mitrovica (the survey was conducted at the end of 2014). In Kosovska Mitrovica 345 students from all ten faculties were questioned (50% of them were males); in the University of Belgrade 31 faculties were grouped into four educational profiles — humanities and social sciences, mathematics, technologies and technical sciences and medical sciences. The two-stage quota sample was chosen: first, we calculated the distribution of students among the faculties; then the faculties were chosen randomly for four suggested educational profiles, so that 391 students were questioned — 29% represented technical sciences (Technological-Metallurgical Faculty and Faculty of Mechanical Engineering), 49% — humanities and social sciences (Faculty of Law and Faculty of Political Sciences), 12% — medical sciences (Faculty of Veterinary Medicine), and 8% — Faculty of Mathematics (61% of the sample were females).

In Moscow, due to the much larger size of the city and the student population the sample was designed to represent three educational profiles according to the distribution of different specialties on the website of the Russian Ministry of Education and Sci-

ence — humanities and social sciences, technologies and technical sciences and natural (including medical) sciences. 1000 students were questioned in different Moscow universities through both formal arrangements and ‘snowball’ recruiting by the interviewers of the Peoples’ Friendship University of Russia through social networks’ links and personal connections: 25% represented technical sciences, 53% — humanities and social sciences, 22% — medical sciences (60% of the sample were females).

As stated above, we will focus on two questions of the survey to identify (a) the most evident differences of the youth worldview in two countries, and (b) the unavoidable difficulties the researchers face while conducting a comparative study, especially in so differing countries as Russia and Serbia. Both questionnaires — Russian and Serbian — included a question about the most acute problems the youth faces today, however in the Serbian survey the question was slightly modified to sound more generalized: the Russian sample was asked “In your opinion, what are the most acute problems the youth faces today?”, while for the Serbian sample it was modified into “In your opinion, what are the most important problems of the society you live in?”. In Moscow respondents had to choose the most relevant answers from the list of 16 options (smoking is not considered a serious problem in the Serbian society, so it was left out in the Serbian version of the questionnaire) or write their own answer. In Moscow respondents had to choose up to five answers from the list, while Serbian students were supposed to rank the first three most widespread problems (Table 1). Besides, in Russia we did not have administrative and other resources to conduct a cross-regional comparison within the country, while Serbian colleagues obtained the data for this comparison as well (Table 2).

Table 1

The most acute problems of the youth in the opinion of Moscow students (% , 2015)

Problems	Total	Male	Female	Humanities and social sciences	Technical sciences	Natural sciences
Drug addiction	55,8	59,3	53,7	49,6	58,3	68,3
Alcoholism	54,6	56,6	53,5	47,8	56,9	68,8
Moral degradation of society	45,4	40,7	48,1	42,6	51,5	45,2
Smoking	44,1	45,8	43,1	41,1	43,1	52,7
Health problems	29,8	25,7	32,7	29,9	27,5	31,7
Unemployment	27,8	26,3	28,5	27,7	26,5	29
Lack of money	21,2	19,5	22,2	19,6	24,5	21
Boring life	20,7	20,4	21	18,5	24	22,6
Lack of mutual understanding with parents	18,2	15	20,6	19	19,1	15,6
Crime rate	17,5	18,3	17,2	18,1	18,1	15,6
Lack of support from the state	17,3	17,1	17	17,2	17,2	17,2
Unavailability of education	17,2	12,3	20,4	17,9	16,7	16,1
Corruption of authorities	16,7	15,3	17,4	16,3	16,2	18,3
Economic situation in the country	14,5	16,2	13,2	14,3	18,6	10,8
Violation of civil rights and freedoms	10,8	12,9	9,6	13,4	10,3	5,4
Political situation in the country and the world	9,8	8,4	10,8	8,9	11,3	10,2

Table 2

The most important problems of the society in the opinion of students of University of Belgrade and University of Pristina (three first ranks, %, 2014)

Problems	University of Belgrade			University in Kosovska Mitrovica		
	Rank 1	Rank 2	Rank 3	Rank 1	Rank 2	Rank 3
Drug addiction	9,8	4,9	7,2	23,1	14,1	16,2
Alcoholism	3,4	4,3	6,9	6,9	17,5	7,4
Health problems	5,2	4	4,6	4	5,4	6,7
Unemployment	27	19	13,2	37,6	18,9	11,4
Economic situation in the country	19,5	15,8	8,6	6,6	11,8	6,4
Moral degradation of society	11,2	11,5	8,3	6,6	2,7	5,7
Unavailability of education	0,9	0,6	4,6	0,7	2,4	
Crime rate	2,9	8,9	4,6	2,6	12,5	20,9
Corruption of authorities	11,5	14,1	14,9	5,6	7,1	12,8
Boring life	0,6	0,6	1,4		0,3	0,7
Lack of mutual understanding with parents	2,3	0,3	1,1		0,7	
Lack of money	1,7	5,7	5,2	1,7	1,7	4
Political situation in the country and the world	0,6	3,4	6	1,7	2,7	3,4
Lack of support from the state	0,9	2,3	3,2	2,3	0	2,7
Violation of civil rights and freedoms	0,3	2	2,9		2,4	1,3

Such strong methodological differences do not allow us to compare data in the cross-national perspective. However, we can identify key problems of the youth in both countries without making too broad generalizations or focusing on specific parameters; also we can focus on the regional differences within the Serbian society, which is quite important for we have already conducted a comparative study of the student youth values in the Russian regional context (Moscow and Maikop) that did not reveal significant differences except for a few slight variations quite predictable for a more traditional region (Adygeya) as compared to the capital of the country (Moscow) [31].

The most acute problems of the Russian youth form five groups according to the shares of the sample that chose them from the list of answers: (1) the leaders are drug addictions and alcoholism (mentioned by every second respondent); (2) moral degradation of society and smoking were mentioned by about 45% (quite a strange combination of problems, perhaps, considered equally socially negative); (3) about 30% of respondents mentioned both unemployment and health problems; (4) this group is the largest in number of problems for about every fifth mentioned some ‘lack’ — of mutual understanding with parents, of money, of support from the state, of security (from crime in general and authorities’ corruption in particular) or of educational opportunities; (5) only about every tenth mentioned political and economic situation together with the violation of civil rights and freedoms, i.e. students tend to see the key sources of their generation problems rather in its own behavioral patterns than in the objective social circumstances. And such a perception of the generational challenges does not have gender or educational ‘measurements’: we see the same ‘typological syndromes’ in the corresponding subsamples in Table 1 except for a few insignificant differences — for

instance, female students seem to be more socially concerned for they more often mention moral degradation of the society and unavailability of education as key problems of the youth (48% vs. 41% in the first case and 20% vs. 12% in the second). There are no significant educational differences though students of the humanities and social sciences departments seem to be a bit less concerned about all the problems listed, while students of the natural sciences departments are much more concerned about two leading problems — drug addiction and alcoholism (about 68%) — than students of the technical sciences departments, who in their turn are more concerned about these two (about 58%) than students of humanities and social sciences departments (about 48%).

Serbian students consider unemployment the most acute social problem — both in Belgrade and Kosovska Mitrovica they mention unemployment either in the first or the second rank. However, the share of students that rank this problem as the main one is by 10% larger in Kosovska Mitrovica than in Belgrade; on the other hand, as the third-ranked social problem unemployment is in the second place for the students of Belgrade and in the fourth for the students in Kosovska Mitrovica. Such a distribution of answers can be explained by the difficult political and social-economic situation in Kosovo and Metohija that determines the acuteness of unemployment for this region. The economic situation in the country, corruption of authorities and moral degradation of the society are also among the first-ranked problems for the students of Belgrade who almost just as frequently mark it as the second-ranked. This can be explained by the fact that unemployment as a social problem is a result of the poor economic situation in the country, so students could have named any of these two as the first-ranked, but they did it with the problem they are concerned about the most.

The students in the north of Kosovo and Metohija mentioned drug addiction (almost every fourth respondent) as the second key problem of the society just after unemployment, then goes alcoholism but with a considerably lower share of choices. Among the second-ranked problems we see alcoholism (chosen by every fifth student), then crime rate and economic situation in the country. Within the third-ranked problems crime rate was named by every fifth student, then goes drug addiction, corruption of authorities and again unemployment. There are some significant differences between students in Belgrade and Kosovska Mitrovica: while the problems like drug addiction, alcoholism and crime rate are not the leaders of the Belgrade students' list, they take the highest positions in Kosovska Mitrovica which can be explained by the specific social and political environment of Kosovo and Metohija.

Thus, there is huge drug market controlled by the Albanians in Kosovo and Metohija to the south of the river Ibar, from which a significant part of the European drug market is supplied through the so-called Balkans Route [3] and which contributes to the relatively easy supply of drugs to the north of Kosovo and Metohija and their distribution at relatively low prices. “The OCGs (organizes crime groups) from the Western Balkans are important partners of the Turkish OCGs in the heroin trade. Albanian-speaking OCGs based in Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia and the Kosovo

area use the region for storage and repackaging of heroin shipments. These groups seem to control a significant part of the heroin trade in many European countries, with criminal activities identified in almost all EU Member States” [6. P. 33]. Therefore, the European Union aims to “mitigate the role of the Western Balkans as a key transit and storage zone for illicit commodities destined for the EU and logistical centre for OCGs, including Albanian-speaking OCGs” [6. P. 18].

Regarding the crime in general, it is enough to look through the report to the Committee on Legal Affairs and Human Rights of Parliamentary Assembly of the Council of Europe [26] or the publications with the results of sociological studies [see, e.g.: 32] to find out the causes of anxiety of students about the crime rate. The crime in Kosovo and Metohija to the south of the river Ibar primarily consists of terror acts or threats, while in the north of this Serbian province there is an evident state of ‘anomie’ for the regulations of the self-proclaimed “independent Kosovo”, norms brought to the region by international community, etc. cannot be implemented efficiently due to absence of competent state authorities that would apply punitive sanctions to those who fail to fulfill social requirements and rules.

Alcoholism is an important social problem not only for students in Kosovska Mitrovica: according to the numerous studies in Serbia in the last decade, excessive alcohol consumption is a widespread behavioral pattern and, thus, mentioned as such by representatives of different ages, however, it is more typical for men than for women [20; 29]. The studies conducted in the north of Kosovo and Metohija show a high share of students excessively drinking alcohol beverages, and the first alcohol drink is usually consumed in the family, which is a result of specific festal traditions of the region and of the ineffective and insufficient stigmatization of alcohol consumption as a measure to reduce alcohol addiction.

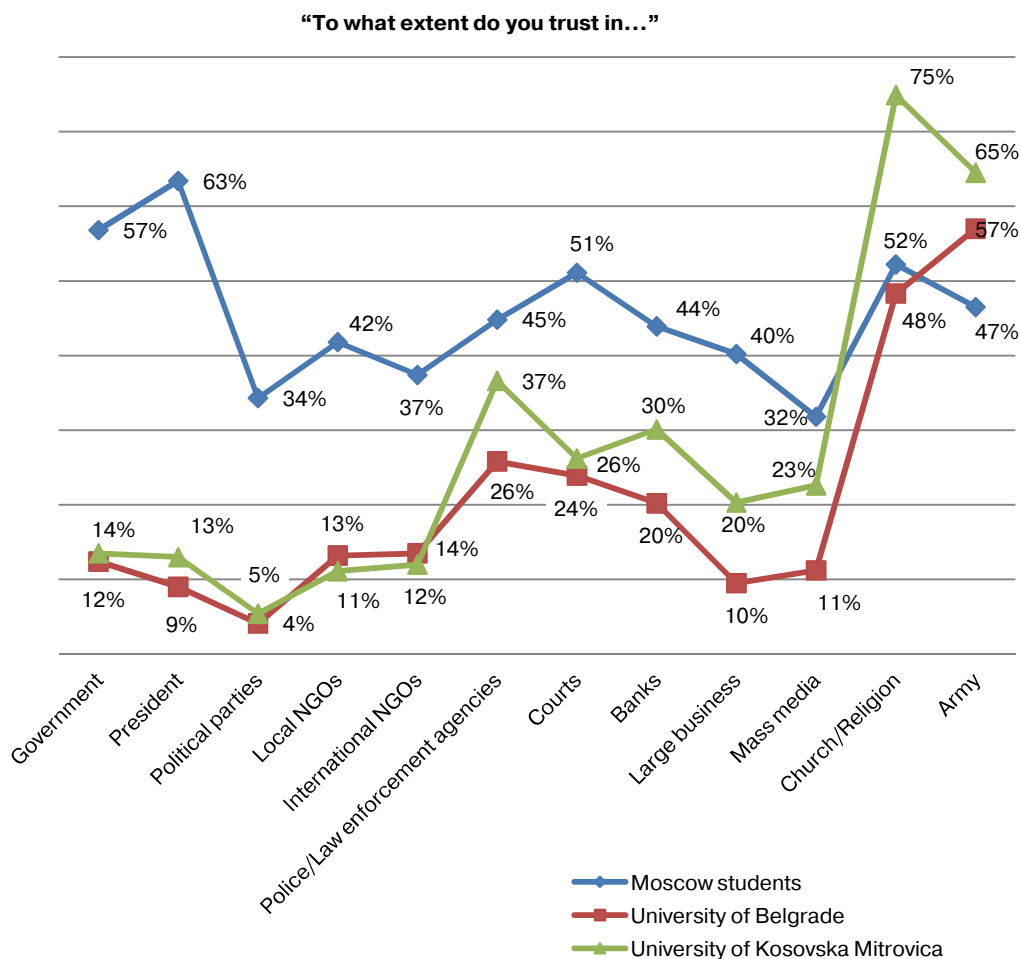
Finally, there is a problem of corruption of authorities: Belgrade students put it the third place among the first-ranked social problems, in the second place among the second-ranked problems and in the first place among the third-ranked, while the students in Kosovska Mitrovica put it only in the third place among the third-ranked social problems. Undoubtedly, such data should not lead to the conclusion that there is no corruption in the north of Kosovo and Metohija unlike Belgrade for the case is not an absence/presence of corruption, but the perception of it. In Kosovo and Metohija corruption of all types is considered traditional and inevitable informal technique to achieve one’s goals, that is why, for instance, a “gratitude in the envelope” to a doctor or a municipal clerk is considered a social norm, while only the large-scale forms of corruptive actions are defined as ‘corruption’.

Another important thematic line of the comparative studies of the youth value priorities is the level of social trust that largely predetermines the perception of the current social realities and identification of its key problems. Undoubtedly, trust is a very complex phenomenon that is difficult to define and measure empirically; moreover, under the comparison we are to choose its theoretical definition (at least to make an attempt to reach consensus here) and only then proceed to empirical indicators. However,

in some cases this rule does not work, especially if we want to identify a lot of different features of the youth worldview to reconstruct it, that is why we sometimes (as in our project) prefer to omit such interpretational efforts and ignore the fact that cross-cultural comparisons logically are no more than observations under differing conditions in which even the same questions can be understood differently depending on the temporal or cultural context.

In the last decades trust has become the focus of numerous empirical studies aiming to identify the causes and effects of social trust and to describe determinants and practical implications of different ‘types’ and ‘levels’ of trust regardless the lack of a widely agreed definition or commonly shared understanding of the concept [21] through some theoretical conceptualizations [18] in terms of its social functions or agency rendering [11; 23]. However, there is a kind of consensus among representatives of the contemporary sociology of trust [see, e.g.: 10; 13; 37] that trust is primarily connected with risks and uncertainty: “Trusting becomes the crucial strategy for dealing with an uncertain and uncontrollable future... that has generally beneficial consequences for the partners in social relationships, and the groups to which they belong, as well as for the peaceful, harmonious, and cohesive quality of wider social life” (it becomes unproblematic) [37. P. 25, 115]. In our comparative study we define social trust as a kind of ‘remedy’ from uncertain future, “a simplifying strategy that enables individuals to adapt to complex social environment, and thereby benefit from increased opportunities” [4. P. 38], i.e. we can use measurements of social trust as an explanation of the estimates of the social reality through its key problems.

Quantitative trust studies in the form of national surveys aim to provide estimates of the level of social trust in the comparative temporal perspective which faces the same methodological challenges as the comparative spatial perspective [see, e.g.: 30; 38] (such as that there are no guarantees that we do measure real changes in trust). However, there are many interesting observations on variations in trust within and across populations and countries based on survey evidence [see, e.g.: 35; 39; 40]. Sociological surveys of the last decade indicate that in the Russian society there is a high level of everyday practical distrust expressed towards others together with the high declarative trust to three significant institutions — the head of the state (the president), the church, and the army [14]. The situation in Russia is very specific in the sense that trust is very differentiated: on the one hand, the level of society’s trust to the president is consistently high; on the other hand, the trust to almost all social institutions has declined, especially to the government (45% in 2015 vs. 26% in 2016), the State Duma (40% vs. 22%) and regional authorities (38% vs. 23%) [17]. But within different social-demographical groups these numbers can be quite different as the Picture 1 shows. It presents survey data for careful (!) comparative evaluation of the social trust of the younger generations to the key social institutions of their countries regardless obvious differences in the interpretations and even perception of such (there is no other way to work within the quantitative approach).



Picture 1. Distribution of answers to the question “To what extent do you trust in...”

(‘completely trust’ and ‘rather trust’ options combined, other options left out, not all objects of evaluation presented: for the Russian sample the State Duma — 46,3%, Federation Council — 50,4%, Public Chamber — 44,9%; the objects left out for the Serbian sample are presented in the Table below)

As we can see in Picture 1, the general level of social trust among the Russian youth is much higher than in Serbia, especially to the president (63% vs. 9—13%), government (57% vs. 13%), courts (51% vs. 25%), local non-government organizations (42% vs. 12%), large business (40% vs. 10—20%), international non-government organizations (37% vs. 12%), political parties (34% vs. 5%) and mass media (32% vs. 11—23%) (though most numbers in the Russian society are not high compared to the majority of Western countries), except for two social institutions — the church/religion and the army. The students of Moscow and Belgrade express comparable levels of trust to these two institutions while in Kosovska Mitrovica the level of trust is even higher, perhaps as to the only institutions guaranteeing some social security (the army) and emotional solace (the church). The regional within-country differences of the level of social trust in Serbia are presented in Table 3.

Table 3

**The trust of students of the University of Belgrade
and University of Kosovska Mitrovica to the key social institutions (%)**

Objects of trust	University of Belgrade						University of Kosovska Mitrovica					
	Com- ple- tely trust	Ra- ther trust	Nei- ther trust nor dis- trust	Ra- ther dis- trust	Com- ple- tely dis- trust	Hard to say	Com- ple- tely trust	Ra- ther trust	Nei- ther trust nor dis- trust	Ra- ther dis- trust	Com- ple- tely dis- trust	Hard to say
Serbian Government	1,8	10,6	27,8	21,6	31,9	4,2	4,9	8,6	24,5	23,9	29,4	8,9
Serbian Parliament	0,5	9,6	25,6	25,3	30,4	5,4	2,7	12,1	24,2	21,5	30,8	8,8
President of the Re- public of Serbia	1	8	21,5	19,9	40,2	7,3	3,3	9,7	18,2	18,2	40,6	10
Political parties	0,5	3,6	17,9	25,4	45,3	5,2	1,5	3,9	16,6	20,8	43,8	13,3
Local NGOs	0,5	12,7	28,4	22,7	26,6	7	1,5	9,6	23,8	20,5	33,1	11,4
International NGOs	0,8	12,7	32,6	21,2	24,8	5,9	1,5	10,5	20,8	20,2	35,2	11,7
Serbian Police	4,4	21,4	28,4	19,6	20,2	3,9	8	28,6	20,6	12	23,1	7,7
Independent bodies to protect the rights (om- budsmen)	5,2	24,4	31,9	15	14,8	6,7	4,5	21,5	26,6	17,5	19,3	10,6
Courts	3,6	20,3	32,3	17,7	17,7	6,3	5,5	20,7	27,7	12,5	24,7	8,8
Banks	2,6	17,6	26,9	16,6	27,7	6,5	5,8	24,3	24,9	12	21,2	11,7
Large business	1	8,5	32,6	19,4	28,8	7,5	8	12,3	28,6	13,5	24,3	13,2
Mass media	2,1	9,1	32,2	20,8	28,6	5,2	5,9	16,7	31,6	13,9	21,7	10,2
Church	17,8	30,5	21,4	7,8	15,8	4,7	50,8	24,1	7,4	5,3	6,8	5,6
Serbian army	23,8	33,2	19,2	6,5	9,6	5,7	37,7	26,8	13,7	4,4	11,8	5,6
So-called "institutions of Pristina"	1,8	1,3	21,5	12,6	40,1	20,7	3,4	5,2	13,5	12	46,5	19,4

Table 3 clearly indicates that the students of both Serbian universities do not trust the majority of social institutions except for the church and Serbian army. Almost every second Belgrade student trusts (more or less) the church as 75% of students in Kosovska Mitrovica: such a difference can be explained by the fundamental importance of the confessional identity in Kosovo and Metohija for the youth identification, especially due to the influence of the "Kosovo myth for establishing Serbian national identity; Orthodox faith and nationality are much deeper and firmer tied, and in that sense national and confessional identity combine into an indissoluble unity" [1. P. 60]. Besides, the share of religious believers among students of Kosovo and Metohija is above the average Serbian level, which is determined by "the general political situation in micro-region the respondents study and live in" [33].

In general the level of social trust is a bit higher among the students of Kosovska Mitrovica compared to the students of Belgrade, perhaps, due to the more traditional way of life and more patriarchal worldview. The only exception here are the so-called "institutions of Pristina" to which every second student in either University does not trust. In both cases about one fifth of the sample could not answer the question about the trust to these institutions: for the students of Belgrade it was predictable for they do not have a relevant life experience, while for the students of Kosovo and Metohija it is odd and should be taken as an indicator of a denial to reveal one's attitude. More-

over, though the corresponding shares are low four times as much students trust the so-called “institutions from Pristina” in the north of Kosovo and Metohija than in Belgrade, which is a serious indicator demanding further careful consideration. For instance, such distribution of social trust in the region may be explained by the historically (since the XIXth century) sustainable process of the so-called “moral mimicry” among the Serbian population in Kosovo and Metohija under the Islamization aggravated by the current lack of peaceful and safe life conditions in the region due to the numerous ethnically motivated attacks of Albanians on Serbians since 1999 [36. P. 104—113].

Thus, the trust to social institutions should be interpreted as a factor of the generational identification of the key social problems: for instance, neither Serbian nor international institutions and especially “institutions of Pristina” are not trusted to solve the acute social problems of the region such as unemployment, economic decline, corruption, high crime rate, etc. Under such conditions, the general social distrust is a predictable reaction to these institutions’ inability to fulfill their mission and guarantee social, political and economic safety. That is why, especially in the comparative studies, trust has always been one of the most important categories to explain social order and interpret the relationship of the features of trust and institutional structures (economics, politics, etc.) regardless the general scientific claim that worldwide there is a growing public distrust in the official and professional institutions, in which we used to place our confidence before [34]. Though the decline in trust is partly illusory — trust is not necessarily at a lower level than previously, but rather takes different forms [see, e.g.: 11], an atmosphere of distrust develops ubiquitously, which is evidenced in such indicators as rising crime rates, weakening of the family institutional functions, distrust to police and state and municipal officials, etc. [see, e.g.: 8].

REFERENCES

- [1] *Andjelković P.* Konfesionalna pripadnost i praktikovanje religije studenata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici [Confessional identity and religious practices of students of the University in Kosovska Mitrovica]. In U. Šuvaković, J. Petrović (eds.) *Studenti na severu Kosova i Metohije: rezultati empirijskih istraživanja stavova*. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2016 (in Serbian).
- [2] *Barlow M., Robertson H-J.* Homogenization of education. In J. Mander, E. Goldsmit (eds). *The Case against Global Economy and for a Turn toward the Local*. San Francisco: Sierra Club Books, 2003.
- [3] *Dempsey G.* Proizvodnja i trgovina drogom unutar Evropske unije [Drug production and trade within European Union]. *Bezbednost*. 2003. Vol. XLII. No. 1 (in Serbian).
- [4] *Earle T., Cvetkovich G.* *Social Trust: Toward a Cosmopolitan Society*. New York: Praeger, 1995.
- [5] *Ebbinghaus B.* When less is more: Selection problems in large-N and small-N cross-national comparisons. *International Sociology*. 2005. Vol. 20.
- [6] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and Europol [EMCDDA]. *EU drug markets report: a strategic analysis*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012.
- [7] European Social Survey. URL: <http://www.ess-ru.ru>.
- [8] *Fukuyama F.* *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books, 1999.
- [9] *Fukuyama F.* *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.
- [10] *Gambetta D. (ed.)* *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. New York: Blackwell, 1998.

- [11] *Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- [12] *Giddens A. The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- [13] *Govier T. Social Trust and Human Communities*. Montreal & Kingston, London, Buffalo: McGill-Queen's University Press, 1997.
- [14] *Gudkov L. Doverie v Rossii: znachenie, funkcii i struktura [Trust in Russia: Meaning, functions, and structure]*. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2012. Vol.117 (in Russian).
- [15] *Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P.* Harmonisation of demographic and socio-economic variables in cross-national survey research. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*. 2008. Vol. 98. No. 5.
- [16] *Inglehart R.* Changing values among Western publics from 1970 to 2006. *West European Politics*. 2008. Vol. 31.
- [17] *Institucional'noe doverie [Institutional Trust]*. URL: <http://www.levada.ru/2016/10/13/institutsionalnoe-doverie-2> (in Russian).
- [18] *Jalava J. Trust as a Decision. The Problems and Functions of Trust in Luhmannian Systems Theory*. University of Helsinki: Department of Social Policy, 2006.
- [19] *Khizrieva A.G., de Munck V.C., Bondarenko D.M.* The Moscow School of quantitative cross-cultural research. *Cross-Cultural Research*. 2003. Vol. 37. No. 5.
- [20] *Kilibarda B, Mladenović I, Gudelj-Rakić J.* Attitudes on alcohol and drinking patterns among youth in Serbia. *Srp Arh Celok Lek*. 2013. Vol. 141. No. 1—2 (in Serbian).
- [21] *Levi M. Sociology of Trust*. Seattle: University of Washington; United States Studies Centre at University of Sydney, 2015.
- [22] *Luhmann N.* Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives. In D. Gambetta (ed.) *Trust: Making and Breaking of Cooperative Relations*. Oxford: Blackwell, 1988.
- [23] *Luhmann N. Trust and Power*. Chichester, John Wiley & Sons, 1979.
- [24] *Malavrić Dj. Šeydeset osma — lične istorije [1968 — Personal History]*. Beograd: RTS, Drugi program Radio Beograda, Službeni glasnik, 2008 (in Serbian).
- [25] *Marković-Krstić S.* Omladina kao predmet naučnog proučavanja: nastanak i razvoj sociologije omladine [Youth as an Object Scientific Study: Development of Sociology of Youth]. In B. Dimitrijević (ed.) *Nauka i savremeni univerzitet-1*. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012 (in Serbian).
- [26] *Marty D. Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs in Kosovo*. Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights. Draft resolution adopted unanimously by the Committee in Paris on 16 December 2010. URL: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf.
- [27] *Milić A.* Omladina [Youth]. In A. Mimica, M. Bogdanović. *Sociološki rečnik*. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007 (in Serbian).
- [28] *Mills M., van de Bunt G.G., de Bruijn J.* Comparative research: Persistent problems and promising solutions. *International Sociology*. 2006. Vol. 21.
- [29] *Mijanović G., Stanić G., Stojanović G., Terzić N., Janošević M.* Konzumiranje alkohola kao štetne navike u populaciji mladih [Alcohol consumption as a harmful habit of the youth]. *Sestrinska reč*. 2015. Vol. 19 (in Serbian).
- [30] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Comparative analysis as a basic research orientation: Key methodological problems. *Vestnik RUDN. Serija «Sociologija»*. 2015. No.4.
- [31] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Value orientations of Russian and Chinese youth: A regional dimension. *China Youth Today*. 2010. Vol. 5 (in Chinese).
- [32] *Pean P., Fontenelle S.* Kosovo une guerre juste pour créer un état mafieux. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2013.
- [33] *Petrović J., Šuvaković U.* Religioznost, konfesionalna distanca i mesto verske pripadnosti u strukturi identiteta studenata u kosovskoj Mitrovici [Religiosity, confessional distance and the role of religious affiliation in the identification of students in Kosovska Mitrovica]. In Z. Milošević, Ž. Djurić (eds). *Nacionalni identitet i religija*. Beograd: Institut za političke studije, 2013 (in Serbian).

- [34] Putnam R.P. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- [35] Rothstein B. *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago. London: University of Chicago Press, 2011.
- [36] Šuvaković U. *Serbija v epohu peremen* [Serbia under the Transition]. Moskva: RUDN, 2016 (in Russian)
- [37] Sztompka P. *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [38] Trotsuk I.V., Savelieva E.A. Sravnitel'nye issledovanija cennostnyh orientacij: vozmožnosti, ogranichenija, logika razvitija [Comparative studies of value orientations: potential, limitations, and the logic of development]. *Vestnik RUDN. Serija: Sociologija*. 2015. No. 4 (in Russian).
- [39] Uslaner E. (2002). *The Moral Foundations of Trust*. Cambridge University Press, 2002.
- [40] Yamagishi T., Yamagishi M. Trust and commitment in the United States and Japan. *Motivation and Emotion*. 1994. No. 18.

МОЛОДЕЖЬ РОССИИ И СЕРБИИ: УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

У.В. Шувакович¹, Н.П. Нарбут², И.В. Троцук²

¹Университет Приштины, временно расположенный
в Косовской Митровице, Сербия

²Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Социологическая лаборатория Российского университета дружбы народов реализовала целый ряд сравнительных эмпирических проектов, используя методику массовых опросов на студенческих выборках разных стран. Результаты этих проектов неоднократно публиковались на страницах российских и зарубежных журналов, и данной статьей мы продолжаем попытки ввести двойной формат презентации сравнительных исследований. В 2015 году и отчасти в данном тексте мы фокусируемся на методологических и методических особенностях сопоставительного анализа ключевых проблем разных (по страновому и временному критериям) совокупностей, которые становятся очевидны только в том случае, если мы сами реализуем полный цикл исследовательских работ — начиная с постановки задачи и ее согласования со всеми участниками проекта (как правило, речь идет о коллективах из разных стран) и заканчивая интерпретацией и сопоставлением полученных данных. В данной статье и до завершения поддержки Российского гуманитарного научного фонда в 2017 году мы сосредоточимся в большей степени на содержательных результатах сравнительных «замеров», полученных благодаря применению в разных странах одного и того же опросного инструментария (с неизбежными и предсказуемыми модификациями в каждом конкретном случае). В статье представлен лишь фрагмент проведенной работы — данные, показывающие особенности восприятия сербской и российской студенческой молодежью собственной жизненной ситуации сквозь призму ключевых проблем своего поколения (и страны в целом) и уровня социального доверия базовым институтам общества. Тематический выбор авторов не случаен — подобная фокусировка позволяет рассмотреть два важных индикатора социального самочувствия молодых поколений одновременно с содержательных и методических позиций. В статье приведены результаты анкетирования в двух сербских вузах — Белградском университете и Университете Приштины, временно расположенном в Косовской Митровице, а также на выборке московских студентов (часть ее составили студенты Российского университета дружбы народов).

Ключевые слова: сравнительный анализ; количественный подход; массовый опрос; студенческая молодежь; поколенческие проблемы; уровень социального доверия; социальные институты; Россия; Сербия.

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА*

А.В. Мозговая, Е.В. Шлыкова

Институт социологии Российской академии наук,
Москва, Россия

Исходным положением для формулировки целевого назначения настоящей статьи является признанный исследователями и практиками феномен неравномерности социально-экономического положения регионов современного общероссийского пространства, включающий и неравенство в распределении рисков. Цель статьи состоит в обосновании целесообразности организации и проведения комплексных экономико-социологических мониторингов регионального статуса безопасности. Подтверждается научная и практическая потребность в информации о субъективных оценках степени уязвимости и ресурсах противостояния рискам, полученной посредством репрезентативных социологических опросов населения. В формате ретроспективной рефлексии опыта эмпирических исследований как коллег из регионов, так и данных своего научного подразделения авторами формулируются методологические положения, анализируется опыт разработки и применения целого ряда показателей социальной защищенности, отношения к риску, безопасности жизненной среды и др.; приводится интерпретация показателей в отношении их продуктивности для региональных мониторинговых исследований. Среди прочего авторами выделяются такие понятия, как «риск-компенсация» и «риск-выгода», «риск-защищенность», «риск-допустимость» и «риск-решение». Обосновывается прогностический потенциал социальной приемлемости риска как комплексного базового показателя для организации коммуникации социальных субъектов по поводу статуса безопасности регионов и территориальных сообществ.

Ключевые слова: регион; неравенство; риск; безопасность; социальные показатели; мониторинг; социология риска; регионы Российской Федерации

Неравномерность социально-экономического статуса регионов современного общероссийского пространства представляет актуальную социальную проблему и обуславливает востребованность ее научной рефлексии. Информационно-аналитическая работа подтверждает устойчивый рост числа исследований по проблемам региональных различий как в границах регионоведения, так и в рамках других научных дисциплин, в том числе социологии и рискологии. В монографии, обобщающей результаты комплексных исследований, выполненных учеными и специалистами научных организаций России, неравномерность социально-экономического развития регионов экспертами оценивается как один из стратегических рисков, угрожающих безопасности страны [42].

В социологической науке региональные различия исследуются как в рамках традиционных подходов [40], так и новых — основанных на поиске, анализе и обосновании нестандартных показателей регионального неравенства [2]. Отметим ряд целевых, монографических исследований социологической направленности: Н.И. Лапин обосновывает понятие «ассиметрии» российских регионов [19], В.В. Маркин — «неравенства» [20], А.Н. Проценко — «неравновесности» российских регионов [39].

* © А.В. Мозговая, Е.В. Шлыкова, 2016.

Н.И. Лапин отмечает, что нарастающая асимметрия российских регионов связана с непредвиденными последствиями, в первую очередь — с «разрушением жизненных миров поселенческих общностей» [19. С. 31]. В формулировке В.В. Маркина глубина и острота региональных неравенств вызывает целый ряд рисков, наиболее важными из которых являются «дезинтеграция социального пространства макрорегиона и России в целом; обособление отдельных региональных сообществ, а внутри них отдельных социальных слоев и этнических групп; снижение удовлетворенности жизнью, нарастание чувства социального неблагополучия в региональных сообществах; утрата доверия к органам власти всех уровней; потеря жизненных перспектив, особенно среди молодежи; деградация человеческого потенциала, обесценивание человеческого капитала; возбуждение социальной зависти к «соседям»; рост напряженности в межнациональных (межэтнических) отношениях, ведущий к социально-этническим конфликтам» [20. С. 126]. А.Н. Проценко подчеркивает, что региональное «состояние риска в России не может считаться равновесным. Это означает, что в ряде „грязных“ регионов, где расположены опасные (загрязняющие) производства (электростанции, металлургические заводы, нефтеперерабатывающие и химические производства и проч.) риск для населения ... оказывается намного выше риска в „чистых“ регионах, не имеющих подобных производств» [39. С. 283—284].

С позиций социологии риска проблема региональной безопасности соотносится как с естественными региональными различиями, так и с неравенством в распределении рисков между российскими регионами и отдельными поселенческими общностями внутри них. Анализ научной литературы по региональной безопасности показывает, что современные исследования этого явления ведутся в основном в следующих направлениях: региональная безопасность рассматривается как необходимое условие и важнейший компонент в обеспечении национальной безопасности России [14]; изучаются различные аспекты безопасности регионов, соответствующие основным сферам жизнедеятельности общества: экономический [7; 15]; социальный [13; 17; 35; 37]; экологический [33]; производственный (технологический, техногенный) [6; 41]; информационный [11]; большой объем публикаций сфокусирован на изучении энергетической и продовольственной безопасности на региональном уровне, усиленный, очевидно, сегодняшними особенностями социально-экономического положения страны в целом и регионов в частности [см., например, 4; 45]; исследуются узкие аспекты региональной безопасности: миграционная, этно-региональная, инвестиционная, финансовая, бюджетная, налоговая, кадровая, гигиеническая, общественная, военная, террористическая, пожарная, дорожного движения, компьютерных систем и т.д.

Для оценки состояния и уровня региональной безопасности в основном используются так называемые объективные показатели, основанные на статистических данных, с преобладанием собственно экономических критериев. В научной литературе представлен целый ряд продуктивных с точки зрения науки и практики систем показателей, отличающихся полнотой и значимостью. Развернутая номенклатура показателей безопасности жизнедеятельности и стратегического риска, развития человеческого потенциала, образа жизни, экономической безопасности,

критериальные количественные значения первичных показателей безопасности по сферам жизнедеятельности для федерального и регионального уровней, разработанные ведущими научными организациями страны, собраны в коллективной монографии «Стратегические риски России: оценка и прогноз» [42. С. 288—379].

Показатели, которые можно отнести к «человеческому измерению» региональной безопасности, представлены значительно меньше [см., напр.: 36]. Нам представляется необходимым привлечь внимание к тому, что анализ социальной ситуации не будет полным без информации о том, каким образом эта ситуация воспринимается и оценивается населением территориальных региональных и поселенческих общностей.

Неравенство в распределении рисков как один из социальных факторов зафиксировать можно только через оценочные субъективные показатели, а динамику процесса — через мониторинг. Это особенно актуально в связи с существенными содержательными изменениями, которые претерпел Федеральный закон РФ «О безопасности». Так, в редакции Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (утратившего силу) к основным принципам обеспечения безопасности отнесены следующие: «законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; интеграция с международными системами безопасности» [9].

В действующей редакции Закона основными принципами обеспечения безопасности являются: «соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности» [44].

Сравнительный анализ редакций Закона «О безопасности» показывает, что произошел переход от стратегии реагирования на нарушение безопасности и смягчения последствий к стратегии предвосхищения и предупреждения подобных нарушений. Смыслообразующим ядром национальной безопасности выступает *защищенность* человека на индивидуальном, групповом, региональном и общероссийском уровне. Взаимодействие государственных органов, общественных объединений и населения как нормативный механизм обеспечения этой защищенности требует обоснования *социологических* показателей комплексного научного мониторинга, на базе которых возможно построить эффективную коммуникацию между экспертами разных направлений, представителями органов власти и населением.

Сотрудниками сектора проблем риска и катастроф Института социологии РАН много лет разрабатываются и апробируются социологические показатели риска и безопасности на региональном, локальном и личностном уровне [30]. В следующем разделе представлен ретроспективный анализ нашего опыта: оценивается ряд субъективных социологических показателей с точки зрения продуктивности их использования в системе комплексного мониторинга региональной безопасности.

Прежде чем перейти к описанию опыта эмпирических исследований, определим основные понятия, в рамках которых работает сектор: регион, безопасность, риск, мониторинг.

Регион — это прежде всего единица организации пространства, толкование которого зависит от критерия, выбранного для характеристики той или иной части пространства, дифференцирующего ее от других. Классифицировать подходы к определению понятия «регион» можно по нескольким критериям. По территориальному критерию регион рассматривается как единица территориального деления страны. По административному критерию основной системообразующей характеристикой региона является наличие политико-административных органов управления [3]. Еще одним критерием для определения понятия «регион» выступает общность условий: природных, географических, социально-экономических, национально-культурных и иных [12]. В основе хозяйственного подхода к толкованию понятия «регион» лежит региональное разделение труда и процессы воспроизводства [10]. По социально-экономическому критерию регион рассматривается как целостная система, обладающая экономической самостоятельностью [8].

В предметных рамках социологической науки регион представляет собой один из уровней анализа общего и особенного в проявлении социальных процессов, функционировании социальных институтов, в характере рефлексии их продуктивности в сознании региональной территориальной общности, а также в наличии и особенностях ее самоидентификации [16]. Отметим, что региональное самосознание, на наш взгляд, включает в себя не только отождествление с определенной территориальной общностью, но и дифференциацию от жителей других регионов. В соответствии с социологической спецификой определим *регион* как сложившуюся в определенных административных границах в соответствии с общностью природных, географических, национально-культурных и хозяйственных условий территориальную поселенческую общность, обладающую экономической, политической, социокультурной целостностью, и выступающую в качестве субъекта в системе социально-экономического управления.

В концептуальных рамках социологии риска принято рассматривать категорию *безопасности* как «парную» по отношению к категориям, характеризующим меру опасности для социальных, экономических, технических и экологических систем, а именно: *опасность, риск, вызов и угроза*. Все эти категории являются производными от понятия *ущерб (вред)* и различаются по роли субъективного фактора в возникновении неблагоприятного результата. Классик социологии риска Н. Луман предлагает говорить о риске в том случае, если ущерб наступил в результате субъективного действия (решения); когда же причины ущерба вменяются не человеку, а окружающему миру, речь идет об опасности [51]. Мы определяем

риск как потенциальную возможность нанесения ущерба (вреда) определенному объекту или субъекту, обусловленную как наличием источника неблагоприятного воздействия, так и недостаточной защищенностью объекта или субъекта, реальной или субъективно воспринимаемой.

Категории опасность, риск, угроза, вызов характеризуют отсутствие или утрату объектом (субъектом) защищенности от оказываемого на него неблагоприятного воздействия. Именно через понятие защищенности безопасность связана с рисками, угрозами, вызовами и опасностями, поскольку является основной категорией, «характеризующей целевую функцию обеспечения максимально возможной при заданных условиях степени защищенности от неблагоприятных воздействий» [38. С.45] — приемлемый риск в отличие от абсолютной безопасности. Приемлемый риск рассматривается как показатель определенного уровня защищенности субъектов (объектов) от вредных воздействий различных источников, а значит, категория приемлемого риска является наиболее адекватным «отражением» безопасности.

Придерживаясь методологических принципов социологии риска, основанных на динамическом подходе и концепции приемлемого риска, *безопасность* мы понимаем как определенный статус того или иного социального субъекта (объекта), характеризующийся его нахождением в «условиях приемлемого риска» [39. С. 263] в конкретный отрезок времени. К такому пониманию безопасности практически одновременно пришли специалисты как в области технических и экономических наук, так и обществоведы. Количественные критерии приемлемого риска уже рассчитаны и успешно применяются на практике (в том числе и на региональном уровне) [39. С. 256—292].

Разрабатываются и качественные показатели приемлемости риска [25; 27]. Полагаем, что именно показатель приемлемости риска содержит потенциал для количественной и качественной оценки факторов, нарушающих безопасность, применим для оценки безопасности на разных уровнях (в том числе и региональном) и может рассматриваться как основа коммуникации субъектов для разработки программ обеспечения безопасности.

Как известно, формат мониторинговых замеров, в том числе и опросов населения, позволяет устанавливать тенденции, тренды социальных изменений. Публикуемые данные мониторингов различных фондов и организаций предоставляют самые широкие возможности для отслеживания динамики социального самочувствия населения страны, отдельных регионов и территориальных общностей. Тем не менее, в инструментариях тех мониторингов, данные которых имеются в открытом доступе, нет «целевых» эмпирических индикаторов, направленных на измерение как субъективных оценок респондентов относительно безопасности региона, района проживания, ближайшей среды жизнедеятельности, так и факторов влияния на эти оценки. Социологи, работающие в области исследований риска, установили, что социальные субъекты различаются по характеру установок, восприятия и оценок риска [22], эти оценки изменяются под воздействием целого ряда факторов и условий, зависят от оценки ими среды возникновения риска и его возможных последствий [1].

На протяжении многолетней исследовательской практики мы апробировали целый ряд индикаторов, характеризующих субъективные установки в отношении риска. К примеру, — «риск-компенсация» и «риск-выгода». Установка на «риск-компенсацию» заключается в принятии материальной компенсации за риск, например, проживания рядом с опасным предприятием (улучшение жилищных условий, дотации, страховка, участие в прибылях и пр.). Установка на «риск-выгоду» свидетельствует об определенном выборе в ситуации вероятности различного ущерба, связанной, например, с проживанием рядом или работой на опасном производстве, против социальных выгод и гарантий (занятость, доход, инфраструктура). Характер выбора можно описать как «обмен (продажу) безопасности на социально-экономическую выгоду». При использовании индикаторов установок на риск нам удалось вывести индексы согласия принять риск в обмен на компенсации в региональном исследовании на острове Сахалин и типологизировать отдельные поселенческие общности по значению этого индекса [31], а позднее — обосновать феномен, названный нами «эколого-экономическое противоречие», формирующийся в регионах с вредным производством вследствие несовпадения логики развития экономической сферы и интересов сохранения здоровой окружающей среды [24; 29] и зафиксировать специфику его проявления в отдельной поселенческой общности [48].

Методика анализа особенностей восприятия риска основана на конструировании индекса тревожности через оценку степени опасности ряда рисков и угроз, о которых сообщают средства массовой информации. При использовании индикаторов восприятия риска в ряде исследований нам удалось вывести индексы тревожности в отношении риска для различных поселенческих общностей [23]. Отметим, что существуют и другие подходы к оценке тревожности массового сознания: сравнительный анализ российских регионов по уровню тревожности на основе оценок 43-х страхов [49]; готовность населения обезопасить себя от тех или иных угроз [50]; анализ фобий и угроз в массовом сознании россиян [5]; анализ страхов отдельных категорий населения [34].

Отношение к риску первоначально рассматривалось нами на основании трех индикаторов: «риск-защищенность», «риск-допустимость» и «риск-решение». «Риск-защищенность» раскрывается через оценку личной социальной защищенности по различным заданным ситуациям. «Риск-допустимость» — это оценка степени допустимости следующих рисков: материального (потеря имущества, собственности); физического (ухудшение, утрата здоровья); психологического (стресс, потеря контроля над своей жизненной ситуацией); социального (потеря работы, служебного положения, статуса); духовного (обесценивание человеческой жизни, игнорирование гуманистических идеалов); морального (изменение жизненного уклада, слом планов); экономического (финансовые потери, утрата или обесценивание сбережений); экологического (дискомфорт от деградации окружающей среды). Содержанием «риск-решения» выступает индивидуальный выбор (на основании принятого решения) в опасной ситуации, например, принятие технологического риска при условии решения ряда экономических и социальных

проблем на территории проживания или принятие/непринятие жизни в условиях риска (возможности различных ущербов).

Использование индикатора «риск-защищенность» позволил нам зафиксировать «профиль социальной защищенности» в ряде поселенческих общностей с монопроизводством, характеризующихся потенциальным технологическим риском [23], а позднее на базе соотношения показателей «субъективно ощущаемая защищенность» и «удовлетворенность жизненными условиями» — обосновать формирование специфической солидарности в поселенческой общности, адаптирующейся к острому риску [28].

Использование индикатора «риск-защищенность» в общероссийском исследовании отношения населения к терроризму как специфическому типу риска (руководители М.К. Горшков и А.В. Мозговая), позволило зафиксировать низкий уровень защищенности населения России в целом от террористической угрозы и построить региональный «рейтинг тревожности» относительно возможности/невозможности терактов в регионе проживания [43].

При использовании индикатора «риск-допустимость» в ряде исследований нам удалось вывести индексы допустимости риска для различных поселенческих общностей [23], зафиксировать «профиль риск-допустимости» старшеклассников в общности с вредным производством [32], типологизировать население ряда российских регионов по допустимости риска («риск-толерантные», «риск-противники», «риск-дифференцирующие») и на основе сравнительного анализа этих типов допустимости риска выявить целый ряд существенных региональных различий [21]. Использование индикатора «риск-решение» позволило нам выявить региональные различия в поведении населения в прожективных ситуациях риска [21] и различия адаптационных стратегий и соответствующих им способов адаптации населения, проживающего в поселенческой общности, адаптирующейся к острому риску [26].

В более поздних исследованиях набор индикаторов отношения к риску расширился и детализировался. Среди «новых» индикаторов, позволяющих описать специфику отношения к риску — характер риска, информированность о природе возникновения рисков и специфике их воздействия на общество [22]. Анализ уровня информированности о риске, являющемся условием проживания в городе с предприятием ядерного комплекса, позволил зафиксировать связь этого индикатора с негативным отношением к ядерной промышленности в целом и высоким уровнем обеспокоенности в отношении рискогенности жизненной среды [32]. Использование индикатора «характер риска» (добровольный/навязываемый) в ряде исследований позволил нам сделать вывод о его связи с оценкой приемлемости риска применительно к различным опрошенным совокупностям [28; 32; 46].

Для интерпретации результатов последних региональных исследований мы использовали комплексный показатель отношения к риску, состоящий из (1) общей оценки риска, основанной на самооценках безопасности среды; уязвимости (незащищенности) по отношению к возможным ущербам и готовности к риску; (2) отношения к источнику неблагоприятного воздействия; (3) оценки возможно-

сти и механизмов обеспечения приемлемого уровня риска. По этому показателю в общности, проживающей в условиях острого риска, нам удалось зафиксировать связь неприемлемого уровня риска с выбором способа поведения, в том числе протестной активности [47].

Анализ приемлемости риска в этой общности по таким индикаторам, как «восприятие личной защищенности» и «дистанция социального распределения рисков», позволил установить, что население склонно оценивать риски и уязвимость к ним на отдаленной дистанции социального распределения: в масштабах влияния на страну в целом или регион проживания [18], что подчеркивает важность «человеческого измерения» безопасности именно на региональном уровне.

Отрефлексированный выше исследовательский опыт показывает продуктивность использования описанных индикаторов для анализа регионального неравенства в распределении рисков и включения их в систему показателей региональных мониторингов безопасности. Полагаем, что сравнение различных поселенческих общностей по специфике отношения к риску позволит выделить в общероссийском пространстве «благополучные» и «неблагополучные» регионы по критерию безопасности и защищенности от рисков и угроз.

Таким образом, в статье мы предложили подход к анализу региональной безопасности с позиций социологии риска. За рамками статьи остались существенные аспекты проблемы: принципы структуризации показателей, их институализация в системе управления региональной безопасностью. Тем не менее, анализ позволяет сформулировать ряд выводов и направлений развития и реализации предложенного подхода:

— В анализ региональной безопасности наряду с другими аспектами регионального неравенства целесообразно включать неравенство в распределении рисков.

— Приоритетный объект безопасности, отраженный в действующем законодательстве, а именно: соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, требует расширения возможностей «человеческого измерения» безопасности, в том числе и на региональном уровне.

— Изменение концептуального подхода к управлению безопасностью от парадигмы абсолютной безопасности к концепции приемлемого риска обуславливает актуальность и значимость научных разработок в области социальной приемлемости риска. Предлагаемый подход учитывает показатели, имеющие качественную природу — отношение к риску.

— Переход от стратегии реагирования на нарушение безопасности и смягчения последствий к стратегии предвосхищения и предупреждения подобных нарушений предполагает необходимость учета в ходе анализа региональной безопасности прогностических возможностей используемых показателей. Полагаем, что в основе прогноза возможных нарушений безопасности может лежать комплексный показатель приемлемости риска, количественно и качественно измеряемый. В силу своей динамической природы этот показатель требует мониторинговых региональных замеров.

— Нормативный механизм обеспечения безопасности, предполагающий взаимодействие государственных органов, общественных объединений и населения, обуславливает важность социологической поддержки эффективной коммуникации между экспертами разных направлений, представителями органов власти и населением для поддержания определенного статуса безопасности на разных уровнях, в том числе, региональном.

— Смещение ответственности за обеспечение безопасности в сферу деятельности органов государственного управления всех уровней обуславливает потребность в научной разработке положений социологической концепции ответственности [52].

В заключение считаем целесообразным упомянуть следующее. Когда статья была практически готова к публикации, в средствах массовой информации появились тревожные отклики экспертного сообщества на заявление спикера Совета Федерации РФ В. Матвиенко о «перекрылке региональной карты» России и укрупнении ряда регионов для выравнивания ситуации в «объективно нежизнеспособных регионах», что повышает актуальность и подтверждает своевременность очерченных в статье проблем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н.* Риски в природе, обществе и экономике. М., 2004.
- [2] Актуализированные ценности современного российского общества / Отв. ред. И.А. Халий. М., 2015.
- [3] *Волков Ю.Г.* Регионоведение. Ростов н/Д., 2004.
- [4] *Гафуров А.Р.* Формирование системы управления энергетической безопасностью на региональном уровне // Экономика и управление. 2009. № 9.
- [5] *Горшков М.К., Петухов В.В., Крумм Р.* Россия на новом переломе: страхи и тревоги / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М., 2009.
- [6] *Горюнкова А.А., Рудакова Д.А.* Основные методы управления производственной безопасностью на региональном уровне и предложения по их улучшению // Современные проблемы экологии. Сб. трудов XIII Международной научно-технической конференции. Тула, 2015.
- [7] *Гук С.В.* Экономическая безопасность: региональный анализ. Владивосток, 2008.
- [8] *Десятова Е.Ю.* Экономическая география и регионоведение. Челябинск, 2009.
- [9] Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности».
- [10] Закономерности и проблемы функционирования и развития экономики региона: теоретический и прикладной аспекты исследования / Под науч. ред. С.Ю. Авакова. Таганрог, 2004.
- [11] *Захаров А.П.* Информационная безопасность как компонент построения устойчивой социально-экономической системы // Сб. конф. НИЦ Социосфера. 2011. № 17.
- [12] *Игнатов В.Г., Бутов В.И.* Регионоведение. Ростов н/Д., 2004.
- [13] *Игнатова Т.В.* Проблемы управления региональной социально-трудовой и демографической безопасностью в пост-кризисный период // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 8.
- [14] *Казакова М.Н.* Региональная безопасность в системе национальной безопасности России // Регионоведение. 2011. № 3.

- [15] *Кириянов А.Ю.* Экономическая безопасность как особое направление обеспечения региональной безопасности в современном российском государстве // Адвокатская практика. 2006. № 1.
- [16] *Корепанов Г.С.* Региональная идентичность в дискурсе социологии регионального развития // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2009. № 4.
- [17] *Кормановская И.Р.* Социальная безопасность: региональный аспект // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 16.
- [18] *Корнилова М.В.* Риск: приемлемость, защищенность, социальное распределение // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 3.
- [19] *Латин Н.И.* Новые проблемы исследований региональных сообществ // Социологические исследования. 2010. № 7.
- [20] *Маркин В.В.* Региональное развитие Юга России: проблемы многомерной идентификации и моделирования // Гуманитарий Юга России. 2015. № 4.
- [21] *Мозговая А.В.* Допустимость ущерба как одно из социологических измерений отношения к риску // Социологические координаты риска / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2008.
- [22] *Мозговая А.В.* Социология и управление риском // Социологические координаты риска / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2008.
- [23] *Мозговая А.В.* Технологический риск как компонент окружающей социальной среды: восприятие и отражение в субкультуре территориальной общности // Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2001.
- [24] *Мозговая А.В., Комарова В.А.* Социологическое обеспечение рискованной коммуникации // Риск: социологический анализ, коммуникация, региональное управление / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2004.
- [25] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В.* «Социальная приемлемость риска» как социологическая категория // Социология: 4М. 2010. № 31.
- [26] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В.* Социальные ресурсы и адаптация к риску: выбор стратегии (на примере социальной общности в ситуации конкретного риска) // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4.
- [27] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В.* Социологические детерминанты приемлемости риска // Социологические координаты риска / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2008.
- [28] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В.* Факторы формирования статуса безопасности в условиях острых и повседневных рисков // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 4.
- [29] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В.* Эколого-экономическое противоречие: социальный конфликт или согласие // Социальное согласие в современном мире. М., 2000.
- [30] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В., Городничева А.И.* Безопасность социальной сферы региона: постановка проблемы, показатели // Риск: социологический анализ, коммуникация, региональное управление / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2004.
- [31] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В., Городничева А.И.* Экологический риск: социальные аспекты регионального природопользования // Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2001.
- [32] *Мозговая А.В., Шлыкова Е.В., Курочкина А.Е.* Рискогенная городская среда: адаптационный потенциал молодежи // Риск: исследования и социальная практика / Отв. ред. А.В. Мозговая. М., 2011.
- [33] *Молев М.Д.* Теория и практика управления региональной экологической безопасностью. Шахты, 2006.
- [34] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Репертуар страхов российского студента: по материалам эмпирического проекта // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2013. № 4.
- [35] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Мировосприятие российской молодежи: патриотические и геополитические компоненты // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4.

- [36] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Страхи и опасения российского студенчества: возможности эмпирической фиксации // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2.
- [37] *Ноянзина О.Е.* К концептуализации понятия «социальная безопасность региональных социумов» // Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 2—1.
- [38] *Порфирьев Б.Н.* Риск и безопасность: определение понятий // Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М., 2001.
- [39] *Проценко А.Н.* Об основных принципах и механизмах управления региональной безопасностью // Проблемы анализа риска. 2006. Т. 3. № 3.
- [40] Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства России. М., 2015.
- [41] Региональные риски чрезвычайных ситуаций и управление природной и техногенной безопасностью муниципальных образований // Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 20—21 апреля 2004 г. М., 2004.
- [42] Стратегические риски России: оценка и прогноз / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2005.
- [43] *Толмач А.Д.* Феномен терроризма в массовом сознании // Социологические исследования. 2009. № 4.
- [44] Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
- [45] *Шапкина Л.Н.* Региональные аспекты управления продовольственной безопасностью // Terra Economicus. 2012. № 1—2.
- [46] *Шлыкова Е.В.* Безопасность или приемлемый риск как цель адаптации (на примере мигрантов и принимающего населения) // Риск: исследования и социальная практика / Отв. ред. А.В. Мозговая. М., 2011.
- [47] *Шлыкова Е.В.* Отношение к риску как дифференцирующий фактор выбора способа вынужденной адаптации. 2015 // URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=4081>.
- [48] *Шлыкова Е.В.* Потенциал протестной активности молодежи в условиях риска: анализ случая // Вестник Института социологии. 2015. № 2.
- [49] *Шубкин В.Н.* Страхи в России // Социологический журнал. 1997. № 3.
- [50] *Ядов В.А.* Структура и побудительные импульсы социально-тревожного сознания // Социологический журнал. 1997. № 3.
- [51] *Luhmann N.* Risk: A Sociological Theory. Berlin—N.Y., 1993.
- [52] *Mozgovaya A.V.* Methodological potential of responsibility concept in a sociological provision of technological risk management // Network Scientific Journal Research Result. Series: Sociology and Management. 2015. Vol. 1. No. 4.

REGIONAL SAFETY AS AN OBJECT OF SOCIOLOGICAL MONITORING

A.V. Mozgovaya, E.V. Shlykova

Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The starting point for the scientific discussion of the article is the widely accepted fact of the economic and social inequality of different Russian regions' development including inequality of risks. The article aims to explain the necessity of conducting complex economic and sociological regional monitoring of different communities safety status. The authors emphasize the scientific and practical need in the information on the subjective estimates of risks and ways to overcome them obtained through the representative sociological surveys. Using the retrospective format of the methodological reflection of the

empirical studies conducted by the authors and their colleagues in different Russian regions, the authors analyze the methodological grounds for the study of such indicators as social safety, risk perception, estimates of life safety, etc. which are effective for regional monitoring aims. The authors consider such concepts as 'risk-compensation' and 'risk-advantage', 'risk-security', 'risk-permissibility' and 'risk-decision'; and prove the prognostic potential of the social acceptability of risk as a complex indicator for social actors' communication on the security status of regions and local safety.

Key words: region; social inequality; risk; safety; social indicators; monitoring; sociology of risk; regions of the Russian Federation

REFERENCES

- [1] *Akimov V.A., Lesnyh V.V., Radaev N.N.* Riski v prirode, obshchestve i ekonomike [Risks in Nature, Society and Economy]. M., 2004.
- [2] Aktualizirovannyye tsennosti sovremennogo rossijskogo obshchestva [Current Values of the Contemporary Russian Society]. Otv. red. I.A. Khalij. M., 2015.
- [3] *Volkov Yu.G.* Regionovedenie [Regional Studies]. Rostov n/D., 2004.
- [4] *Gafurov A.R.* Formirovanie sistemy upravleniya energeticheskoy bezopasnostyu na regionalnom urovne [The control system of energy security formation at the regional level]. Ekonomika i upravlenie. 2009. No.9.
- [5] *Gorshkov M.K., Petukhov V.V., Krumm R.* Rossiya na novom perelome: straxi i trevogi [Russia on the New Turn: Fears and Anxieties]. Pod red. M.K. Gorshkova, R. Krumma, V.V. Petukhova. M., 2009.
- [6] *Goryunkova A.A., Rudakova D.A.* Osnovnye metody upravleniya proizvodstvennoj bezopasnost'yu na regional'nom urovne i predlozheniya po ikh uluchsheniyu [Basic methods of industrial security management at the regional level and suggestions for their improvement]. Sovremennyye problemy ekologii. Sb. trudov XIII Mezhdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoy konferencii. Tula, 2015.
- [7] *Guk S.V.* Ekonomicheskaya bezopasnost': regional'nyj analiz [Economic Security: A Regional Analysis]. Vladivostok, 2008.
- [8] *Desyatova E.Yu.* Ekonomicheskaya geografiya i regionovedenie [Economic Geography and Regional Studies]. Chelyabinsk, 2009.
- [9] Zakon RF ot 5 marta 1992 goda № 2446-I «O bezopasnosti» [The law of the Russian Federation, 5 March, 1992, № 2446-I «On Security»].
- [10] Zakonomernosti i problemy funkcionirovaniya i razvitiya ekonomiki regiona: teoreticheskij i prikladnoj aspekty issledovaniya [Patterns and problems of functioning and development of regional economy: theoretical and applied aspects of research]. Pod nauch. red. S.Yu. Avakova. Taganrog, 2004.
- [11] *Zakharov A.P.* Informatsionnaya bezopasnost' kak komponent postroeniya ustojchivoj socialno-ekonomicheskoy sistemy [Information security as a component of the sustainable social-economic system]. Sb. konferentsij NIC Sociosfera. 2011. No. 17.
- [12] *Ignatov V.G., Butov V.I.* Regionovedenie [Regional Studies]. Rostov n/D., 2004.
- [13] *Ignatova T.V.* Problemy upravleniya regionalnoj socialno-trudovoj i demograficheskoy bezopasnostyu v post-krizisnyj period [Problems of managing regional social-demographic and labor security in the post-crisis period]. Nauka i obrazovanie: khozyajstvo i ekonomika; predprinimatelstvo; pravo i upravlenie. 2014. No. 8.
- [14] *Kazakova M.N.* Regionalnaya bezopasnost' v sisteme natsionalnoj bezopasnosti Rossii [Regional security in the system of national security of Russia]. Regionologiya. 2011. No. 3.
- [15] *Kiryayov A.Yu.* Ekonomicheskaya bezopasnost' kak osoboe napravlenie obespecheniya regionalnoj bezopasnosti v sovremennom rossijskom gosudarstve [Economic security as a specific dimension of regional security in the contemporary Russian state]. Advokatskaya praktika. 2006. No. 1.

- [16] *Korepanov G.S.* Regionalnaya identichnost' v diskurse sociologii regionalnogo razvitiya [Regional identity in the discourse of sociology of regional development]. *Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya*. 2009. No. 4.
- [17] *Kormanovskaya I.R.* Socialnaya bezopasnost': regionalnyj aspekt [Social safety: Regional aspect]. *Natsionalnye interesy: priority i bezopasnost'*. 2010. No. 16.
- [18] *Kornilova M.V.* Risk: priemlemost', zashhishhennost', socialnoe raspredelenie [Risk: Acceptability, protection, and social distribution]. *Sociologicheskaya nauka i socialnaya praktika*. 2015. No. 3.
- [19] *Lapin N.I.* Novye problemy issledovanij regional'nykh soobschestv [New problems for the study of regional communities]. *Sociologicheskie issledovaniya*. 2010. No. 7.
- [20] *Markin V.V.* Regional'noe razvitie Yuga Rossii: problemy mnogomernoj identifikatsii i modelirovaniya [Regional development of the Russian South: Problems of multidimensional identification and modeling]. *Gumanitarij Yuga Rossii*. 2015. No. 4.
- [21] *Mozgovaya A.V.* Dopustimost' ushherba kak odno iz sociologicheskikh izmerenij otnosheniya k risku [Acceptability of damages as one of the sociological measurements of attitudes towards risk]. *Sociologicheskie koordinaty riska*. Pod. red. A.V. Mozgovoj. M., 2008.
- [22] *Mozgovaya A.V.* Sociologiya i upravlenie riskom [Sociology and risk management]. *Sociologicheskie koordinaty riska*. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2008.
- [23] *Mozgovaya A.V.* Texnologicheskij risk kak komponent okruzhayushhej socialnoj sredy: vospriyatie i otrazhenie v subkulture territorialnoj obshhnosti [Technological risk as a component of social environment: Perception and reflection in the subculture of community]. *Risk v socialnom prostranstve*. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2001.
- [24] *Mozgovaya A.V., Komarova V.A.* Sociologicheskoe obespechenie riskovoj kommunikatsii [Sociological support of risk communication]. *Risk: sociologicheskij analiz, kommunikaciya, regionalnoe upravlenie*. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2004.
- [25] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V.* "Socialnaya priemlemost' riska" kak sociologicheskaya kategoriya ["Social acceptability of risk" as a sociological category]. *Sociologiya*: 4M. 2010. No. 31.
- [26] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V.* Socialnye resursy i adaptatsiya k risku: vybor strategii (na primere socialnoj obshhnosti v situatsii konkretnogo riska) [Social resources and adaptation to risk: The choice of the strategy (on the example of the social community under the particular risk)]. *Sociologicheskaya nauka i socialnaya praktika*. 2014. No. 4.
- [27] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V.* Sociologicheskie determinaty priemlemosti riska [Sociological determinates of risk acceptability]. *Sociologicheskie koordinaty riska*. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2008.
- [28] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V.* Faktory formirovaniya statusa bezopasnosti v usloviyakh ostrykh i povsednevnykh riskov [Factors of safety status formation under acute and daily risks]. *Sociologicheskaya nauka i socialnaya praktika*. 2015. No. 4.
- [29] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V.* Ekologo-ekonomicheskoe protivorechie: socialnyj konflikt ili soglasie [Ecological-economic contradiction: Social conflict or consensus]. *Socialnoe soglasie v sovremennom mire*. M., 2000.
- [30] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V., Gorodnicheva A.I.* Bezopasnost' socialnoj sfery regiona: postanovka problemy, pokazateli [Safety of the social sphere of the region: The problem and its indicators]. *Risk: sociologicheskij analiz, kommunikaciya, regionalnoe upravlenie*. Pod. red. A.V. Mozgovoj. M., 2004.
- [31] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V., Gorodnicheva A.I.* Ekologicheskij risk: socialnye aspekty regionalnogo prirodopolzovaniya [Environmental risk: Social aspects of regional natural resources use]. *Risk v socialnom prostranstve*. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2001.
- [32] *Mozgovaya A.V., Shlykova E.V., Kurochkina A.E.* Riskogennaya gorodskaya sreda: adaptatsionnyj potentsial molodezhi [Risky urban environment: Adaptation potential of the youth]. *Risk: issledovaniya i socialnaya praktika*. Otv. red. A.V. Mozgovaya. M., 2011.
- [33] *Molev M.D.* Teoriya i praktika upravleniya regionalnoj ekologicheskoy bezopasnostyu [Theory and practice of managing regional environmental safety]. *Shakhty*, 2006.

- [34] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Repertuar strakhov rossijskogo studenta: po materialam empiricheskogo proekta [Russian students' main fears: The results of an empirical study]. Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya. 2013. No. 4.
- [35] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Mirovospriyatie rossijskoj molodezhi: patrioticheskie i geopoliticheskie komponenty [The Russian youth outlook: Patriotic and geopolitical components]. Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika. 2014. No. 4.
- [36] *Narbut N.P., Trotsuk I.V.* Strahi i opaseniya rossijskogo studenchestva: vozmozhnosti empiricheskoy fiksacii [Fears and hopes of the Russian student youth: Possibilities of empirical study]. Teorija i praktika obschestvennogo razvitiya. 2014. No. 2.
- [37] *Noyanzina O.E.* K konceptualizatsii ponyatiya "socialnaya bezopasnost' regionalnykh sociumov" [The conceptualization of term "social safety of regional societies"]. Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. No. 2—1.
- [38] *Porfirev B.N.* Risk i bezopasnost': opredelenie ponyatij [Risk and safety: Definition of the terms]. Risk v socialnom prostranstve. Pod red. A.V. Mozgovoj. M., 2001.
- [39] *Protsenko A.N.* Ob osnovnykh principakh i mexanizmax upravleniya regionalnoj bezopasnostyu [The basic principles and mechanisms of regional security management]. Problemy analiza riska. 2006. Vol. 3. No. 3.
- [40] Regionalnaya sociologiya: problemy konsolidatsii socialnogo prostranstva Rossii [Regional Sociology: The Problems of Consolidation of the Russian Social Space]. M., 2015.
- [41] Regionalnye riski chrezvychajnykh situatsij i upravlenie prirodnoj i tekhnogennoj bezopasnostyu municipalnykh obrazovanij [Regional risks of emergency situations and management of natural and technogenic safety of municipalities]. Materialy IX Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferentsii po problemam zaschity naseleniya i territorij ot chrezvychajnykh situatsij. 20—21 aprelya 2004 g. M., 2004.
- [42] Strategicheskie riski Rossii: otsenka i prognoz [Strategic risks of Russia: Assessment and forecast]. Pod obsch. red. Yu.L. Vorobeva. M., 2005.
- [43] *Tolmach A.D.* Fenomen terrorizma v massovom soznanii [The phenomenon of terrorism in the mass consciousness]. Sociologicheskie issledovaniya. 2009. No. 4.
- [44] Federalnyj zakon RF ot 28 dekabrya 2010 goda № 390-FZ «O bezopasnosti» [Federal law of the Russian Federation, 28 December, 2010, № 390-FZ «On Security»].
- [45] *Shapkina L.N.* Regionalnye aspekty upravleniya prodovolstvennoj bezopasnostyu [Regional aspects of food security management]. Terra Economicus. 2012. No. 1—2.
- [46] *Shlykova E.V.* Bezopasnost' ili priemlyj risk kak tsel adaptatsii (na primere migrantov i primayushhego naseleniya) [Safety, or acceptable risk as a goal of adaptation (on the example of migrants and local population)]. Risk: issledovaniya i socialnaya praktika. Otv. red. A.V. Mozgovaya. M., 2011.
- [47] *Shlykova E.V.* Otnoshenie k risku kak differentsiruyuschij faktor vybora sposoba vyzhdennoj adaptatsii [The attitude to risk as a differentiating factor to choose the way of forced adaptation]. 2015. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=4081>.
- [48] *Shlykova E.V.* Potentsial protestnoj aktivnosti molodezhi v usloviyax riska: analiz sluchaya [The potential of the protest activity of the youth under the risk: A case study]. Vestnik Instituta sociologii. 2015. No. 2.
- [49] *Shubkin V.N.* Strakhi v Rossii [Fears in Russia]. Sociologicheskij zhurnal. 1997. No. 3.
- [50] *Yadov V.A.* Struktura i pobuditelnye impulsy socialno-trevozhnogo soznaniya [Structure and incentives for social anxiety]. Sociologicheskij zhurnal. 1997. No. 3.

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ НА РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*

И.О. Тюрина¹, А.В. Неверов², А.В. Чурсина^{1**}

¹Институт социологии Российской академии наук, Москва, Россия

²Российский университет дружбы народов

Проблематика развития и внедрения наукоемких, конвергирующих и инновационных технологий является одной из основополагающих для России, что детерминировано рядом причин: высокой международной конкуренцией, экономической нестабильностью, быстрыми темпами модернизации технологий и т.д. Для эффективного развития технологического потенциала требуется модернизация ряда отраслей, но крайне важен и вопрос эффективности институционального взаимодействия: повышая профессиональную компетентность разработчиков инноваций, инвестируя в развитие новых технологий, улучшая деловую среду и т.д., зачастую решается лишь одна задача, но положительные результаты нивелируются из-за недостатков в институциональном взаимодействии. Решить эту проблему можно, учитывая факторы, влияющие на создание и коммерциализацию технологий. Одним из наиболее важных, но не всегда учитываемых факторов является правовая защита интеллектуальной собственности, а именно — реализация патентного законодательства. Данный институт влияет на инновационные процессы, от его эффективности зависит изобретательская активность в стране. При этом вопросы институционального взаимодействия в рамках патентного законодательства не получили полноценного анализа в научной и деловой литературе. В связи с этим в рамках статьи предпринята попытка теоретически описать особенности защиты интеллектуальной собственности посредством патентного права, а также изучить проблемы и перспективы институционального взаимодействия основных заинтересованных сторон. Для этого был осуществлен анализ патентного законодательства России и проведен ряд интервью с экспертами в области патентного права. Исследование выявило основные проблемные зоны патентного правоприменения в России и возможные пути преодоления подобных негативных тенденций в защите интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: наукоемкие технологии; NBIC-конвергенция; инновации; изобретение; промышленный образец; патент; патентное право; интеллектуальная собственность; интеллектуальные права

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 16-18-10420, проект «Непрерывное образование и наукоемкие производства: институты и практики взаимодействия») в Институте социологии РАН.

** © И.О. Тюрина, А.В. Неверов, А.В. Чурсина, 2016.

ВВЕДЕНИЕ: РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКИХ И КОНВЕРГИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Создание и внедрение инноваций необходимо для модернизации отечественной экономики и повышения эффективности российских компаний. Без постоянного совершенствования науки и образования происходит социальная и культурная стагнация, в то время как общемировая тенденция изменения и совершенствования производства определяет становление новых форматов экономического взаимодействия, в которых доминирующую роль играют наукоемкие и конвергирующие технологии [14], поэтому одной из приоритетных задач нашей страны на ближайшие годы выступает наращивание высокотехнологического потенциала и выход на международные технологические рынки. Россия до сих пор имеет невысокие показатели в Международном рейтинге инновационной активности [4], несмотря на то, что размеры инвестиций в новые разработки в России в условном соотношении сопоставимы с инвестициями в странах с высокой скоростью создания новых технологий [4], что говорит о наличии институциональных проблем в системе управления наукоемкими технологиями на всех уровнях их создания и внедрения.

Зачастую в теоретических исследованиях и практических кейсах, направленных на изучение и совершенствование инновационных процессов, на второй план уходят аспекты, которые условно можно назвать «техническими». Например, не всегда учитывается эффективность работы «вспомогательного» персонала, обеспечивающего производство новых технологий (деятельность не самих разработчиков, а участие в работе над проектом бухгалтерии, отдела снабжения и т.д.), бюрократические барьеры, проблемы гармонизации законодательных и нормативных актов (в случае реализации международных проектов) и многое другое. «Технические аспекты» во многом зависят от степени диффузии (проникновения) новой технологии в экономическую, социокультурную или правовую сферы общественной жизни. В рамках создания и развития новых технологий обычно выделяют *экономическую* и *социальную диффузии*. Экономическая диффузия — показатель возможности внедрения новой технологии в производственную сферу, финансовый сектор, на рынки, а также в потребительские взаимоотношения. Социальная диффузия — степень проникновения новой технологии в социокультурную среду и общественные взаимоотношения.

Данные характеристики диффузии многофакторно, но не полноценно определяют спектр переменных, влияющих на эффективность создания и внедрения новых технологий. Помимо представленных выше элементов диффузии большое значение для инновационной деятельности имеют законодательные и правовые акты, определяющие порядок взаимоотношений разработчика технологии, потребителей, инвесторов, партнеров, конкурентов, государства и прочих стейкхолдеров. Поэтому отдельно можно выделить *правовую диффузию*, понимая ее, с одной стороны, как степень готовности правовой системы к внедрению новой технологии, а, с другой стороны, как степень регулирующего воздействия законодатель-

ных и нормативных актов, оказывающих влияние на возможность регистрации и защиты инновации. В первом случае речь идет о подготовке или изменении законодательной базы с целью ее гармонизации с эксплуатационными требованиями новой технологии. Например, в 2011 г. компания Google приняла активное участие в разработке законопроекта, разрешающего применение беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования [12; 13]. Подобный подход делает возможным уже на этапе разработки новой технологии запустить взаимодействие между разработчиками и государственными органами, подготовить законодательную базу и нормативные акты перед внедрением новшества и/или (если это невозможно) внести изменения в технологию еще на этапе разработки, что позволяет повысить эффективность и сократить время создания и внедрения новых технологий. Во втором случае речь идет о регулирующем воздействии законодательных и нормативных актов (проще говоря, об их «дружелюбности») в отношении разработки, реализации и коммерциализации новых технологий. Основной его задачей выступает создание норм и стандартов, обеспечивающих процессы формализации и нормативной регистрации новых технологий от формирования идеи до завершения проекта или производства. Особенно важную роль здесь играет защита *интеллектуальной собственности* (далее — ИС), которая создается в ходе разработки новых технологий.

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

В соответствии с законодательством Российской Федерации [1], ИС — результат интеллектуальной деятельности, включающий в себя: произведения науки; программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ); базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства («ноу-хау»). Одним из основных институтов гражданского права, регулирующих защиту ИС, является *патентное право*. *Патент* — это документ, удостоверяющий право авторства на объекты патентного права (1), а именно: изобретение — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа (2); полезная модель — техническое решение, относящееся к устройству (3); технический образец — решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (4).

До принятия в 1991 г. «Закона об изобретениях в СССР» [3] основным документом, удостоверяющим право на изобретение, было *авторское свидетельство*, принцип действия которого был утвержден в 1919 г. в рамках Декрета СНК РСФСР «Об изобретениях (Положение)».

Оформляя авторское свидетельство, разработчик передавал государству исключительные права на использование изобретения. Помимо авторского свиде-

тельства граждане СССР имели возможность получить патент на изобретение, но у этой возможности присутствовали определенные ограничения. Во-первых, нельзя было получить патент на то, что разрабатывалось в процессе трудовой деятельности в государственной организации. Во-вторых, нельзя было получить патент на изобретение, связанное с особо важной государственной разработкой. В-третьих, патент практически невозможно было коммерциализировать, но при этом требовалось уплачивать пошлины.

Изобретатель, претендующий на авторское свидетельство (взамен патента), получал пожизненное авторство (в отличие от патента, срок действия которого составлял 15 лет), за него не надо было платить пошлину, а сам разработчик, авторский коллектив (иногда все предприятие) поощрялся материально. Помимо этого наличие авторского свидетельства положительно характеризовало изобретателя и давало ему преференции при трудоустройстве на престижные или руководящие должности, а также дополнительные социальные льготы (вплоть до получения жилья). Таким образом, изобретатель оказывался перед альтернативой: разрабатывать новый продукт или технологию в рамках своей трудовой деятельности, имея реальную возможность материального вознаграждения и социального одобрения, или заниматься изобретательской деятельностью без возможности получения материальной выгоды, с оплатой пошлин, бюрократическими барьерами, под давлением социального и государственного неодобрения. Закономерно, что желающих претендовать на патент было гораздо меньше, чем граждан, предпочтших регистрацию ИС в форме авторского свидетельства [6].

В процессе перехода СССР к рыночной экономике, начавшегося в конце 1980-х гг., вопрос пересмотра прав на ИС неоднократно поднимался в научной литературе и общественных дискуссиях. Можно отметить, что одним из лейтмотивов идеологии «перестройки» выступал тезис, что для повышения эффективности производства требуется расширение прав на объекты ИС. В качестве обоснования утверждалось, что человек, работающий для удовлетворения потребностей клиента, получающий вознаграждение, величина которого во многом зависит от его способностей и трудозатрат, имеет мотивацию производить более качественный продукт или услугу, чем человек, работающий на государство и получающий от своей разработки лишь небольшую часть прибыли. Изобретатель, имеющий возможность продать свою разработку и получить значительную часть ее стоимости, должен более активно работать над новой технологией.

Понимая определенную научную необоснованность данного тезиса, все же подчеркнем, что концепция повышения изобретательской активности путем предоставления гражданам доступа к оформлению прав на владение и коммерциализацию ИС представляется состоятельной. Принимая ее во внимание, следует допустить, что предоставленная в 1991 г. гражданам возможность владения ИС, в том числе в форме патентного права, должна была положительно сказаться на динамике развития новых технологий, по крайней мере в длительной перспективе.

Несмотря на влияние глобализации, гармонизация патентного законодательства с международными стандартами и ратификация конвенций не полностью определяет государственные стандарты и политику в отношении регистрации ИС. Например, Парижская конвенция по охране промышленной собственности была ратифицирована в СССР в 1968 г. [8], но подавляющее количество объектов ИС регистрировалось в форме авторского свидетельства. В связи с чем можно отметить влияние внутренних факторов правового взаимодействия на создание новых технологий и научных разработок. Поэтому изменение подходов к регистрации ИС представляется эффективным драйвером развития инновационного потенциала государства, а последствия и производные данных перемен — важный социальный, управленческий и производственный опыт, требующий детального изучения.

Принятый в 1991 г. Закон «Об изобретениях в СССР» [3] дал начало практике патентного права, но за прошедшие с начала его действия 25 лет так и не произошел всплеск изобретательской активности. Если же взять более широкие рамки, то 35 лет назад (1981) в РСФСР было подано около 110 000 заявок на изобретения [3], а за 2015 г. Роспатент принял только 45 500 обращений на регистрацию изобретений (5). Более 16 000 из них были поданы иностранными заявителями (6), подавляющая часть которых представляет собой не новую технологию, разработанную в нашей стране, а уже имеющееся изобретение, которое иностранные организации выпускают в России. Другими словами, сегодня в России изобретают *в три раза меньше* (по самому оптимистичному сценарию), чем в РСФСР во «времена застоя».

Это сравнение не совсем корректно, так как помимо нормативных факторов большое значение имеют экономические и социальные, но в данном случае мы говорим не про готовое изобретение или выпущенный продукт, а про *заявки*, т.е. попытки создать собственный объект ИС. Из этого следует, что граждане России менее мотивированы на создание объектов ИС, чем граждане СССР, хотя возможности коммерциализации должны были стать драйвером, повышающим изобретательскую активность.

Ее невысокие показатели позволяют констатировать наличие институционального кризиса в сфере разработки наукоемких и конвергирующих технологий в Российской Федерации. Его нельзя считать производным от «переходного периода», последствием экономических проблем и т.д., так он длится уже более четверти века, и динамика инновационной стагнации не снижается, несмотря на интерес государства к данной сфере. Поэтому проблема развития технологического потенциала страны имеет место не только в системе науки, образования, финансирования, государственного управления и т.д., а отражает глобальные недостатки взаимодействия институтов общества.

Чтобы осуществить полноценное исследование институционального взаимодействия, требуется детально рассмотреть структуру социального института, которую условно можно разделить на следующие составляющие: заинтересованные стороны; организации; формальные правила взаимодействия (законодательные и нормативные акты); неформальные правила и особенности взаимодействия.

Формальные (бюрократические) правила, способные превратиться в бюрократические барьеры, зачастую относят к «техническим вопросам» и не выделяют в ряд определяющих направлений институционального взаимодействия стейкхолдеров инновационного процесса. При этом синергетический подход к изучению системы социальных институтов предполагает возможность гипертрофированной цепной реакции воздействия небольших элементов системы на всю совокупность ее внутренних и окружающих объектов. То есть не всегда заметный бюрократический барьер в патентном законодательстве может масштабно и негативно повлиять на процесс изобретательской и инновационной активности в государстве. Излишне упрощенный процесс регистрации ИС может привести к трудностям ее защиты, в то время как слишком сложное оформление является сдерживающим фактором изобретательской активности и может привести к высокой бюрократизации деятельности разработчиков новых технологий.

Например, по мнению Роспатента, вторичные изобретения не являются проблемой для фармпроизводителей и не мешают выходу на рынок препаратов. С этим не согласны юристы отечественных фармпроизводителей, так как срок окончания действия патентов на фармакологическую продукцию дает возможность производства *дженериков* (7) — лекарственных средств, продающихся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика.

Производство дженериков позволяет снизить стоимость препаратов посредством рыночных механизмов конкуренции, а также является фактором создания собственных лекарств, так как без индустрии, специалистов с практическим опытом работы и налаженных механизмов производства и бизнес-процессов шансов довести лабораторный образец до покупателя и окупить разработку стремится к нулю. Производство дженериков держит индустрию в состоянии готовности к выводу на рынок новых препаратов, а патенты на вторичные изобретения могут стать этому помехой.

Обсуждение подобных проблем часто выводит на уровень споров сторонников протекционизма и свободного рынка. Решение задачи с вторичными изобретениями, с точки зрения первых, заключается в создании максимальных барьеров для регистрации (и, соответственно, продажи) продукции иностранных компаний. Вторые считают, что отечественного производителя, наоборот, надо поставить в условия жесткой конкуренции, и трудности заставят его «догнать и перегнать» зарубежного конкурента. Для выхода из сложившейся ситуации с негативным влиянием вторичных изобретений на отечественных фармпроизводителей российские юристы предлагают [5] ввести в практику патентного права возможность подать *иск о ненарушении* (категория исков, удовлетворение судом которых позволяет заявителю производить сходный, но не идентичный с патентообладателем продукт [7]). Подобная практика уже имеет место в США, ЕС, КНР, Австралии и др.

Справедливо отметить, что проблемы с патентованием фармацевтических средств характерны для многих государств, что объясняется высокой отдачей ин-

вестиций в биотехнологии. На фармацевтическом рынке сегодня имеют место такие кейсы, как покупка небольшой компанией Axxovant прав на разработку лекарства от болезни Альцгеймера у гиганта отрасли GlaxoSmithKline за \$5 млн — итоговый размер возврата инвестиции составил более 20 000% от вложения. Это лишь один из примеров нового формата стартапов, предполагающих покупку «забытых» фармацевтических разработок у крупных корпораций, их доработку и вывод на рынок в виде готового продукта [11].

Законы бизнеса в формате стартапов имеют и обратную сторону — им не свойственна идея этических норм. Можно привести пример компании Turing Pharmaceuticals, купившей за \$55 млн препарат Дараприм (используется для лечения смертельных инфекций пациентов со СПИДом) и повысившей стоимость одной таблетки с \$13,50 до \$750 [11]. Глава компании М. Шкрелли не побоялся катастрофического снижения репутации в США, тем более недоступность его препарата для большинства нуждающихся в России не станет для него проблемой. Поэтому тенденции развития фармацевтики позволяют констатировать, что цены на инновационные препараты, разработанные иностранными компаниями, не будут снижаться, и единственный способ обеспечения ими россиян состоит в создании дженериков (после завершения действия патента) или сходных препаратов, что возможно только после внесения изменений в российское патентное законодательство. На этом примере видно, как банальная проблема с патентованием лекарственного средства может стать серьезной общественной проблемой.

Данные, на первый взгляд, незаметные элементы, связанные с патентованием, могут быть как драйвером изобретательской активности, так и проблемой в создании и коммерциализации многих разработок. До тех пор пока инновационный процесс не будет рассматриваться как институциональный и в нем не будут учитываться все необходимые компоненты, в том числе нормативные правила взаимодействия, описанные выше недостатки (а это лишь два примера) будут значительно снижать эффективность программ повышения технологического и научного потенциала страны.

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

Фундаментальные изменения патентного законодательства были осуществлены более 25 лет назад (большие, но менее масштабные в 2014 г. [10]). Данный период позволил сформироваться институциональным связям, и особенности патентного права России могут быть подвергнуты критическому анализу. Для этого в период с 12.07.2016 по 05.09.2016 было проведено разведывательное исследование в форме экспертного опроса представителей заинтересованных сторон патентного права (посредством полуформализованного лейтмотивного интервью). **Экспертами** выступили сотрудники патентных бюро города Москвы, патентные поверенные, юристы и судьи.

Список экспертов, принявших участие в опросе

Респондент	Сфера деятельности	Должность	Опыт работы эксперта в сфере патентного прав
Эксперт 1	Юрист, работающий в сфере патентного права	Руководитель отдела юридической практики	Более 5 лет
Эксперт 2	Патентный поверенный	Партнер, руководитель юридической практики	Более 40 лет
Эксперт 3	Патентный поверенный	Генеральный директор агентства по патентованию	Более 10 лет (есть опыт работы в Роспатенте)
Эксперт 4	Патентный поверенный, Евразийский патентный поверенный	Генеральный директор агентства по патентованию	Более 30 лет (20 лет руководит собственной компанией)
Эксперт 5	Патентный поверенный, Евразийский патентный поверенный	Руководитель патентной практики	Более 10 лет (есть опыт работы в Роспатенте)
Эксперт 6	Суд по интеллектуальным правам	Судья по интеллектуальным правам, председатель судебного состава	Более 18 лет

Анализ ответов респондентов позволил определить особенности патентного законодательства России. Эксперты отмечали, что патентное законодательство в значительной степени гармонизировано с международной практикой патентного правоприменения, но требуется совершенствовать его реализацию с учетом международного опыта.

Эксперты полагают, что Роспатент является одним из лидеров среди международных патентных ведомств, хотя **Эксперт 1** отметил: «...в Штатах уже давно существует институт предварительной подачи заявки, ее можно подать за 30—40 минут, она не требует особой формы», и предположил, что подобная система была бы эффективна и для России. **Эксперт 3** и **Эксперт 4** отметили, что следует ввести платные услуги, в рамках которых можно было бы ускорить процесс регистрации патента. В то же время **Эксперт 4** обратил внимание, что уменьшение времени получения патента на срок менее 12 месяцев — не однозначно эффективная мера, так как Россия является членом РСТ (Patent cooperation treaty — договор о международной кооперации, международная патентная система), в рамках которой в течение года может прийти более ранняя, приоритетная заявка из другой страны и выданный позже патент придется аннулировать.

Согласно экспертным оценкам, средний срок получения патента на изобретение составляет от 1,5 до 2 лет; примерно 1,5 года на полезную модель и около 1 года на промышленный образец, но сроки могут варьировать в зависимости от сложности заявки. Срок может быть увеличен из-за запросов экспертов Роспатента (от 2 до 3 месяцев может занимать ответ на один запрос) или в связи с проверками МВД (также могут добавить 2—3 месяца), если разработка связана с военными или секретными технологиями. В контексте международной практики сроки рассмотрения заявок Роспатентом вполне конкурентные, также эксперты положительно оценили эффективность и качество экспертизы Роспатента. При этом **Эксперт 5** обратил внимание, что, несмотря на относительно небольшие сроки экспертизы Роспатента, во многих странах есть дополнительные правовые ин-

струменты защиты разработки (например, институт предварительной подачи), которые отсутствуют в России. С другой стороны, **Эксперт 4** подчеркнул возможность применения таких инструментов, как «право на преждепользование» и «право на послепользование» патентом, которые являются юридическими способами, позволяющими отчасти (но не полностью) заменить институт предварительной подачи.

Определенный интерес представляет история развития патента на полезную модель. До внесения изменений в ГК РФ в октябре 2014 года [9] полезная модель не проходила экспертизу на новизну, что, с одной стороны, значительно сокращало время регистрации разработки (до 6 месяцев), но, с другой стороны, давало возможность недобросовестным изобретателям патентовать уже имеющиеся объекты. Эксперты привели ряд примеров, когда были запатентованы кресла, уже более 20 лет находящиеся в свободной продаже; попытки запатентовать амортизаторы, географические карты; ароматизаторы для автомобилей и др. Организации или люди, преднамеренно занимающиеся патентованием уже имеющихся разработок и пытающиеся повлиять на деятельность добросовестного производителя, получили название «патентные тролли».

Внесение изменений в ГК РФ в 2014 году, в рамках которых проверка полезной модели на новизну стала обязательной, свела не нет подобные попытки недобросовестной конкуренции, но при этом увеличило сроки рассмотрения заявки до 1,5 лет (сопоставимо с заявкой на изобретение). **Эксперт 5** отметил, что данное изменение делает бессмысленной полезную модель, так как при трудностях и сроках, сопоставимых с регистрацией изобретения, разработчик может продлить патент только на 10 лет (на изобретение до 20 лет). **Эксперт 5** полагает, что, *«...действительно, многие полезные модели были выданы на уже существующие технические решения. Но, тем не менее, реформирование этого правового института могло проходить по-разному. Например, обсуждалась возможность выдавать какой-либо документ в ускоренной форме, но возможность защиты обусловить проверкой патентоспособности. Обратиться в суд патентообладатель сможет уже после проверки на новизну, если он захочет. Этот механизм позволил бы снять те вопросы, которые были к полезной модели, и при этом сократить сроки выдачи документов. Подобный опыт активно применяется в практике международного провозименения и он актуален для нашей страны»*. Однако **Эксперт 4** считает полезную модель эффективным документом, так как, по его мнению, 10 лет — более чем достаточный срок для действия патента, учитывая динамику развития современных технологий, но патент на полезную модель сложнее отменить, так как в нем отсутствует «изобретательский уровень».

Эксперт 1 и **Эксперт 5** отметили, что не вполне понимают сроки регистрации патентного документа «промышленный образец» (патентует внешний вид разработки), так как на сегодняшний день не существует действенных способов поиска аналогов промышленных образцов и экспертиза Роспатента лишь создает видимость поиска.

Опрос экспертов показал, что процесс получения патента не является слишком сложным для обывателя, но обеспечить возможность его эффективного пра-

воприменения — составление заявки таким образом, чтобы патент нельзя было обойти/отменить, достаточно сложно. При этом обеспечение эффективной защиты крайне важно, так как патент не только защищает, но и раскрывает принципы разработки. Патентные поверенные имеют технологии, позволяющие усилить защиту патента, например, могут разбить одну разработку на ряд документов; указать диапазон нужных величин вместо конкретной; провести процедуру «озеленения» патента (8) и т.д.

Госпошлины на регистрацию патентов эксперты не считали излишне высокими, при этом ряд категорий граждан имеют право получить льготы при оплате пошлины. Сначала пошлины для иностранцев были больше, чем для граждан России, но данное преимущество было отменено, так как неправомерно в рамках Парижской конвенции. Стоимость услуг патентных поверенных может достигать от 50 до 120 тысяч рублей за регистрацию одного патента, но также сильно варьирует, поскольку определяется возможностями и потребностями рынка. Для сравнения эксперты привели опыт США, где стоимость регистрации одного патента поверенным составляет не менее \$15 тысяч, и столь существенная дельта объясняется разницей цен между США и РФ, а не квалификацией патентных поверенных. В большинстве стран (в том числе в России) регистрация патента для граждан других государств возможна только через патентного поверенного. Сегодня в России работают около 1800 патентных поверенных, примерно 50% из них являются высококвалифицированными специалистами. Подавляющее число патентных поверенных специализируется на конкретной сфере деятельности и определенном виде клиентов (чаще всего делятся на иностранцев и россиян).

Эксперты высоко оценивают деятельность Роспатента и в целом хорошо отзываются об экспертизе заявок, которую проводят сотрудники патентного ведомства. При этом **Эксперты 1, 5 и 6** назвали недостатки в работе Палаты по патентным спорам, в частности, Суд по интеллектуальным правам (в рамках патентного права) выступает скорее как кассационная инстанция: если Роспатент отказывает заявителю в выдаче патента (а ждать отказа можно более 1,5 лет), то несогласный изобретатель должен обратиться в Палату по патентным спорам, являющуюся частью Федерального института промышленной собственности в структуре Роспатента). И только после рассмотрения спорной ситуации Палатой заявитель может обратиться в суд. С одной стороны, это снижает нагрузку на судебные органы (что потеряло актуальность после отделения Суда по интеллектуальным правам от арбитражной судебной системы в 2012 г.), а с другой — является дополнительным бюрократическим элементом.

Как отметил **Эксперт 6**, сроков рассмотрения дел у Палаты нет. **Эксперт 5** также недоволен деятельностью данной структуры: «У меня было дело, по которому было назначено 5 или 6 заседаний коллегии Палаты по патентным спорам — оно тянулось 2,5 года. Если Роспатент будет готовить его еще 5 лет, я все равно не смогу обратиться в суд. Между тем моему клиенту предъявлялись претензии, иски, его бизнес мог вообще рухнуть. Хотя, по моему убеждению, патент был выдан незаконно, а дело тянется уже очень-очень долго». **Эксперт 1** отметил, что коллегии, разбирающие дела в Палате, из-за большого количества работы фор-

мируются не на основе профессиональной компетентности эксперта, а с учетом его загрузки, т.е. кто свободен, тот и работает по конкретному делу. При этом, как рассказал **Эксперт 5**, коллегии состоят из экспертов, работающих в Роспатенте, т.е. Роспатент сначала проверяет (еще раз отметим, что сроки и количество проверок не регламентируются) правомерность собственных решений, а уже после дело может рассматривать суд. **Эксперт 1** описывает проблему так: «Заседания по полезным моделям и изобретениям назначаются не ранее чем через 10—13 месяцев после подачи заявления. Ситуация катастрофичная, потому что мы подаем возражения, клиент еще целый год ждет, а его уже могут засудить». Несколько обнадеживает **Эксперт 6**, который сообщил, что регулирующие органы знают о проблеме и готовят необходимые регламенты.

Работу Суда по интеллектуальным правам эксперты в целом оценивают положительно: определенные недостатки в решениях судей есть, но они носят рабочий характер. Некоторые вопросы вызвала лишь деятельность экспертов суда, которые сильно загружены работой, и к экспертизе приходится привлекать сторонние организации.

Эксперт 3 отметил, что в работе Роспатента есть элементы бюрократии и «семейственности» (руководящие места занимают родственники), но недостатков, связанных с этим, вспомнить не смог. Случаев лоббизма или особого отношения к какому-либо заявителю не выделил никто из экспертов. **Эксперт 5** упрекнул Роспатент в излишнем уравнивании — *«даже если ответить на заявку можно раньше, этого делать не будут, чтобы никого не выделять»*. Также эксперты упоминали невысокую заработную плату сотрудников и экспертов Роспатента, которая может быть причиной ряда проблем ведомства.

Другая проблема состоит в том, что многие соавторы договариваются «на словах» и не оформляют свои отношения юридически, что, по мнению экспертов, связано с правовым нигилизмом изобретателей. Также назывались проблемы со служебными изобретениями, когда сотрудники, разработав что-то в рамках деятельности в организации, увольняются и предпринимают попытки запатентовать разработанный объект сами. Или, наоборот, работодатель, узнав об изобретении сотрудника, пытается присвоить его себе, без упоминания изобретателя. Как отметил **Эксперт 2**, эти случаи не часты, но происходят регулярно, эксперты называют ряд правовых механизмов, дающих возможность восстановить соавтора в правах, но с оговоркой, что это может занять много сил и времени. Научные и образовательные учреждения не всегда правильно патентуют свои разработки и в большинстве своем не имеют серьезного представления о патентовании.

Значительная часть объектов (от 20% до 40%, по оценкам экспертов), зарегистрированных в России, представляет собой иностранные разработки, которые готовятся к запуску на российском рынке; еще от 15% до 30% заявок подаются для отчетности научными и государственными учреждениями и после не используются. Определенную часть (от 10% до 20%) составляют заявки физических лиц, лишь небольшая часть из которых коммерчески реализуется. Менее половины заявок являются российскими разработками, которые в дальнейшем будут ком-

мерционализироваться, но не более чем трети из них это удастся. Все эксперты категорически не согласны с предложением ограничить возможности подачи заявок иностранными заявителями. Также негативно была воспринята возможность выхода России из международных договоров, регулирующих патентное правоприменение, и идея наделения Роспатента функцией оценки экономического потенциала объекта патентования. Наоборот, неоднократно подчеркивалось важное значение международного опыта патентного правоприменения для повышения изобретательской активности в стране.

Практически все эксперты склонны считать частный капитал драйвером развития изобретательской активности и не считают эффективной работу государственных программ, отмечая необходимость их доработки. Участники опроса не заметили серьезных изменений в сфере патентования, связанных с санкциями, вспомнили лишь единичные случаи, когда из-за прекращения иностранного финансирования проекты останавливались.

На вопрос о причинах более высокой изобретательской активности в США, Китае и других странах эксперты не находили ответов, связанных только с патентным законодательством (хотя безапелляционно указывали на их наличие) и отмечали влияние институционального взаимодействия и международного опыта. Лишь **Эксперт 3** полагает, *«что у них патентное право ... подал заявку — получил, не так как у нас — экспертиза и т.д. У них англо-саксонская правовая семья, а у нас романо-германская, у нас все кодифицировано, по кодексам, а у них по прецедентам»*. Также **Эксперт 3** обратил внимание, что США и Южная Корея дают возможность патентовать программное обеспечение, не привязанное к конкретному техническому устройству («софтверный софт»). В России и ЕС на данный вид программ можно получить лишь авторское свидетельство, а патент выдается на то программное обеспечение, которое привязано к конкретному техническому устройству и без него не может быть использовано («хардверный софт»).

Практически все эксперты полагают, что основной проблемой развития наукоемких, конвергирующих и инновационных технологий являются сложности институционального взаимодействия, включающие в себя экономические, культурные, управленческие, юридические и другие элементы. В случае патентного законодательства можно выделить следующие «болевы точки», чаще всего отмечаемые экспертами: длительное рассмотрение дел в Палате по патентным спорам; длительное рассмотрение заявок при получении патентов на полезную модель и промышленный образец; не всегда достаточный учет национальных особенностей развития инновационной среды; отсутствие простого механизма предварительной подачи заявки; не всегда понятные методики и результаты экспертиз; неполноценное применение международного опыта патентования; низкий уровень знания патентного законодательства практически всеми субъектами изобретательской деятельности; негативное влияние «озеленительных» патентов (особенно в фармацевтике); проблемы институционального взаимодействия; отсутствие знаний, умений и навыков коммерциализации у субъектов изобретательской деятельности. Следует отметить, что недостатки патентного законодательства, по мне-

нию экспертов, являются продолжением общих институциональных проблем, поэтому их решение без учета комплекса других факторов будет неэффективным, особенно без гармонизации национальных практик и международного опыта патентного правоприменения.

Таким образом, в связи с высокой динамикой современных социально-экономических процессов для обеспечения устойчивого развития новых технологий требуется постоянный мониторинг проблемных зон у всех стейкхолдеров и всех элементов данного процесса, в том числе субъект-объектных отношений в рамках патентного законодательства. Недостатки институционально взаимодействия в совокупности с нерешенными проблемами защиты интеллектуальной собственности могут стать значительным препятствием для развития наукоемких и конвергирующих технологий. Подходы к решению данных проблем должны быть сформированы на основе международного опыта, но с учетом национальных особенностей российских практик институционального взаимодействия, а также государственных интересов. Наше исследование показало, что российская система защиты интеллектуальной собственности нуждается в совершенствовании с учетом национальных практик институционального взаимодействия и международного опыта посредством слаженной работы всех субъектов данной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) На основании ст. 1354 ГК РФ.
- (2) На основании ст. 1350 ГК РФ.
- (3) На основании ст. 1351 ГК РФ.
- (4) На основании ст. 1352 ГК РФ.
- (5) По данным Роспатента. URL: http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2015.pdf.
- (6) По данным Роспатента. URL: http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2015.pdf.
- (7) Согласно терминологии Всемирной торговой организации. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm03_e.htm.
- (8) Процедура обновления патента путем регистрации смежных ему технологий считается неконкурентным и общественно вредным инструментом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
- [2] *Джермакян В.Ю.* Мифы и «утки» о заявках на изобретения // URL: http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/10d_04.html.
- [3] Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1991 № 2213-1 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406.
- [4] Индикаторы инновационной деятельности 2016: Стат. сб. // URL: <https://www.hse.ru/primarydata/ii2016>.
- [5] *Михайлов А.В., Сергунина Т.В.* Иск о нарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом // URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/an-action-for-non-infringement-of-exclusive-rights-to-remove-the-ambiguity-boundaries-of-the-exclusive-rights-of-the-patent-owner-the-right-to-abuse-and-exclusion>.

- [6] Петрович Н., Цуриков В. Путь к изобретению. М., 1986.
- [7] Сергунина Т. Может ли иск о нарушении исключительных прав существовать в России? // URL: https://zakon.ru/blog/2016/08/10/mozhet_li_isk_o_nenarushenii_isklyuchitelnyh_prav_suschestvovat_v_rossii.
- [8] Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года № 3104-VII. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=39473#0>.
- [9] Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 05.05.2014 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608.
- [10] Харнер М. Спасатели человечества? // Форбс. 2016. № 3.
- [11] Харнер М., Варди Н. Отмороженные средства // Форбс. 2015. № 12.
- [12] Dobby C. Nevada state law paves the way for driverless cars // Financial Post. 24.06.2011.
- [13] Knapp A. Nevada passes law authorizing driverless cars // Forbes. 22.06.2011.
- [14] Roco M.C., Bainbridge W.S. Converging technologies for improving human performance nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Kluwer Academic Publishers, 2003.

THE IMPACT OF RUSSIAN PATENT LAW ON THE DEVELOPMENT OF HIGH TECHNOLOGIES: SOCIOLOGICAL ANALYSIS

I.O. Tyurina¹, A.V. Neverov², A.V. Chursina¹

¹Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

²Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The development and implementation of science intensive, converging and innovative technologies are of key importance for the Russian Federation due to a number of reasons: high international competition, economic instability, complex social and political processes, rapid modernization, etc. To ensure the effective development of technological potential it is necessary to upgrade a number of industries, but the effectiveness of institutional interaction is even more important: by increasing the professional competence of innovations developers, by investing in new technologies, and by improving business environment only one problem is usually solved, but the positive results are often reduced because of the general weakness of institutional cooperation. To solve this problem we should take into account factors affecting the creation and commercialization of technologies. One of the most important but not always taken into account factor is the legal protection of the intellectual property, i.e. the implementation of patent legislation, which influences innovation processes and determines the inventive activity in the country. However, institutional cooperation within the patent law is still largely ignored in the scientific and business literature. Thus, the authors aim to describe the features of intellectual property protection in the form of patent law, and to study the problems and prospects of the institutional interaction between the key stakeholders of the patent law in the Russian Federation with the help of expert interviews. The research allowed the authors to identify the main problems of the patent law and the ways to overcome negative trends in the protection of intellectual property.

Key words: high technologies; NBIC-convergence; innovation; invention; industrial model; patent; patent law; intellectual property; intellectual property rights

REFERENCES

- [1] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii [Civil Code of the Russian Federation]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
- [2] *Germakjan V. Ju.* Mify i «utki» o zajavkah na izobretenija [Myths and hog-washes on the inventions]. URL: http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/10d_04.html.
- [3] Zakon SSSR “Ob izobretenijah v SSSR” ot 31.05.1991 No. 2213-1 [Law of the USSR “On the Inventions in the USSR”]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406.
- [4] Indikatory innovatsionnoj dejatel'nosti 2016 [Indicators of the innovative activities]: Stat. sb. URL: <https://www.hse.ru/primarydata/ii2016>.
- [5] *Mihajlov A. V., Sergunina T. V.* Isk o nenarushenii iskljuchitel'nyh prav dlja ustraneniya nejasnosti granits iskljuchitel'nyh prav patentoobladatelja i iskljuchenija zloupotrebleniya pravom [A claim for non-infringement of exclusive rights to remove the ambiguity of boundaries of the exclusive rights of the patent owner and to eliminate the abuse of the law]. URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/an-action-for-non-infringement-of-exclusive-rights-to-remove-the-ambiguity-boundaries-of-the-exclusive-rights-of-the-patent-owner-the-right-to-abuse-and-exclusion>.
- [6] *Petrovich N., Zurikov V.* Put' k izobreteniju [The Path to the Invention]. M., 1986.
- [7] *Sergunina T.* Mozhet li isk o nenarushenii iskljuchitel'nyh prav sushhestvovat' v Rossii? [Is there a chance for a claim for infringement of the exclusive rights in Russia?]. URL: https://zakon.ru/blog/2016/08/10/mozhet_li_isk_o_nenarushenii_iskljuchitel'nyh_prav_suschestvovat_v_rossii.
- [8] Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR ot 19 sentjabrja 1968 goda No. 3104-VII [Decree of the Presidium of the Supreme Council of the USSR, September 19, 1968 No. 3104-VII]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=39473#0>.
- [9] Federal'nyj zakon No.99-FZ «O vnesenii izmenenij v glavu 4 chasti pervoj Grazhdanskogo kodeksa RF i o priznanii utrativshimi silu otdel'nyh polozhenij zakonodatel'nyh aktov RF» ot 05.05.2014 [The Federal Law No.99-FZ “On Amendments to Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation and Invalidating Some Statutes of Legislative Acts of the Russian Federation” from 05.05.2014]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608.
- [10] *Harper M.* Spasateli chelovechestva? [Saviors of the mankind?]. Forbs. 2016. No. 3.
- [11] *Harper M., Vardi N.* Otmorozhennye sredstva [Unfrozen funds]. Forbs. 2015. No. 12.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

«СУБЪЕКТИВНАЯ» И «ОБЪЕКТИВНАЯ» НЕИСКРЕННОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСАХ: ДИАГНОСТИКА ПО НЕВЕРБАЛЬНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ*

Ж.В. Пузанова, Т.И. Ларина**

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Неискренность респондентов в социологических исследованиях — обширная проблематика, затрагивающая и качество социологического инструментария, и качество получаемых социологических данных, и особенности психологического взаимодействия. Под неискренностью понимается та информация, которую респондент искажает намеренно. Однако, с точки зрения авторов, существуют два типа такой неискренности — «объективная», когда включаются защитные механизмы респондента и он осознанно стремится скрыть какую-либо информацию, либо «субъективная» неискренность, когда респондент вынужден сообщить нерелевантную информацию в виду непонимания вопроса либо некомпетентности. Невербальные характеристики дают информацию об эмоциональных проявлениях, сопровождающих размышления респондента, а иногда и о мотивах того или иного ответа. В приведенном нами примере «объективная» неискренность превалирует в виду сензитивности темы, в реальности в других типах опросов будет наблюдаться и «субъективная неискренность». Неискренность не является эмоцией по своей сути, это комплекс когнитивных установок и процессов, возникающих при взаимодействии со стимулом, но неискренность сопровождается переживанием эмоций, которые и являются основным дифференцирующим признаком типов неискренности. Используя технологию анализа невербальных реакций респондентов в социологических исследованиях, возможно диагностировать конкретный вид неискренности. Авторами приводится ряд примеров диагностирования проявления определенных эмоций как реакций на конкретные провокативные вопросы, которые были сформулированы ими в ходе эксперимента. Делается вывод о возможности определения не только вопросов, сформулированных некорректно или «угрожающе» для респондента, но и возможном типе неискренности при ответе на такие вопросы.

Ключевые слова: «субъективная» неискренность; «объективная» неискренность; невербальные проявления; социологические опросы; сомнение; нерешительность; раздражение; стресс

Основным источником информации в социологических опросах является респондент, ответы респондента — это факты, с которыми работает социолог. От того насколько релевантны эти данные, насколько они соответствуют не только реаль-

* Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (проект «Технология анализа невербальных реакций респондентов в социологических исследованиях», № 16-33-00053).

** © Пузанова Ж.В., Ларина Т.И.

ности, но и осознаваемой самим респондентом действительности, насколько респондент готов делиться своим мнением (т.е. искренен), зависит качество получаемой социологической информации.

В социологических опросах довольно часто исследователь сталкивается с «ситуативной ложью», вызванной разными факторами, но никак не отражающей общую тенденцию человека говорить неправду. Опрос — довольно-таки искусственная, в некоторых случаях стрессовая ситуация, связанная с некоторой неопределенностью и риском для респондентов, а потому вызывающая у них состояние психологического дискомфорта [2]. Ситуативная ложь оказывается связанной с попытками переведения негативной для респондента ситуации в позитивную, с попытками снизить опасность получения отрицательных результатов, ослабить неопределенность и непредсказуемость возможных последствий.

Обратимся к классификации причин лжи О. Фрая (преподаватель Университета Портсмута, США), которым опубликовано большое количество работ, посвященных теме обмана, и в особенности взаимосвязи между невербальным поведением и обманом [12. С. 21—22]: во-первых, люди лгут для того, чтобы произвести на других положительное впечатление или защитить себя от чувства неловкости и неодобрения окружающих; во-вторых, для того, чтобы получить преимущество; в-третьих, люди лгут, чтобы избежать наказания; в-четвертых, люди лгут, чтобы представить других в более выгодном свете, или сообщают ложь, стремясь помочь другим; в-пятых, люди прибегают к тому, что можно назвать «социальной ложью», — лгут ради сохранения социальных отношений.

В то же время есть и другие точки зрения на данный вопрос. Так Л.Я. Аверьянов считает, что нет неискренних ответов, есть высказанное респондентом мнение [1. С. 43]. Он отмечает, что в ложном ответе также отражаются установки респондента, они всегда ограничены пониманием и оценкой данного события. Выражаясь его же словами, «даже при неискренних ответах респондентов можно получить достоверную информацию» [1. С. 224]. Эта точка зрения, согласно которой респонденту незачем врать, и он говорит не ложь или правду, а то, что переживает в момент говорения, поддерживается и Х. Пилкингтоном, Е. Омельченко [9. С. 192].

Пожалуй, наиболее известный отечественный социолог, занимающийся вопросами искренности и неискренности, А.Ю. Мягков пишет, что искренность — это выражение человеком его подлинных мнений, мыслей, чувств, намерений и так далее, а также сообщение фактов или сведений, соответствующих действительному положению вещей. Неискренность же преднамеренное искажение индивидом известных ему фактов действительности, сознательное сокрытие своих мыслей, действий, чувств, намерений и так далее от других, окружающих его/ее и взаимодействующим с ним/ней людей, и/или подмену их иными, не выражающими его действительных взглядов, установок, потребностей, интересов [8. С. 22—29].

Ввиду вышесказанного напрашивается вывод о том, что недостоверной и неискренней информацией можно считать лишь ту информацию, которую респон-

дент намеренно пытается исказить или скрыть. Но в данном случае, по нашему мнению, следует различать два вида неискренности — «субъективная неискренность» и «объективная неискренность».

«Объективная неискренность» связана с намеренным нежеланием говорить правду, когда у респондента включаются защитные реакции, связанные с «Я-концепцией» (например, респондент специально занижает уровень своих доходов, потому что боится общественного порицания, в случае если не верит в анонимность опроса). «Субъективная неискренность» связана с искажениями ответов, вызванными непониманием респондентом вопроса, его некомпетентностью. То есть в первом случае можно сказать, что респондент знает, что отвечать, но не хочет, а во втором — не знает, поэтому вынужден «выдумывать». Конечно, часть респондентов пропустит вопрос, на который не может дать ответ, либо отметит «не знаю», но нас интересуют именно те респонденты, которые выбирают путь искажения, а такие существуют.

В случае «объективной неискренности», опираясь на теории социальной психологии, можно сказать, что социологический опрос — частный случай социального взаимодействия, когда респондент пытается сохранить в целостности свою «Я-концепцию», редактируя ответы в соответствии с определенной поведенческой стратегией — социальной желательности (стремления индивида представлять себя в выгодном свете), конформности (тенденции изменять свое поведение под влиянием мнения других людей), негативизма (тенденции строить свое поведение на противоречии и противостоянии другим) и регрессии поведения (уход от трудностей реальной жизни). Все вышперечисленные процессы сопровождаются еще одним важным процессом — психологическим дискомфортом респондента [5]. Угроза «Я-концепции» вызывает у человека страх, вынуждает его защищаться, тогда как подтверждение и одобрение «Я-концепции» вызывает у человека радость и заинтересованность [4. С. 50]. Сохранение и повышение ценности своего «Я» оказывается одной из основных жизненных потребностей. Хотя есть и люди, которые относятся к себе пренебрежительно, но эти случаи больше интересуют психологов [13. С. 199]. Редактированные, неискренние ответы можно считать тем фактом, из-за которого социолог не может получить объективную картину изучаемого явления.

Когда респондент пытается защищаться и представить измененную точку зрения вместо того, что думает на самом деле? Такая ситуация может сформироваться и в следствие личностных особенностей респондента, его неприязни к интервьюеру, например, когда его окружают знакомые, или же наоборот абсолютно незнакомые люди. Но если говорить о массовом опросе, то велика вероятность получения неискренних ответов на сензитивные вопросы в анкете. «Сензитивными» могут считаться любые вопросы, направленные на получение сведений, которые люди обычно предпочитают утаивать [3. С. 280].

Даже при ответах на вопросы, содержащие нейтральную тематику, исследователи не получают 100% объективной информации, не говоря уже про вопросы

на деликатную тематику, где число объективных ответов, по данным, полученным социологами Давыдовыми, составляет всего 15—45% [2. С. 5].

Примером сензитивной тематики могут явиться вопросы об употреблении наркотиков, сексуальном поведении, употреблении алкоголя, курении, электоральном поведении, доходах и даже возрасте. Факторами, влияющими на уровень искренности ответов респондентов, в основном являются: тема опроса, уверенность в анонимности опроса, отсутствие необходимости сообщать свои имя и фамилию, конкретные данные о себе, метод сбора данных, место проведения опроса и другое [7. С. 248].

Находясь среди равно как незнакомых людей, так и среди знакомых, будучи вынужденным отвечать на вопросы сензитивного толка, респондент волей-неволей испытывает психологический дискомфорт в той или иной степени. Следует отметить, что помимо общераспространенной сензитивной тематики, такой как употребление алкоголя и вредных веществ, уровня доходов, вопросов сексуального поведения и ориентации, для конкретного индивида сензитивным может стать практически любой вопрос. Такие случаи очень сложно предсказать, степень деликатности будет зависеть от личного жизненного опыта респондента, который социологу сложно учитывать, потому что в массовом опросе в отличие от индивидуального интервьюирования просто не возможно акцентировать внимание на каждом респонденте индивидуально.

В случаях же «субъективной неискренности» ложь респондента может трактоваться не как намеренное желание скрыть информацию, а как страх показать свою некомпетентность, растерянность, недоумение, раздражение и т.д. Ведь даже заполняя обыкновенную анкету, респондент может быть окружен знакомыми людьми (пример — рабочее место) и переживать, работая с анкетой, что кто-нибудь случайно к нему заглянет и узнает, что он на самом деле думает. Хотя, конечно, процедурно это запрещено. Но человек, сталкивающийся с опросом и впервые встречающий там вопросы, которые лично для него сензитивны, оказывается в ситуации дискомфорта.

Проиллюстрировать диагностику типа неискренности можно на примере использования технологии анализа невербальных реакций респондентов, разработанной авторами. В таблице 1 представлены наиболее вероятные (установленные на основе экспериментов) реакции, которые встречаются при работе с инструментарием для массовых социологических опросов и на основании которых можно сделать вывод о качестве конкретного вопроса инструментария. Как видно, это веселье/радость, удивление, раздражение, презрение, отвращение, страх, печаль, «задумчивость», дискомфорт/стресс, нерешительность/сомнение. Для кодировки мимики используется схема кодировки, представляющая собой адаптированный вариант Facial action coding system (FACS, Схема кодирования лицевых движений), она достаточно объемна и не будет представлена в рамках данной статьи.

Таблица 1

Невербальные характеристики вероятных эмоциональных реакций при работе респондента с экспериментальной анкетой
(в скобках указаны номера вопросов)

Эмоции	Мимика	Жесты	Позы
Веселье/радость	<u>6</u> , 12, 13, 4 2, 15, 25, 26		
Удивление	1, 2, <u>5</u> , 26, 28, 11	5	
Раздражение	4, 5, 7, 10, 15, 16, 7, 10, 49, 12, 13, 17, <u>22</u> , <u>23</u> , <u>25</u> , 26, 38, 39	6	3
Презрение	9, 10+14		
Отвращение	<u>9</u> , 15, 16, 17		
Страх	1, 2, 4, <u>5</u> , 7, 16, 20, 21, 28		
Печаль	<u>1</u> , 4, 6, 7, <u>11</u> , 14, 15, 16, 17		
«Задумчивость»	61—64, АА1	3	1, 2, 4—6
Дискомфорт, стресс	19, 21, 28, 32, 35, 36, 37	2, 7—17	
Нерешительность/ сомнение	15+2, 18	1, 2, 3, 5, 18, 4	

Удивление — сиюминутная реакция на контакт с чем-то новым, незнакомым. В контексте социологического опроса в чистом виде редко угрожает качеству социологических данных. Отвращение может быть физическим и психологическим. Функция отвращения — мотивация отвержения неприятных на вкус или потенциально опасных веществ. Отвращение часто сравнивают с презрением, однако отвращение можно испытывать и к человеку с его поступками, и ко вкусам, запахам, а презрение — только к человеку. Социологические вопросы не должны вызывать отвращения. Чаще всего эмоция страха выступает в паре с печалью или стыдом. Человек, предмет или ситуация могут стать источником страха, если человек, во-первых, воображает источник опасности (гипотеза), во-вторых, ожидает вред или, в-третьих, сталкивается с сконструированным объектом страха. В социологическом контексте встречается нечасто и связана с действительно пугающими тематиками — терроризм, катастрофы и т.д.

Радость различается по типам (облегчение-радость, удовольствие — радость, возбуждение — радость, радость, затрагивающая Я-концепцию) и по интенсивности (умеренная, веселье, восторг). Для социологических данных вреда не представляет.

В повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся со сдерживаемым гневом. Мимическое выражение гнева включает в себя характерные сокращения лобных мышц и движения бровей в первую очередь. Гнев может возникнуть в разных случаях. Вот некоторые распространенные: а) фрустрация; б) физической угроза; в) в результате чьих-то действий или заявлений, заставляющих человека почувствовать, что ему наносится моральный вред; г) наблюдение за человеком, делающим что-то такое, что идет вразрез с вашими главными моральными ценностями; д) неспособность человека соответствовать чьим-то ожиданиям; е) чей-то гнев, направленный на него. В социологическом опросе чистый гнев встретить сложно,

чаще встречается раздражение с похожими невербальными проявлениями. Печаль — это вариация горя, которое является наиболее общей негативной эмоцией. Горе чаще всего вызывается физической болью. Печаль различается по интенсивности: от легкого уныния до предельной степени проявления — скорби. В социологическом контексте чаще встречаются легкие вариации этой эмоции, не всегда представляющие угрозу данным.

«Задумчивость» (мышление/размышления) — преимущественно выражается в повышенной двигательной активности глаз, свидетельствует о воспоминаниях, глубоком обдумывании информации. Сомнения/нерешительность — часто встречаются во время анкетного вопроса, что связано с обдумыванием ответа, с попытками его исказить либо просто с непониманием формулировки, поэтому вопросы, на которые демонстрируется такая реакция, должны быть пересмотрены. Как будет показано дальше, является индикатором потенциальной «субъективной» неискренности».

При работе с экспериментальной анкетой, предложенной респондентам, вопросы в которой были сформулированы для того, чтобы вызвать определенные эмоции, такая реакция, как презрение, например, довольно часто встречалось в группе респондентов с негативной установкой по отношению к кавказским народам как раз из-за их отношения к этим национальным группам. Соответственно, если респондентам неприятна какая-то тема в анкете, они будут помимо дискомфорта демонстрировать презрение и отвращение.

Опасная реакция при работе с анкетой — раздражение, она угрожает качеству предоставляемой информации. Раздражение — эмоция относится к более широкому классу «гнев», но ярко не выражается, а во время работы с анкетой преимущественно подавляется. Чаще говорит о легком недовольстве темой, формулировкой, ситуацией опроса, по сути, неважно чем, все это угрожает качеству предоставляемой информации. Является индикатором потенциальной «объективной» неискренности. Дискомфорт/стресс — такая же по степени опасности смещения ответов реакция как раздражение, спектр вызывающих ее стимулов гораздо шире. Если респондент, отвечая на вопрос, демонстрирует эту реакцию, вопрос также следует пересмотреть. Является индикатором потенциальной «объективной» неискренности.

Таким образом, в ходе пилотажа инструментария можно, используя эту технологию, не только сделать вывод об корректности/некорректности формулировки конкретного вопроса, но и диагностировать тип потенциальной неискренности. Потенциальной потому, что для полноценной диагностики необходимо проведение дополнительного пост-интервью с респондентом после пилотажа. Но для того, чтобы определить «слабые» места анкеты, повысить ее качество как инструмента сбора социологической информации, достаточно провести полноценный пилотаж.

Далее по результатам экспериментов мы исходим из того что, когда респонденты не понимают вопрос, они всегда демонстрируют проявления «нерешительности/сомнения», соответственно только эта реакция будет связана с «субъективной неискренностью». А когда респондент хочет скрыть какую-то информацию,

чаще наблюдаются в основном «раздражение», «стресс/дискомфорт», именно они связаны с «объективной неискренностью».

Рассмотрим, как это выглядит на примере исследования, проведенного нами в социологической лаборатории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН с целью разработки технологии анализа невербальных реакций респондентов в социологических исследованиях в 2015 г. Центральной темой анкеты выбрана сензитивная тема — отношение к представителям кавказских национальностей. Эта тема является актуальной по результатам многолетних исследований в РУДН [6]. Респонденты были поделены на две номинальные группы — с позитивной установкой к представителям кавказских национальностей и с негативной (установлено на основе методика Богардуса). Вопросы в анкете также были специально разработаны 2 видов — нейтральные и провокативные.

После того как эксперимент был проведен, полученные данные видеозаписей и ответов респондентов были проанализированы тремя независимыми исследователями с помощью специально разработанной технологической карты анализа невербальных реакций респондентов и получен следующий обобщенный вывод — см. таблицу 2.

Таблица 2

Анализ реакций респондентов на вопросы анкеты

Вопросы (П — провокативный, Н — нейтральный)	Эмоциональные реакции респондентов с позитивными установками	Эмоциональные реакции респондентов с негативными установками	Выводы о типе потенциальной неискренности
1. Считаете ли Вы себя патриотом? (Н)	73% — нейтрально; 6% — стресс/дискомфорт; 10% — веселье (улыбка)	75% — нейтрально; 9% — раздражение; 6% — удивление	Искренне
2. «Россия для русских», а Вы согласны с этим утверждением? (П)	39% — сомнение/нерешительность; По 9% — удивление, веселье, раздражение. По 20% — стресс/дискомфорт, нейтрально	30% — сомнение/нерешительность; 23% — стресс/дискомфорт; 16% — нейтрально, веселье, раздражение	Потенциальная «субъективная» неискренность
3. Влияет ли обучение в РУДН студентов некоторых национальностей на общий уровень агрессии и количество агрессивных актов в университете? (П)	29% — нейтрально; 15% — стресс/дискомфорт; 10% — сомнение/нерешительность; 8% — раздражение, презрение, удивление, размышления	35% — нейтрально; 21% — раздражение; 16% — стресс/дискомфорт	Искренне
4. Если Вы ответили «да» на предыдущий вопрос, укажите какие это национальности, по Вашему мнению? (Н)	35% — нейтрально; 11% — удивление, стресс/дискомфорт; 8% — размышления, раздражение (подавляемое)	27% — нейтрально; 25% — раздражение; 15% — стресс/дискомфорт; 10% — презрение	Искренне для первой группы. Потенциальная «объективная» неискренность для второй группы
5. Для меня лично возможно принять представителя кавказских народов в качестве: (Н)	32% — нейтрально; 18% — раздражение; 14% — стресс/дискомфорт; 11% — сомнение/нерешительность, презрение	26% — раздражение и стресс/дискомфорт; 13% — удивление и презрение; 18% — нейтрально	Искренне для первой группы. Потенциальная «объективная» неискренность для второй группы

Продолжение таблицы 2

Вопросы (П — провокативный, Н — нейтральный)	Эмоциональные реакции респондентов с позитивными установками	Эмоциональные реакции респондентов с негативными установками	Выводы о типе потенциальной неискренности
6. Какое отношение к представителям кавказских народов преобладает среди окружающих вас людей? (Н)	18% — стресс/дискомфорт; 17% — нейтрально; 13% — сомнение/нерешительность, размышления	25% — нейтрально; 29% — раздражение; 13% — стресс/дискомфорт	Потенциальная «объективная» неискренность
7. Вам нравится учиться в РУДН? (Н)	68% — нейтрально; 16% — стресс/дискомфорт	58% — нейтрально; 16% — стресс/дискомфорт; 11% — сомнение/нерешительность	Искренне
8. Если Вы ответили «нет» на предыдущий вопрос, поясните, пожалуйста, почему именно не нравится (П)	96% — нейтрально, так как практически нет тех, кому не нравится	74% — нейтрально; 8% — стресс/дискомфорт	Искренне
9. Если бы у Вас был выбор, предпочли бы Вы обучаться в группе с представителями других национальностей? (Н)	60% — нейтрально; 10% — удивление, стресс/дискомфорт; 7% — веселье	38% — нейтрально; 17% — стресс/дискомфорт; 20% — раздражение	Искренне
10. Как Вы относитесь к существующей в некоторых кругах общества позиции, пропагандирующей ярко выраженное негативное отношение к представителям других национальностей? (Н)	41% — нейтрально; 25% — раздражение	31% — раздражение; 16% — стресс/дискомфорт; 8% — презрение	Искренне для первой группы. Потенциальная «объективная» неискренность для второй группы
11. Обучаясь в РУДН, как часто Вы сталкиваетесь с неподобающими, с Вашей точки зрения, действиями представителей кавказских народов в следующих местах: (Н)	39% — нейтрально; 27% — раздражение; 8% — стресс, дискомфорт	39% — раздражение; 20% — стресс/дискомфорт; 13% — нейтрально	Искренне для первой группы. Потенциальная «объективная» неискренность для второй группы
12. Какие именно действия представителей кавказских народов неподобающего характера Вы наблюдали в следующих местах: (Н)	28% — стресс/дискомфорт; 22% — размышления; 13% — нейтрально; 8% — раздражение	31% — раздражение; 24% — стресс/дискомфорт; 12% — нейтрально; 6% — презрение	Для первой группы — возможны оба типа неискренности. Потенциальная «объективная» неискренность для второй группы
13. Какими чертами с Вашей точки зрения наделен типичный представитель кавказской национальности, обучающийся в РУДН: (Н)	20% — стресс/дискомфорт; 14% — размышления; 12% — раздражение; 9% — сомнение/нерешительность; 7% — веселье; 6% — удивление	36% — раздражение; 18% — стресс/дискомфорт; 21% — презрение; 15% — мышление	Потенциальная «объективная» неискренность
14. В Вашей семье, когда Вы наедине, распространены названия наций типа «чурки», «хач» и т.д.? (П)	40% — нейтрально; 25% — веселье; 10% — раздражение, удивление	41% — нейтрально; 16% — стресс/дискомфорт, сомнение/нерешительность, раздражение; 3% — веселье	Искренне

Вопросы (П — провокативный, Н — нейтральный)	Эмоциональные реакции респондентов с позитивными установками	Эмоциональные реакции респондентов с негативными установками	Выводы о типе потенциальной неискренности
15. Повлияло ли Ваше обучение в РУДН на Ваше отношение к представителям кавказских народов? (Н)	90% — нейтрально	67% — нейтрально; 7% — сомнение/нерешительность, стресс/дискомфорт 4% — презрение, раздражение	Искренне
16. Били ли Вы когда-нибудь кавказца? (П)	44% — веселье; 10% — удивление 8% — стресс/дискомфорт	41% — нейтрально; 20% — веселье; 9% — презрение, веселье; 6% — раздражение, размышление	Искренне
17. А хотели бы? (П)	53% — веселье 10% — удивление	29% — веселье 16% — раздражение, размышления 12% — стресс/дискомфорт	Искренне

*Объяснения реакций базируется на невербальных проявлениях и вербальных объяснениях ответов респондентами.

Таким образом, при помощи технологии анализа невербальных реакций можно продиагностировать качество любой анкеты как в ходе пилотажа для массовых опросов, так и в ходе индивидуального интервьюирования, и сделать вывод о потенциальном типе неискренности. В приведенном нами примере «объективная» неискренность превалирует в виду сензитивности темы, в реальности в других типах опросов будет наблюдаться и «субъективная неискренность». Неискренность не является эмоцией по своей сути, это комплекс когнитивных установок и процессов, возникающих при взаимодействии со стимулом, но неискренность сопровождается переживанием эмоций, которые и являются основным дифференцирующим признаком типов неискренности.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Аверьянов Л.Я.* Искусство задавать вопросы: Заметки социолога. М.: Московский рабочий, 1987.
- [2] *Давыдов А.А., Давыдова Е.В.* Измерение искренности респондента. М.: ИС РАН, 1992.
- [3] *Девятко И.Ф.* Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1998.
- [4] *Изард К.Э.* Психология эмоций. СПб.: Питер, 2011.
- [5] *Майерс Д.* Социальная психология. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
- [6] Межкультурное взаимодействие в полиэтничной молодежной среде: социологический подход / Под ред. Н.П. Нарбута, Д.Г. Подвойского. М.: Экон-информ, 2012.
- [7] *Мягков А.Ю.* Искренность респондентов в массовых опросах: Дис. д.с.н. Иваново, 2003.
- [8] *Мягков А.Ю.* Искренность респондентов: концептуальный анализ // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2004. № 3.
- [9] *Пилкингтон Х., Омельченко Е.* «Зачем мне врать?» Опыт применения интервью к изучению русскоязычной миграции // Рубеж. 1997. № 10—11.
- [10] Пособие по применению ММРІ / Сост. А.А. Рукавишников, Н.Г. Рукавишникова, М.Б. Соколова. Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», 1993.

- [11] Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. Использование системы кодирования аффектов (SPAFF) в фокус-групповых исследованиях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX. № 4.
- [12] Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как обмануть детектор лжи. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
- [13] Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. Ростов н/Д: «Феникс», 2002.

“SUBJECTIVE” AND “OBJECTIVE” INSINCERITY IN SOCIOLOGICAL SURVEYS: NONVERBAL MANIFESTATIONS

Zh.V. Puzanova, T.I. Larina

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Insincerity of respondents in sociological research is a challenge affecting both quality of the sociological tool and the quality of the data obtained, especially features of the psychological interaction. Insincerity is information which respondents distort intentionally. However, there are two types of such insincerity — ‘objective’, i.e. a protective strategy used to deliberately hide some information, and ‘subjective’, when a respondent is forced to provide irrelevant information due to misunderstanding the question or incompetence. Nonverbal manifestations inform of thoughts and sometimes motives of respondents’ answers. In the example given in the article the ‘objective’ insincerity prevails due to the sensitive topic, while in other types of similar surveys the ‘subjective’ insincerity usually takes place too. Insincerity is not an emotion, rather a complex of cognitive attitudes and processes in a form of respond to a stimuli, but insincerity is accompanied by emotions which are the main differentiating signs of types of insincerity. Using the technology for the analysis of respondents’ nonverbal reactions in sociological research, we can identify the type of insincerity. The authors provide examples of certain emotions as reactions to specific provocative questions under the experiment and make a conclusion about the possibilities to identify not only incorrect or ‘threatening’ questions, but also the types of insincerity when answering such questions.

Key words: ‘subjective’ insincerity; ‘objective’ insincerity; nonverbal manifestations; sociological survey; doubts; hesitation; irritation; stress

REFERENCES

- [1] *Aver'yanov L.Ya. Iskusstvo zadavat' voprosy: Zametki sociologa* [The Art of Asking Questions: Notes of the Sociologist]. M.: Moskovskij rabochij, 1987.
- [2] *Davydov A.A., Davydova E.V. Izmerenie iskrennosti respondent* [How to Measure Respondents' Sincerity]. M.: IS RAN, 1992.
- [3] *Devyatko I.F. Metody sociologicheskogo issledovaniya* [Methods of Sociological Research]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 1998.
- [4] *Izard K.E. Psihologiya emocij* [Psychology of Emotions]. SPb.: Piter, 2011.
- [5] *Myers D. Social'naya psihologiya* [Social Psychology]. SPb.: Prajm-Evroznak, 2002.
- [6] *Mezhkul'turnoe vzaimodejstvie v poliehtnichnoj molodezhnoj srede: sociologicheskij podhod* [Intercultural Interaction Among the Multiethnic Youth: Sociological Approach]. Pod red. N.P. Narbuta, D.G. Podvojskogo. M.: Ekon-inform, 2012.

- [7] *Myagkov A.Yu.* Iskrennost' respondentov v massovyh oprosah [Sincerity of Respondents in Mass Surveys]: Dis. d.s.n. Ivanovo, 2003.
- [8] *Myagkov A.Yu.* Iskrennost' respondentov: konceptual'nyj analiz [Sincerity of Respondents: Conceptual Analysis]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya "Gumanitarnye nauki". 2004. No. 3. Pp. 22—29.
- [9] *Pilkington H., Omel'chenko E.* «Zachem mne vrat'?» Opyt primeneniya interv'yuu k izucheniyu russkoyazychnoj migracii ["Why would I lie?" The use of interview to study the Russian-speaking migration]. Rubezh. 1997. No. 10—11.
- [10] Posobie po primeneniyu MMPI [Manual for MMPI Application]. Sost. A.A. Rukavishnikov, N.G. Rukavishnikova, M.B. Sokolova. Yaroslavl': NPC «Psihodiagnostika», 1993.
- [11] *Puzanova Zh.V., Larina T.I.* Ispolzovanie sistemyi kodirovaniya affektov (SPAFF) v fokus-gruppovyih issledovaniyah [Using the Specific Affect Coding System (SPAFF) in focus group research]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2016. Vol. XIX. No. 4.
- [12] *Fraj O.* Lozh'. Tri sposoba vyyavleniya. Kak chitat' mysli lzheca, kak obmanut' detektor lzhi [False: Three Methods of Detection. How to Read the Mind of a Liar, How to Cheat the Lie Detector]. SPb.: Prajm-EVROZNAK, 2006.
- [13] *Shibutani T.* Social'naya psihologiya [Social Psychology]. Per. s angl. V.B. Ol'shanskogo. Rostov n/D: "Feniks", 2002.

РЕЦЕНЗИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ: НОВЫЙ ВИТОК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯМИ МЕЖСТОЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

**Путешествие из Петербурга в Москву: 222 года спустя.
Кн. 1: Два столетия российской истории между Москвой
и Санкт-Петербургом** / Сост. и науч. ред. Т.Г. Нефедова,
А.И. Трейвиш. М.: ЛЕНАНД, 2015. 240 с.;

**Путешествие из Петербурга в Москву: 222 года спустя.
Кн. 2: Путешествие из Петербурга в Москву в XXI веке
(по итогам экспедиции 2013 года)** / Сост. и науч. ред.
Т.Г. Нефедова, К.В. Аверкиева М.: ЛЕНАНД, 2015. 352 с.

«...Какими бы героическими ни были деяния человека, сила географии, влияя на человеческую культуру, в конечном итоге побеждает. К примеру, возьмем Санкт-Петербург, столицу России, которую Петр Великий воздвиг в непригодной для этого с точки зрения географии местности. В краткосрочной перспективе удалось нивелировать негативные факторы за счет мотивации и больших человеческих жертв... Но в конце концов столица все же переместилась в глубь материка — в Москву, т.е. география вновь победила».

Mackinder H.J. Democratic Ideas and Reality

В конце XVIII в. (1784—1789) Александр Николаевич Радищев написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» (она была издана в 1790 г.), название которой стало нарицательным для обозначения «невинного» жанра обличения пороков российской действительности, а содержание — неисчерпаемым источником отсылок и сопоставительных оценок вплоть до настоящего времени. Книга заложила основы художественно-аналитической критики социально-несправедливого государственного устройства, управленческо-чиновничьей нерадивости, равнодушия власти, глупости оторванных от жизни решений по ее якобы улучшению и убогости российской провинциальной жизни, в которой с удивительным проворством и смышленостью выживает простой человек, казалось бы не обладающий для подобной из поколения в поколение воспроизводящейся стойкости никакими ресурсами.

Сегодня вполне традиционное для современной эпохи постмодерна «эхо» из цитат, персонажей и аллюзий применительно к книге Радищева вышло далеко за пределы художественной литературы, пример чему — серия из шести документальных фильмов А. Лошака, вышедшая на телеканале «Дождь» в 2014 г. под общим названием «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь» [5]: 1) Любань — Чудово; 2) Великий Новгород; 3) Бронница — Едрово; 4) Вышний Волочек — Торжок; 5) Медное — Тверь; 6) Тургиново — Завидово (всего примерно 170 минут, или без малого три часа эфирного времени). Автор фильма совершил путешествие по маршруту Радищева, записывая на камеру свои «путевые заметки» и цитируя отрывки из книги про каждый населенный пункт, оказавшись в нем. Впечатления автора документальной серии безрадостны, встроены не только в ткань фильма визуально и вербально, но и открыто проговариваются в интервью, которые Лошак давал по мере выхода серий в эфир [3]: «убита инициативность людей, люди инертны, ждут подачек — это наследие советского коллективного хозяйства... Другая проблема, совершенно объективная, — это так называемый феномен отходничества. Эта проблема именно этой территории, поскольку она находится между двумя мощнейшими в стране полюсами притяжения, Питером и Москвой, и, конечно, население оттуда вымывается — из Новгорода и Твери почти вся молодежь, которая желает получить высшее образование, уезжает... И с этим ты сталкиваешься везде — в Торжке мы снимали историю про скорую помощь, где просто некому работать, потому что в Москве санитарка получает зарплату врача в Торжке, а врач намного больше. Люди едут вахтовым методом работать в столицы... сейчас половина населения Торжка находится на заработках или в Питере, или в Москве...».

Помимо межстоличных территорий, преимущественно сельских, в документальной серии появились и особые сюжетные линии, например, автотрасса как совершенно отдельная жизнь, путешествуя по которой авторы фильма «познали все прелести гостиничного бизнеса придорожного... были как настоящие путешественники радищевских времен — по-разному все складывалось — где-то было очень вкусно, где-то травились... В какой-то момент говорили с придорожной проституткой... и чудесными дальнбойщиками — периодически настраивались на их рацию, разговаривали и это ...невероятные спектакли... со своими сюжетами и линиями...». Лошак утверждает, что еще десять лет назад идея повторить маршрут Радищева ему бы и в голову не пришла, но сегодня «мы дожили до таких времен, когда не знаем, что такое Россия, мы ее не видим, и такой трип из Питера в Москву выглядит как откровение для многих».

По сути документальный фильм Лошака занимает условную срединную позицию между частными авантюрными экспериментами и научным анализом социально-экономических трансформаций исторически и географически сложно развивающегося российского межстоличного пространства. Яркий пример первого случая, вряд ли важный с социологической точки зрения, но показательный в плане устойчивости российской тяги воспроизводить известный путь меж двух столиц — путешествие А. Рендакова из Петербурга в Москву на самокате за шесть дней, чтобы проверить возможности этого средства передвижения на дальних и не свойст-

венных для него расстояниях (720 км) и свои собственные силы [4]. Вполне в духе пессимистичных зарисовок Радищева и Лошака владелец самоката, ради путешествия, кстати, уволившийся с работы, отмечает, «сколь много вдоль трассы М10 мертвых или полумертвых деревьев, где очень легко найти пустующий дом для ночлега..., смастерив себе кровать из шкафа».

Для социолога, да и любого читателя, интересующегося пространственными аспектами социально-экономического развития российского общества, более интересны и важны всесторонние и типологизированные хозяйственно-территориальные описания межстоличной жизни, которые и представлены в рецензируемом двухтомном сборнике «Путешествие из Петербурга в Москву: 222 года спустя». Первый том посвящен двум столетиям российской истории, оставившей неизгладимый отпечаток на пространстве между Москвой и Санкт-Петербургом и «препарируемой» авторами на основе «обширного современного фактического материала и ретроспективного анализа территории» в девяти главах, обозначающих траектории «эволюции пространства между Москвой и Санкт-Петербургом со времени путешествия Радищева» (с. 2).

В первой главе «анализируются особенности влияния обеих столиц на развитие межстоличного пространства, их соперничество и разное восприятие населением» (с. 2) на протяжении всей российской и советской истории, прослеживаются разные варианты паритета и спора двух столиц, которые то были стране в тягость, а то шли ей на пользу. Авторы приходят к выводу, что сегодня «межстоличная конкуренция почти исчезла, а она была и в принципе остается полезной. Если не доводить конкуренцию до острого конфликта (когда ее издержки для страны начинают перевешивать выгоды), то она лучше монополии. Состязание и сотрудничество двух непохожих столиц — позитивная черта нашей исторической географии в течение ряда столетий. Не удивительно, что ее утрата воспринимается болезненно, как проявление дисбаланса» (с. 24).

Первая глава не только закладывает фундамент последующего повествования, но и ориентирует читателя в том, каковы содержательные и стилистические приоритеты авторов. Прежде всего, это сознательный отказ от описания деталей и частностей — они приводятся только как иллюстрации искусно и обоснованно диагностируемых «типологических синдромов», будь то типы столичных центров — абсолютные (например, Москва, хотя единоличные лидеры нетипичны для стран-гигантов, и подобное исключение из правила, видимо, связано с характерной для России традицией жесткой централизации) и комплексные, относительные и монопрофильные лидеры — или закономерности размещения объектов сервисной инфраструктуры вдоль автотрассы на ее внегородских отрезках. Столь же очевидно из текста первой главы следует, что авторы в первую очередь географы, поскольку любые свои выкладки они иллюстрируют наглядными картами, масштабированными и структурированными под конкретные задачи, однако географы эрудированные и одинаково искусно вплетающие в свои описания статистические данные и поэтические строки о столичном величии.

Во второй главе подчеркивается, что «ситуация сосуществования двух столиц — „новой“ и „старой“, формальной и неформальной — в пределах одного

государства далеко не уникальная, и таких примеров немало: Берлин и Бонн, Стамбул и Анкара, Токио и Киото... появление нового столичного адреса всегда связано с решением политических или геополитических задач своего времени... и диалог наших столиц начался задолго до основания Петербурга. Это был диалог традиционалистов и реформаторов, и прежде чем два лагеря обрели разную „прописку“ и разошлись по своим углам, они воевали в Москве» (с. 25). Вторая глава показывает, что дискурсивные игры нередко оказываются важнее реальных географических, социально-экономических и даже геополитических обстоятельств, хотя не могут таковые не учитывать: «Уступив Москве по объемам инвестиций, развитию сферы услуг и управления, Петербург заявил о себе как о „производителе“ культурной и политической элиты, давшем стране ее лидеров. Анализ аргументов, используемых каждым городом в этой информационной пикировке, интересен сам по себе, а также позволяет ответить на вопрос: „Что хочет видеть и что видит в столичном городе население страны?“» (с. 26). Сегодня «Москва претендует на роль гламурного и глобального города, мирового финансового центра, пытается диктовать образцы поведения стране, расширяет свою территорию, поглощая стихийной застройкой все новые пространства. А Петербург степенен, в меру провинциален, выражает самобытность России, с ее презрением к меркантильности и приоритетом духовных ценностей, называет себя „культурной столицей“, тиражирует миф об „интеллигентности“ и „аристократичности“» (с. 32). Сегодня мифологемно-дискурсивный образ Москвы воспроизводит позднесоветское представление о столице как «гигантской воронке или „пылесосе“, вытягивающем все ресурсы развития из регионов. Но сам миф о столице как „чуждом“ городе, интересы которого противостоят интересам и обычаям страны, далеко не нов... В XIX веке Петербург — „немецкое пятно на русской карте“» (с. 27). Причем, «как показывает опыт предшествующих веков, смена адресов не решает проблему оппозиции „народ и власть“, география в этом вопросе бессильна» (с. 30).

В третьей главе «раскрываются общие географические особенности межстоличья и процессы формирования контрастов между центрами, пригородами и периферией, анализируются показатели динамики численности и состава населения, роста городов» (с. 2). Авторы считают далеко не бесспорным резкое расширение Москвы на юго-запад, которое уводит столицу в сторону от общей с Петербургом траектории, где они «веками выполняли неоднозначную созидательно-опустошительную работу» (с. 35). Созидательный компонент состоит в развитии коммуникационной и транспортной инфраструктуры; разрушительный — в том, что «чем скоростнее и транзитнее становились транспорт и трафик, тем менее комплексно и положительно они влияли на пересекаемое пространство» (с. 36), порождая срединные местности периферийно-глубинного типа, усиливая социальное расслоение, заметное уже во времена Радищева, а также его вторичное сжатие в очаги депопуляции, социально-экономической депрессии и демо-экономического опустынивания (забрасывание земель и поселений, убыль и стягивание постоянных жителей к немногим центрам), формируя «разреженное социальное пространство в результате „высасывания“ населения Москвой, Петербургом и региональ-

ными центрами не только в районе полимагистрали, но и на огромном пространстве в Тверской, Новгородской и Псковской областях» (с. 51).

Вывод авторов в третьей главе в равной степени пессимистичен — «в межстоличье проявляется парадокс сжатия пространства — столицы сближаются, а глубинка от них как бы удаляется», и оптимистичен: глубинка «не стала вторичной и никому не нужной пустыней: во-первых, межстоличные природные ландшафты привлекают массу горожан-дачников..; во-вторых, здесь сохранилось богатое историко-культурное наследие, ценное и само по себе, и как ресурс для обычного туризма, паломничества и т.п.; в-третьих, межстоличье не обезлюдело до нуля... Это провинция, по определению антоним столицы. Она звучит по-своему, скромнее, но тоже гордо... А вот мегалополиса, тем более агломерации Москва — Петербург нет и не будет, и это не так плохо. Правда, происходит срастание Московской и Тверской агломераций, но Петербургской и Новгородской — пока нет» (с. 62).

В четвертой главе схематично реконструирована «история развития путей сообщения, показана специфика современных транспортных коммуникаций и их влияние на прилегающие территории» (с. 2). Авторы объясняют интенсивность социально-экономических и культурных связей между российскими столицами тем, что они всегда были связаны транспортным сообщением, и выделяют в его условной эволюции четыре основных этапа, которые описывают с яркими историческими иллюстрациями: водно-гужевой этап, дорожно-гужевой этап — с момента регулярного почтового и пассажирского сообщения, железнодорожный этап и интегральный (к железнодорожной магистрали добавились автомагистраль и воздушное сообщение), который максимально сократил время на преодоление расстояния меж двумя городами.

В пятой главе история транспортного сообщения между столицами конкретизирована до состояния и развития железнодорожной магистрали Москва — Петербург. На фоне предыдущих разделов эта глава может показаться избыточно подробно-перечислительной, но в этом несомненное достоинство двухтомника — своеобразной энциклопедии жизни российского межстоличного пространства: любители самых разных тематик (в данном случае знатоки факторов формирования железнодорожного сообщения, тарифной политики, расписания электропоездов и пр.) обязательно обнаружат в книге что-то интересное для себя лично, что, видимо, нагонит тоску на приверженцев более широких повествовательных мазков. В целом тональность пятой главы преимущественно перечислительно-информирующая, но в ней хорошо расставлены оценочные акценты. Так, «магистраль Москва — Санкт-Петербург видится мощным „остовом“ северо-запада России, почти не взаимодействующим со своим окружением. Ситуация несколько изменится, когда мы рассмотрим автобусное и железнодорожное сообщение в единой системе» (с. 99), однако и здесь очевидны серьезные проблемы: с одной стороны, низкая степень распространения и интенсивности местного автобусного сообщения (при том что значительная часть населенных пунктов вообще отрезана от регулярного сообщения); с другой стороны, скученность автобусных рейсов

и длительные стоянки, отмены или переносы дневных электропоездов, особенно в летнее время, что вызывает еще большую скученность (с. 103) и прерывает перемещения населения по периферии межстоличья, усугубляя его глубинность и безлюдность.

Шестую главу «составляет изложение результатов изменений землепользования, эволюции сельского хозяйства межстоличья, его малых поселений, занятий их жителей со времен Радищева до наших дней» (с. 2). По мнению авторов, «для российской сельской местности весьма характерно противоречие между развитием „вширь“ и „вглубь“... Расширение требовало жесткого централизованного управления, замедляло урбанизацию, способствовало формированию особого российского крестьянского менталитета и во многом — отставанию России от европейских стран, где на несколько веков раньше сформировалась интенсивная культура с механизмами координации и конкуренции» (с. 112). В главе последовательно описываются основные этапы демографического и хозяйственного освоения межстоличья: когда распашка огромных пространств не обеспечивала достойный уровень жизни крестьян, которые при низких урожаях и доходах еле сводили концы с концами и, спасаясь от нищеты, «растекались» в города или южные плодородные земли; когда оформились предпосылки для отмены крепостного права, хотя и после освобождения крестьянство оказалось не готово жить по-новому, занимаясь предпринимательством и интегрируясь в рынок; когда обозначилось сильное аграрное перенаселение, связанное с низким уровнем урбанизации и демографическим переходом, а после реформы 1861 г. расслоение крестьянства только обострило проблемы, связанные с аграрным перенаселением, и единственное, что ему противопоставило российское правительство — экстенсивный путь развития посредством миграции и освоения новых земель и т.д. В итоге в XX в. страна вступила крестьянской и сельскохозяйственной, восприимчивой к советским форматам «нового крепостничества» и коллективной ответственности.

Во второй части шестой главы фокус смещается с «человеческого» измерения развития сельских территорий на «сырьевое»: описываются причины и последствия потери льна как важной сельскохозяйственной культуры — «очень болезненная проблема российского Нечерноземья, и многие жители этой зоны, причем не только в деревнях, ностальгируют по „голубеющим полям“» (с. 127), столь же депрессивные тенденции в скотоводстве, лесоводстве и других отраслях, которые нередко свертываются по причине истощения как природных, так и трудовых ресурсов. Авторы характеризуют масштабы и последствия сельской депопуляции и разрушения сети поселений, с сожалением отмечая, что нарастанию этих негативных тенденций способствует крайне незначительное (за исключением Московской и Ленинградской областей) число опорных сельских пунктов, которое продолжает сокращаться вследствие постсоветского кризиса сельского хозяйства и его вынужденной и неравномерной структурной перестройки. «В межстоличье выжили агропредприятия двух типов: те, в которые пришли инвестиции из крупных городов, в основном из Москвы и Петербурга, и те, что сохранили руководителей старой закалки, оказавшихся хорошими менеджерами и сумевшими адаптироваться к новым условиям» (с. 132—133).

Спасает социально-экономическую ситуацию в Нечерноземье, с одной стороны, приход мощных агрохолдингов, с другой – локальные практики выживания, в основном работа дальнобойщиками и отход на заработки в крупные города, прежде всего в Москву и Подмоскowie. Впрочем, роль агрохолдингов на сельских территориях авторы оценивают двояко: действительно, они частично спасают сельское хозяйство, но в то же время «усиливают поляризацию предприятий в межстоличной зоне, отбирая лучшие ближе к крупным городам, ... сохраняют рабочие места, но им требуется гораздо меньше занятых, чем в прежних колхозах и совхозах, ...отчуждение работников от непосредственного принятия решений закрепляет и так характерное для сельских жителей безразличие к производительности труда и результатам работы и т.д.» (с. 138). Примеры современной организации сельского хозяйства между столичными пригородами рассмотрены на примере Тверской и Новгородской областей.

В седьмой главе «показаны волны промышленного освоения, взлет и упадок текстильных, стекольных, фарфорово-фаянсовых предприятий, торфоразработок, сохранность советского и досоветского индустриального наследия и новые импульсы промышленного развития» (с. 2). Необходимость данной тематики в оценке развития межстоличья авторы обосновывают тем, что оно «никогда не выделялось в качестве единого индустриального района, ...распадаясь, как минимум, на две части — Санкт-Петербургскую и Центрально-Московскую. Тем не менее, в процессе промышленного развития у этой территории временами обнаруживались общие свойства и даже типичные отрасли, представленные на всем ее протяжении. Она не могла не реагировать и на смену промышленно-технологических эпох, волнами пробежавших по России и оставлявших свои более или менее выраженные следы в ее разных частях» (с. 146). Досоветский период промышленного развития межстоличья представлен многочисленными кустарными промыслами, которые с первой половины XVIII в. начали дополняться крупноформатным мануфактурным производством, хотя роль государства здесь оказалась двойственной — оно форсировало индустриализацию, но ограничивало развитие энергоемких производств вблизи обеих столиц для «дровосбережения», вытесняя многие производства на внутреннюю периферию. К началу XIX в. заводское производство стало расширяться и расползаться по межстоличью по причине ориентации на спрос столиц в условиях низкой покупательной способности сельского и мелкогогородского населения, а в середине XIX в. и благодаря первой промышленной революции.

Советский и постсоветский периоды промышленного развития межстоличья авторы характеризуют как противоречивое сочетание разнообразных волн — бурной индустриализации и отката, становления одних технологических укладов и исчезновения других — которое иллюстрируют примерами конкретных отраслей (текстильной промышленности, стекольной, фарфорово-фаянсовой), от многих из которых сегодня ничего не осталось, включая уникальные памятники промышленной архитектуры и музейно-заводские коллекции. В тексте обозначена серия волн, характерных для развития межстоличного региона в целом и для каж-

дой из его частей, то нарастающих и угасающих, то пребывающих в состоянии покоя; эти волны могут быть территориальными — по местоположению и состоянию городов и других типов поселений, производственно-сырьевыми — по видам и отраслям промышленного и кустарного производства, социальными — по социально-экономическому положению населения и направлениям его миграции, инфраструктурными — по развитию коммуникаций и транспортных магистралей, административными — по характеру экономической политики и т.п.

В восьмой главе «анализируются волны дачного освоения межстоличья москвичами и петербуржцами и современные типы их сезонного второго жилья» (с. 2). Историю традиционной российской жизни на два дома (зимой в городе, а летом на даче) авторы ведут с конца XVIII в., считая прототипом современных дач летние дворянские усадьбы, в том числе удаленные имения (не аналогичные нынешним массовым дачам в ближайших пригородах). Современные дачи москвичей и петербуржцев авторы объединяют по двум типологическим признакам: «1) эволюционно сложившиеся виды дачных строений (классические дачи, домики в садоводческих товариществах, дома, купленные в деревнях, каменные виллы или коттеджи) и размеры прилагаемых участков земли; 2) степень удаленности от столиц (ближние дачи, среднеудаленные и дальние)» (с. 194), и характеризуют функции разных типов дач в различные исторические периоды, например, отмечая, что «дача была особенно важна в советское время и потому, что при полном отчуждении от собственности это была своеобразная „псевдособственность“ как советский культурный феномен» (с. 195).

Постсоветское расширение спроса на дачи и «их территориальная экспансия на фоне заметного свертывания аграрной деятельности крупных предприятий говорят о процессах постиндустриального развития сельской местности в межстоличье, как в пригородах, так и в глубинке. Подобно мобильности сельского населения в виде отхода из сел и деревень на заработки в крупные центры, дачи стимулируют нефиксируемую статистикой миграционную подвижность горожан в сельско-городском континууме., смыкание зон летнего „расползания“ Москвы и Петербурга на Валдае на расстоянии более 300 км от каждого центра., вытеснение сельского населения и сельского образа жизни как такового, при том что плотность сельского населения на фоне других регионов России здесь очень велика» (с. 196—197). В то же время дачники играют важную роль в сельской местности, спасая ее от депопуляции: «с обслуживанием многочисленной армии дачников связан бурный рост торговли продуктами и стройматериалами как вдоль дорог, так и в подмосковных городах и поселках., в глубинных сильно депопулированных деревнях дачники хотя и приводят к смене культурного слоя, порой являются единственным шансом спасения этих деревень от полного опустошения, предотвращая тотальное сжатие освоенного пространства. В пригородах можно говорить о первых признаках постиндустриального сервисного развития сельской местности при всей ее российской специфике: высочайшей плотности ближних дач, сохранении сельскохозяйственных предприятий, восстановлении в 2000-х годах промышленности и т.д.» (с. 202—203). Законсервированная российская дачная традиция, т.е. «массовое распространение сезонной дачной субур-

банизации, тормозит реальную субурбанизацию и дезурбанизацию (характерный для Запада активный переезд горожан в пригороды или удаленные районы на постоянное место жительства)» (с. 204).

Заключительная девятая глава представляет собой «Исторический обзор путевых заметок, дорожников и путеводителей по трассе Москва — Санкт-Петербург», «который подготавливает читателя к восприятию второй книги двухтомника, посвященной описанию городов, поселений и районов по результатам современной экспедиции» (с. 2). Эволюция двух столичных центров и ряда крупных промежуточных меж ними городов рассмотрена в рамках концепции культурного ландшафта, т.е. как единая целостная система транспортных коммуникаций, связывающих эти центры своеобразной осью, на которую нанизаны разнообразные «сгустки природных и антропогенных объектов и комплексов» — «материальные свидетели и свидетельства процесса развития ландшафта» вместе со своими ассоциативными образами, закрепленными в том числе в художественных текстах — путевых заметках, путеводителях, воспоминаниях путешественников и людей, живших на этой территории (с. 206). В главе представлен обзор истории формирования межстоличного культурно-исторического ландшафта как отображенной в разнообразных текстах: в XVII—XVIII вв. это записки немецкого путешественника Адама Олеария, известное сочинение Радищева и путевые заметки английского путешественника Уильяма Кокса, проехавшего по той же дороге, что и Радищев, но в противоположном направлении, путешествие Екатерины II, описанное графом де Сегюром, и другие тексты, носящие преимущественно событийный характер; в начале XIX в. появляются «дорожники» — своеобразные путеводители «с выдержанной структурой статей, посвященных отдельным населенным пунктам, в особенности городам, ... и рассказывающие о красотах мест, об их обустройстве» (с. 213).

В первой половине XIX в. предпринимаются попытки критической реконструкции значимых вех в истории межстоличного пространства — это книги П. Сумарокова и де Кюстина, позже выходит «многотомное капитальное издание, подготовленное коллективом авторов под руководством П.П. Семенова и В.И. Ламанского „Россия. Полное географическое описание нашего отечества“... с подзаголовком „настолярная и дорожная книга для русских людей“» (с. 222—223). Это была, по сути, географическая энциклопедия России, игнорирующая исторические и культурные ценности пространства, поскольку лишь современные травелоги и путеводители породили представление о необходимости описывать и пропагандировать архитектурное наследие и культурное достояние страны, сконцентрированное в разных ее географических точках.

Необходимость столь своеобразной главы, завершающей первый том, авторы обосновывают тем, что он представляет собой «сквозной обзор межстоличья, построенный по тематическому принципу...» и пронизанный идеей, что «иметь две столицы для России привычно, удобно и полезно.., при этом столицы, меняясь статусами и рангами, не прекращают противоречивой работы — разом опустошительной и наполнительной, разрушительной и созидательной — в разделяющем их пространстве» (с. 229); тогда как второй том опирается на материалы экспедиции, построен по историко-географическому принципу и представляет собой путево-

датель по поселениям и районам межстоличья, но выстроенный иначе, чем описанные в первом томе путеводители – акцент сделан на экономических и социальных проблемах сельских территорий и городов, а также на отдельных наиболее интересных экономических и культурных (в том числе архитектурных) объектах в районах, пересекаемых трассой М10.

Второй том выстроен на результатах экспедиции авторского коллектива и призван представить детально описанные кейсы-иллюстрации абсолютно подо все обозначенные в первом томе пространственные, социально-экономические, демографические и прочие закономерности развития межстоличья, а также охарактеризовать состояние и перспективы сохранения муниципальных образований по автомагистрали М10 и железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом, а потому напоминает энциклопедию, которую следует читать не залпом, а по мере необходимости, обращаясь за сведениями о конкретных отрезках межстоличного пути. Соответственно, несмотря на то, что по объему второй том превосходит первый, нет смысла подробно останавливаться на его содержании или пытаться систематизировать эту детально, по радищевским остановкам, прописанную энциклопедию жизни российского межстоличья.

О том, что как-то суммировать содержание второго тома не только бессмысленно, но и невозможно, свидетельствует простой факт — он состоит из 25 глав (и заключения), лишь две из которых носят обобщающий характер (в первой главе обозначены причины и факторы заселения и обустройства «государевой дороги» в XVIII—XIX вв., в заключительной — проблемы сохранения культурного наследия на историческом пути Санкт-Петербург — Москва), а вторая глава информирует читателя о задачах экспедиции 2013 г.: наблюдение природных и сельско-городских ландшафтов; разговоры с людьми, способными оценить ситуацию «сверху» или «снизу» (было проведено более 340 интервью); сбор литературной, статистической, графической, музейной и прочей информации, необходимой для понимания истории и современной жизни межстоличного пространства. 22 главы второго тома представляют собой описания опорных точек маршрута экспедиции, в качестве которых были выбраны почтовые станции-ямы, перечисленные Радищевым: София (Пушкин, Павловск, Колпино), Тосно и Любань (Померанье, Тосненский район), Чудово и Спасская Полесье (Чудовский район), Маловишерский район, Подберезье (Новгородский район), Новгород, Бронница, Зайцево и Крестцы, Боровичи и Окуловка, Яжелбицы, Валдай и Едрово, Хотилово (Бологовский район), Вышний Волочек, Выдропужск (Спировский район), Торжок, Лихославль, Тверь, Медное (Калининский район), Городня и Завидово (Конаковский район), Клин, Пешки и Черная Грязь (Солнечногорский район), Химки, а также Осташков, Торопец и Пушкинские горы как примеры развития малых городов в створе от трассы.

На основе личных впечатлений авторов, интервью с населением и представителями широко понимаемого экспертного сообщества (бизнес, местная власть, научная и публичная сферы), анализа литературных и статистических источников реконструируется картина нынешнего состояния межстоличья, описываются изменения, произошедшие со времен Радищева, в XX в. и в постсоветский пе-

риод, причем внимание исследователей фокусируется одновременно и на привычных туристических объектах, и на социально-экономических проблемах и достижениях, и на стратегиях сохранения культурного наследия, т.е. на всем том, что «часто скрывается за обманчивым внешним видом полного запустения или, наоборот, броского успеха». Каждая глава начинается с ярких стереотипных клише о российской действительности (например, «дороги — одна из вечных бед России»), которые тщательно препарированы на предмет своих истоков и соответствия нынешним реалиям, или с цитат из книги Радищева, которые оцениваются на современность — оказывается, существуют извечные очаги дорожного российского дискомфорта, скажем, «топкие, болотистые участки, требовавшие постоянного ремонта, эффект от которого был не выше, чем от современного ямочного», а жизнь вдоль автотрасс и железнодорожных магистралей продолжает развиваться в формате их сервисного обслуживания местным населением (с. 6).

Несмотря на конкретные исследовательские задачи, не связанные с изучением художественного наследия Радищева и его последователей, во втором томе чувствуется литературное дыхание — практически во всех главах для характеристики конкретных точек на межстоличной географической оси цитируются высказывания Радищева: «сюжеты произведения, вплетенные в ткань своего времени, полезны, чтобы протянуть связующую нить изменений российской действительности от конца XVIII века до наших дней, протянуть не вообще, а на материале конкретных и разных мест.., показать, что мог увидеть Радищев, а за ним еще многие путники вплоть до современных, двигаясь по тому же маршруту с теми же остановками» (с. 14). Нужно признать, что художественное измерение книги иногда отвлекает читателя от сути социально-экономических трансформаций межстоличной жизни, как и избыточно объемные и детализированные исторические экскурсии, которые нередко преобладают над описаниями современного состояния периферийных и центральных точек межстоличья.

Однако нужно отдать авторам должное в плане неоспоримой научности повествования — они не только показывают и оценивают разные элементы географического, хозяйственного, социально-демографического и культурно-исторического ландшафта, но и типологизируют все свои кейсы. Так, «Малая Вишера — яркий пример поселения, возникшего с нуля на железной дороге и разросшегося до города благодаря использованию преимуществ географического положения и природных ресурсов» (с. 70); «хозяйства в Подберезье, Трубичино и другие места на трассе и вне ее — яркий пример пригородного типа организации сельского хозяйства» (с. 77); «Крестецкий район — яркий пример противоречивых черт „новгородскости“, сохранившейся в глубинке: богатая история, свободолюбие и предприимчивость населения и в то же время рациональность, приземленная „обывательщина“» (с. 111) и т.д.

Книга крайне интересна для прочтения не только по содержательным, но и стилистическим причинам, хотя второй том, учитывая его формат систематизированного изложения массы фактов об отдельных «сегментах» межстоличного пути, воспринимается сложнее и может показаться не воодушевленному географическими штудиями читателю скучноватым. Тем не менее, почти художествен-

ное измерение обеим томам придает страсть авторов к «языковым играм»: здесь встречаются и сложносочиненные неологизмы (Петросква), и возвышенный слог («конфигурация российского межстоличья»), и казенно-приземленные словосочетания, подчеркивающие государственнический интерес к межстоличному пространству («доверие и патернализм как ресурсы территориального развития»), и честные эмоциональные оценки («абсолютное лидерство Москвы делает „двустоличность“ постсоветской России весьма условной, настолько, что это уже вызывает оторопь»; «фантазии о полномасштабном возрождении фарфорово-фаянсовой отрасли никому не заказаны, но остаются фантазиями»), и яркие метафоры («мифологическая перекодировка города»; «Осташков — жертва сказочного мифа о Селигере»; «используемая территория сжимается, как шагреновая кожа»; «прежде плотно населенная территория депопулирует, превращаясь в некое подобие швейцарского сыра с „дырами“ пустеющей территории»; а военная метафорика подчеркивает сложность положения межстоличных территорий — «стратегия территориального отступления» — и серьезность намерений авторов пошатнуть известное утверждение, что «незнание России велико есть», заложив «полигон для крупномасштабных многолетних исследований»).

Двухтомник будет полезен социологам, потому что, во-первых, легко избавит их от дисциплинарного шовинизма, показав, что крупномасштабные полевые исследования отнюдь не прерогатива социологии, ими занимаются и географы при наличии необходимых средств, времени, экспертов и заинтересованных лиц, а при отсутствии таковых они прибегают к традиционному в качественной социологии виду исследования – кейс-стади, который способен компенсировать недостаток охвата правильным отбором территориальных объектов. Во-вторых, книга наглядно демонстрирует, сколь важно уметь менять аналитическую «оптику» (с экономической на социальную, с социологической на географическую, с географической — на культурологическую и т.д.), чтобы реконструировать максимально полную и насыщенную разнообразными деталями картину социально-пространственного и политико-экономического развития российского общества, исследуя путь между его извечно соперничающими столицами одновременно в метафорическом и буквально-прикладном (хозяйственные возможности, выявленные и скрытые проблемы и резервы и пр.) измерениях.

И.В. Троцук

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Радичев Н.А. Путешествие из Петербурга в Москву. М.: Детская литература, 1975. Radishhev N.A. *Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu* [A Journey from St. Petersburg to Moscow]. М.: Detskaja literatura, 1975.
- [2] Mackinder H.J. *Democratic Ideas and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction*. Washington: National Defense University, 1942.
- [3] <http://echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1456180-echo>.
- [4] http://www.the-village.ru/village/people/experience/243753-trip?utm_source=newlentach&utm_medium=social&utm_term=news&utm_content=news&utm_campaign=newlentac.
- [5] <https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkQzSBAqSIQCuaent32DnOn3Iwh5hRaG>.

НАШИ АВТОРЫ

Аксенова Ольга Владимировна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора изучения социокультурного развития регионов России Института социологии Российской академии наук (illaio@yandex.ru).

Гаспаршвили Александр Тенгизович — кандидат философских наук, заместитель директора Центра общественных технологий (e-mail: gasparishvili@gmail.com).

Горшков Михаил Константинович — доктор философских наук, академик Российской академии наук, директор Института социологии Российской академии наук (e-mail: director@isras.ru).

Кизилова Ксения Александровна — научный сотрудник кафедры методов социологических исследований Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; секретарь Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей»; заместитель директора Института сравнительных социальных исследований «Евразийский Барометр» (Вена) (e-mail: ksenniya.kizilova@gmail.com).

Копотева Инна Викторовна — кандидат географических наук, старший научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (e-mail: inna.kopoteva@gmail.com).

Коркия Эка Демуриевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии коммуникативных систем Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: ekakorkiya@mail.ru).

Кумса Эйлмейеху — кандидат философских наук, доцент кафедры исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия) (e-mail: alemayehu.kumsa@fhs.cuni.cz).

Куропятник Марина Степановна — доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: kuropjatnik@bk.ru).

Ларина Татьяна Игоревна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: larina_ti@rudn.university).

Малашонок Софья Геннадьевна — аспирант кафедры социологии коммуникативных систем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (e-mail: sophie.malashonok@gmail.com).

Мамедов Агамали Куламович — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии коммуникативных систем Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: akmnauka@yandex.ru).

Мозговая Алла Викторовна — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель сектора проблем риска и катастроф Института социологии Российской академии наук (e-mail: mozgovai@yandex.ru).

Нарбут Николай Петрович — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: narbut_np@rudn.university).

Неверов Александр Викторович — кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: neverov_av@rudn.university).

Оносов Александр Аркадьевич — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (e-mail: o_shura@mail.ru).

Пузанова Жанна Васильевна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая Социологической лабораторией Российского университета дружбы народов (e-mail: puzanovz_zhv@rudn.university).

Тертышникова Анастасия Геннадьевна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: tertyshnikova_ag@rudn.university).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (email: trotsuk_iv@rudn.university).

Тюрина Ирина Олеговна — кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (e-mail: irinal-tiourina@yandex.ru).

Херпфер Кристиан — доктор политических наук, профессор Института политологии Университета Вены; президент Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей»; член исполнительного комитета Международной политологической ассоциации и председатель ее исследовательского комитета «Общественное мнение: сравнительный анализ»; директор Института сравнительных социальных исследований «Евразийский Барометр» (Вена) (e-mail: c.w.haerpfers@gmail.com).

Чурсина Анна Вадимовна — аспирантка Института социологии Российской академии наук (e-mail: anna.chiursina@gmail.com).

Шлыкова Елена Викторовна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора проблем риска и катастроф Института социологии Российской академии наук (e-mail: shlykova70@yandex.ru).

Шубрт Иржи — доктор философии, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия) (e-mail: jiri.subrt@ff.cuni.cz).

Шувакович Урош Воислав — доктор политических наук, профессор кафедры социологии философского факультета Университета Приштины, временно расположенного в Косовска Митровица (Сербия) (e-mail: uros-s@eunet.rs).

**НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: СОЦИОЛОГИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ***

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 24 до 40 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25 см, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 126]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики, рисунки и другие иллюстрации** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. Пронумерованный **список библиографии** не должен превышать 1 страницы и приводится **в конце статьи**. Список библиографических источников дается в алфавитном порядке: в статьях на русском языке указываются сначала источники на русском языке, далее — на иностранном; в статьях на английском языке указываются сначала источники на иностранных языках, далее — на русском с транслитерацией средствами латинского алфавита (ГОСТ 7.79-2000). Библиографические описания оформляются в соответствии со следующим образцом:

[1] Национальная доктрина образования в Российской Федерации // Вестник МАН ВШ. 2000. № 3.

* Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

[2] *Фадеев В.Н.* Моделирование устойчивого развития предприятия. Харьков, 2001.

[3] *Арутюнов С., Козлов С.* Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс.
URL: http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html.

После библиографического списка должна быть приведена транслитерированная версия русскоязычных изданий с корректными переводами названий библиографических источников на английский язык в квадратных скобках.

5. Статьи должны быть напечатаны на одной стороне листа. К статье прилагается ее **электронная версия на диске**. Статья может быть принята **по электронной почте** (socjournalrudn@pfur.ru) **только при наличии** перечисленных ниже обязательных для приложения к статье материалов.

К статье обязательно прилагаются:

- ◆ **аннотация** (резюме) объемом 250—300 слов на русском и английском языках;
- ◆ **список 8—10 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
- ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес.

Решение о публикации выносится в течение шести месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редакция не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации представленных ими статей.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений. **Категорически не допустимы** фальсификация, манипуляция и «изобретение» данных, а также любые некорректные заимствования (плагиат) — от присвоения авторства чужой статьи до использования материалов исследований, проведенных другими авторами, без корректных ссылок на источники заимствований.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения, редколлегии и редакции.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в Интернете: www.vestnik.rudn.ru.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

SCIENTIFIC JOURNAL
«BULLETIN OF PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA.
“SOCIOLOGY” SERIES» INVITES AUTHORS

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, on the results of sociological and interdisciplinary research on a wide range of social issues in Russian and English, and reviews.

The Editorial Board accepts for reviewing only articles that fulfill all the following requirements:

1. The size of the manuscript — 24—40 thousand characters (including spaces) for articles and 12—20 thousand characters for reviews. Page format — A4, font — Times New Roman, font size — 12, line spacing — 1.5, with no page numbering; indent of the paragraph first line — 1.25, the fields of the page — 30 mm left, 20 mm right, top and bottom. References are given in the text in square brackets with the first number indicating the publication number in the bibliography, and the second number standing after the capital letter ‘P’ — the page number in the publication (e.g., [1. P. 126]; if there are several references — [1. P. 126; 4. P. 43]). Notes are given in brackets, e.g., (1).
2. All tables, graphs, pictures and other illustrations should be embedded in the text, numbered and titled. Tables should have a title placed above them, pictures — captions under them. If there is more than one table/picture in the article, they should be numbered.
3. Formulas should be marked, explained and provided with references.
4. The numbered bibliography should not exceed one page and should be placed at the end of the article. The publications should be mentioned in alphabetical order: in the articles in Russian, the Russian references are mentioned first; in the articles in English — publications in foreign languages, then in Russian with the transliteration according to the GOST 7.79-2000. Bibliographic descriptions should conform to the following model:

[1] Национальная доктрина образования в Российской Федерации // Вестник МАН ВШ. 2000. №3.

[2] *Фадеев В.Н.* Моделирование устойчивого развития предприятия. Харьков, 2001.

[3] *Арутюнов С., Козлов С.* Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс // URL: http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory.html.

After the bibliography, there should be a transliterated version of the Russian publications with the correct English translation of the titles in brackets.

5. Articles should be printed on one side of the sheet. The author should also provide an electronic version of the article on the disk or via e-mail (socjournalrudn@pfur.ru) with the following mandatory materials attached:
 - ◆ abstract (summary) of 250-300 words both in Russian and English;
 - ◆ a list of 8—10 key words separated by a semicolon both in Russian and English;

- ◆ author information both in Russian and English: full name, place of work, position, academic degree, contacts — business address, including zip code, telephone number (office, mobile), e-mail address.

The Editorial Board makes a decision within six months from the date of the manuscript registration. If the manuscript was not accepted, the Editorial Board does not return it to the author. The Editorial Board does not explain to authors the grounds for refusal to publish the article.

The authors are responsible for the choice and accuracy of the facts, quotations, statistical and sociological data, names, geographical names and other information mentioned in the articles.

The published articles may not reflect the point of view of the Editorial Board.

If the author submits the manuscript, he undertakes not to publish it in whole or in part in any other journal without the permission of the Editorial Board.

Full-text issues and summaries of the articles can be found on the website: www.vestnik.rudn.ru.

In all reprints, the reference to the journal is obligatory.

Научный журнал

ВЕСТНИК
Российского университета
дружбы народов

Серия:
СОЦИОЛОГИЯ

Ноябрь 2016, том 16, № 4

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Россия, 117198)

Редактор *К.В. Зенкин*

Компьютерная верстка: *Е.П. Довголевская*

Адрес редакции:

Российский университет дружбы народов
ул. Орджоникидзе, д. 3, Москва, Россия, 115419
Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@pfur.ru

Адрес редакционной коллегии
серии «Социология»:

ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, Москва, Россия, 117198
Тел.: (495) 433-20-22
e-mail: socjournalrudn@pfur.ru

Подписано в печать 01.12.2016. Выход в свет 15.12.2016. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 24,18. Тираж 500 экз. Заказ № 1468

Цена свободная.

Типография ИПК РУДН

ул. Орджоникидзе, д. 3, Москва, Россия, 115419

тел. (495) 952-04-41

Scientific journal

BULLETIN
of Peoples' Friendship
University of Russia

Series:
SOCIOLOGY

November 2016, Vol. 16, N 4

Editor *K.V. Zenkin*
Computer design *E.P. Dovgolevskaya*

Address of the editorial board:
Peoples' Friendship University of Russia
Ordzhonikidze str., 3, Moscow, Russia, 115419
Ph. +7 (495) 955-07-16; e-mail: ipk@pfur.ru

Address of the editorial board
Series «Sociology»:
Miklukho-Maklaya str., 10/2, Moscow, Russia, 117198
Ph. +7 (495) 433-20-22
e-mail: socjournalrudn@pfur.ru

Printing run 500 copies

Open price.

Address of PFUR publishing house
Ordzhonikidze str., 3, Moscow, Russia, 115419
Ph. +7 (495) 952-04-41

ф. СП-1

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

АБОНЕМЕНТ на журнал

20826

(индекс издания)

ВЕСТНИК РУДН
Серия «Социология»

Количество
комплектов:

на 2017 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА

на журнал

20826

(индекс издания)

ПВ	место	литер

ВЕСТНИК РУДН
Серия «Социология»

Стои- мость	подписки	руб. _____	коп. _____	Количество комплектов:	
	переадресовки	руб. _____	коп. _____		

на 2017 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ф. СП-1

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

АБОНЕМЕНТ на журнал

(индекс издания)

ВЕСТНИК РУДН

Серия _____

Количество
комплектов:

на 2017 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ	место	литер

на журнал

(индекс издания)

ВЕСТНИК РУДН

Серия _____

Стои- мость	подписки	_____ руб.	_____ коп.	Количество комплектов:
	переадресовки	_____ руб.	_____ коп.	

на 2017 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДЛЯ ЗАМЕТОК
